



А. ВОРОНСКИЙ **ЖЕЛЯБОВ**

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

1934

Annotation

Андрей Иванович Желябов (17 августа [29 августа] 1851, с. Николаевка, Феодосийский уезд, Таврическая губерния — 3 апреля [15 апреля] 1881, Санкт-Петербург) — террорист, революционер-народник, член Исполнительного комитета «Народной воли», один из организаторов убийства императора Александра II.

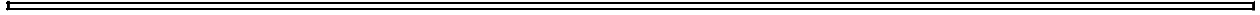
- [А. Воронский](#)
 -
 - [ГИМНАЗИЯ](#)
 - [УНИВЕРСИТЕТ](#)
 - [БУНТАРИ. ПРОПАГАНДИСТЫ](#)
 - [РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КРУЖКИ](#)
 - [ХОЖДЕНИЕ В НАРОД](#)
 - [РАЗГРОМ. ПУТИ И ПЕРЕПУТЬЯ](#)
 - [СУД. ТЕРРОРИЗМ](#)
 - ["ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ" ЛИПЕЦКИЙ И ВОРОНЕЖСКИЙ СЪЕЗДЫ](#)
 - ["НАРОДНАЯ ВОЛЯ"](#)
 - [ЦАРЬ](#)
 - [ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ](#)
 - [ЖЖЕНКА](#)
 - [БЛАГОНРАВНЫЙ СЛЕСАРЬ](#)
 - [ВОЛЬНОЕ СЛОВО](#)
 - [НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ](#)
 - [НЕЧАЕВ И ЖЕЛЯБОВ](#)
 - [ВОЕННЫЕ КРУЖКИ](#)
 - [СРЕДИ РАБОЧИХ](#)
 - [КЛЕТОЧНИКОВ. "МЕЛКИЕ ДЕЛА"](#)
 - [ПОРТРЕТ](#)
 - [СОРАТНИКИ](#)
 - [ПОЕДИНОК](#)
 - [АРЕСТ](#)
 - [ПЕРВОЕ МАРТА](#)
 - [ПО СЛЕДАМ](#)
 - [СУД](#)
 - [РЕЧЬ ЖЕЛЯБОВА. ПРИГОВОР](#)

- [КАЗНЬ](#)
- [ЗАКЛЮЧЕНИЕ](#)
- [ПОСОБИЯ И ИСТОЧНИКИ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)

- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)

- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)

- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)



А. Воронский

ЖЕЛЯБОВ

Андрей Иванович Желябов родился в 1851. О детстве своем Желябов сообщает:

"Мы из помещичьих дворовых, оба деда по отцу и по матери вывезены были своим барином, помещиком Штейном (получившим место по администрации), в Крым в первые годы этого столетия из Костромской губернии. По пути следования по Херсонской или Полтавской губернии, помещик, ехавший по-старинному с дворней и обозом, остановился для отдыха и веселья у родича — помещика. Здесь, дед по матери, Таврило Тимофеевич Фролов, женился на вольной казачке Акулине Тимофеевне. В Крыму Штейн роздал крестьян в приданое дочерям, иных продал.

Семейство Желябовых и Фроловых пошло в разные руки. Первое — за дочь Штейна перешло к Нелидову, от которого освобождено в 1861 году. Второе досталось куплей греку, малоазиатскому выходцу Лампси, разбогатевшему продажей табунов лошадей, за деньги вышедшему в дворяне с правом иметь крепостных. От этого Лампси семейство Фроловых за дочь его перешло к Лоренцову, отец которого — тоже выходец греческий — был простым каменщиком, изготавливал надгробные памятники, разбогател таинственно, сына обучил, определил на службу и купил дворянство. От Лоренцовых семейство Фроловых освобождено в 1861 г. Все члены семейства Желябовых и Фроловых наполняли разные дворовые службы: так, отец мой был отдан в обучение садовнику — немцу, дядя (Желябов) — повар, тетка (Желябова) — фрейлина, дядя (Фролов) — лакей, тетя (Фролова) — горничная. Имение Нелидова Султановка (первая почтовая станция от Феодосии, б. Феодосийского уезда, в 23 км от Керчи). Имение Лампси называется Ашбель (б. Феодосийского уезда). Имение Лоренцовых в 16 км от Феодосии называлось Кашки-Чекрак. Помещик Нелидов, состоя на военной службе, проживал в Симферополе. Отцу по делам экономии приходилось часто ездить из Султановки в Симферополь, обязательно через Ашбель (третья станция по той же Феодосийской дороге). Здесь приглянулась ему моя мать, дочь Фролова. После многократных приключений отец мой, плативший помещику Нелидову по тому времени большой оброк за нахождение в услужении у

южнобережного садовода-немца, упросил Нелидова купить Варвару Гавриловну, мою мать. Купля состоялась. Часто отец, понукая мать, говорит и теперь: "Поворачивайся, ведь стоишь 500 руб. и пятак медный" (точная цена).

После женитьбы отца семейство Фроловых за дочерью Лампой переехало в Кашки-Чекрак. Все члены семейства Получили обязанность при дворе; деду за выслугой предоставлена свобода от обязательной работы, — он жил с бабкой Акулиной Тимофеевной на птичьем дворе, стоявшем особняком. (Ведомство бабье). Здесь я провел детство свое (от 4 до 8 лет). Дед, высокий, седоволосый старик, всегда ходил в длиннополом сюртуке рыжего верблюжьего сукна. Как теперь помню вечно задумчивый взгляд, лицо, не знавшее улыбки, открытый лоб, седые кудри, падающие на воротник, румянец ко всю щеку (в 60–70 лет от роду) и громадную седую бороду. Насколько понимаю, он, вероятно, заражен был раскольничьим духом: вечно возился со старыми книгами в тяжелых переплетах, дважды Библию прочитал, как и теперь о нем говорят в семье, желая высказать почтение. Это — мой учитель и воспитатель. У него я научился грамоте церковной, от (него) перенял многие взгляды, поставившие меня в оппозицию с семейством родителей, по возвращении к ним. Только мать моя с радостью выслушивала моя глупости, говоря: "Не желябовский дух, а фроловский! Недаром дедушка тебя Фролёнком называет". Образ дедушки для меня милее всех, потому я и остановился на нем. Ровно 25 лет назад дедушка, осенив меня крестным знаменьем, посадил за книжку говоря: "Пора учиться! Прочти молитву и пусть господь поможет тебе, будешь учиться — будешь человеком". Учил меня дед по-старому — аз, буки, веи — да еще с титлами, но в ученье он влагал всю душу, и я к 7–8 годам знал Псалтырь наизусть. Велика была радость дедушки, когда, отправляясь со мною гулять в горы или в лес рубить дрова, он говорил: "Ну, Фроленок, псалом такой-то!" И Фролёнок барабанил без ошибок. Тогда повсюду ждали воли, считали каждый день, но с затаенным дыханием. Помещики, по словам дедушки (верно или нет), хотели выместить зло "напоследок: завели шпионство, пороли за всякую провинность. Помню, как бабушка, вечно плакавшая: "И зачем это пошла я в неволю!" — на цыпочках всегда подкрадывалась к окошку вечером, прислушиваясь, нет ли там Полтора-Дмитрия, приказчика и шпиона, прозванного за громадный рост "полтора". Впоследствии, до освобождения, ему, мой дядя Желябов, проживавший на оброке близ Кашки-Чекрака и чувствовавший себя полувольным человеком, за добродетель проломил голову. Что помещики пользовались властью до последних дней, — вот семейные воспоминания детства моего.

Из дедушкина жилища я слышал вопли дяди Василия (лакея), когда пороли его на конюшне... О детстве своем я никому не рассказывал, даже друзьям. Я помню, как поздней ночью, моя тетя Люба (швея) прибежала в наш дом и, рыдая, повалилась дедушке в ноги. Я видел распущенные косы, изорванное платье, слышал слова ее: "Тятенька! миленький тятенька, спасите!". Меня тотчас увели и заперли в боковой комнате. Слыша рыдания любимой тетки, я плакал и бился в дверь, крича: "За что мою тетку обижают?". Скоро послышались мужские голоса. Полтора-Дмитрий с людьми пришел взять Любу в горницу. Голоса удалились, что произошло там, я не знаю. Про меня забыли. Истомленный, я уснул. На другое утро бабушка украдкой отирала слезы; дедушки не оказалось дома, по словам бабушки, он ушел в город, мне гостинцев купить. Напрасно в тот день мы сидели с бабушкой на горе, над почтовой дорогой. Обыкновенно, увидав высокую фигуру дедушки и шайку на палке, я бежал ему навстречу версты за две от горы. Дедушка брал меня на руки и, подойдя к бабушке, оставлял меня и делал привал. На этот раз его не было двое суток; возвратился он какой-то особенный. Впоследствии, из разговоров старших я узнал, что помещик изнасиловал тетю, что дедушка ходил искать суда и воротился ни с чем, так как помещик в то же утро был в городе. Я был малым ребенком и решил, как вырасту, убить Лоренцова. Обет этот я помнил и был под гнетом его до 12 лет. Намерение мое было поколеблено словами матери: "Все они, собаки, — мучители". Отец готов был итти на компромиссы, но мать никогда... Она и теперь дышит к ним такой же ненавистью.

Сообщу еще несколько голых фактов. Один мой дядя (брат отца) от истязаний бежал за Дунай к некрасовцам; об этом я только слышал, но тысячи раз. Другой дядя (по отцу) от тех же радостей состоял в бегах несколько лет, был усыновлен крестьянином, ходил от него коробейником, был случайно открыт, и в кандалах возвращен помещику. Этот дядя Павел был поваром до самого освобождения и прожил с нами несколько лет. Рассказывал все самолично. Отец не раз дрожал, выслушивая: "в Сибирь мерзавца!". Вся семья как-то странно притихла и металась. Справедливость требует признать, что Нелидов был мягок с людьми, под давлением жены своей, нашей собственницы. Восьми лет я переехал от деда в Султановку к родным. Здесь в один из приездов увидал меня Нелидов. Узнав, что я обучен грамоте, он дал мне книжку: она была гражданская. Но когда мне дали разные церковные, помещик погладил меня по голове и велел притти к нему в кабинет; здесь он самолично объяснил мне гражданскую азбуку и открыл для меня целый новый мир, прочтя "Золотую рыбку" Пушкина. Нелидов жил в то время в Керчи, туда же взял меня и определил в

приходское училище, откуда я перешел в уездное. 1861 г. застал меня при переходе из первого класса во второй уездного училища..."

Эти краткие сведения Андрей Иванович дал в ответ на призыв Исполнительного комитета. Исполнительный комитет в 1880 г. предложил видным работникам рассказать о своей жизни до начала революционной деятельности. Других материалов, кроме этого незаконченного отрывка, о детстве Желябова нет.

Андрей Иванович рос накануне отмены крепостного права, когда несостоятельность его обнаружилась с полной очевидностью. Желябов был крепостным дворовым. Дворовые обычно видели и знали многое, что крестьянам, жившим на селе, не так "мозолило глаза". Наряду с наружным угодничеством дворовые, естественно, отличались и более высоким умственным уровнем. Недаром отец Желябова выслужился до управляющего. Между тем, зависимость дворовых от барских прихотей и затей была наибольшая. Понятно, окружавшие Желябова взрослые не скупились на рассказы о помещичьих самодурствах, о бесхозяйственности их и дикости. Крепостной быт рушился сверху донизу, критика его была беспощадна. Многие слышал маленький Андрюша, многое он видел и сам. Доходили вести о крестьянских бунтах, о жестоких расправах над мужиками, которые, в свою очередь, нисколько не щадили бар. Слышал он и о позорных военных делах. Война велась где-то совсем поблизости и гул ее из Севастополя доносился до Феодосийского уезда. Проходили воинские части, забредали служилые, очевидцы-обыватели, — и от них можно было узнать как "наших" бьют англичане, французы и даже турки, как топили мы флот свой, какие кругом хищения и казнокрадства и как brave командиры умеют показывать власть свою над мужиком-солдатом, но не умеют воевать.

Слушал мальчик Андрюша рассказы о добрых и вольных казацких временах, о славной и непокорной, гульливой Запорожской сечи, о гайдамачине, о беззаботной жизни в степях, где ковыль-трава, да древние курганы с закрытыми кладами, а над ними парящие в синем-синем поднебесье орлы, а рядом отары овец, а по дорогам украинцы на волах и пахнет дымом костров, дегтем, степными травами... Казацкая добрая слава!

Он слышал рассказы деда о тайных скитах в поволжских лесах, о бегунах, о покорных людях, готовых за веру свою на любые муки, поверья и преданья о светлых лебязьих озерах, о разбойниках и мстителях, о расправах над крестьянами царевых слуг, о Пугачеве и Степане Разине.

Старинные книги были в темных кожаных переплетах с синеватой

бумагой, титлы и буквы выглядели, как знаки заклѣтъ, а над ними крупная, упрямая голова любимого (деда — все это пораало внимание. У деда — седые брови, своевольные морщинистые губы, пытливые, умные глаза. Дед — начетчик, он знает себе цену; многое, многое знает длиннобородый дед. Как умеет, в меру сил своих, старательно он учит смѣшленого внука. Не мнилась, не гадалось, не брезжилось деду, кого выходит он священными псалмами. Поля, деревенская работа, общение с природой, с животными, с людьми труда воспитывали смелость, выносливость, находчивость. Андрюша роe мальчиком живым, худым, но здоровым, бойким и впечатлительным. Деревню знал он с детства. Деревенская жизнь укрепляла в нем чувство действительности, которое его никогда не покидало.

ГИМНАЗИЯ

Уездное Керченское училище, куда определил Нелидов Желябова, было переименовано в прогимназию, а еще позже в гимназию, сначала реальную, а затем классическую.

Сведения о гимназической жизни Желябова тоже чрезвычайно скудны. Можно с уверенностью сказать, что он застал в училище порку, "вразумление" линейкой по голове и иные подобные виды обучения. В дореформенной школе они полагались на главу угла воспитания, да и после отмены крепостничества школьников продолжали кормить "березовой кашей", колотушками, ставить на колени, лишать пищи, держать в, карцере. По воспоминаниям современников Желябова, нетрудно представить и прочие условия, в которых он обучался.

В пыльном уездном городе — мелкая, мещанская среда. Гимназия, схожая не то с казармой, Не то с полицейским участком. Директор, инспектор, надзиратели — не то воспитатели, не то сыщики. Самодуры. Лучшие — исполнительные чиновники. Среди преподавателей — люди в футлярах, Передоновы, Иудушки Головлевы, ханжи, лентяи. Многие с причудами; их превосходно подмечают дети и отлично их обращают себе на пользу. На уроках — скука, тоска. Разнообразие вносят школьные проделки... Среди школьников своя замкнутая среда, свое "лыцарство", свои кружки... Увлечение Майн-Ридом, (Купером, Жюль Верном. В биографии, одобренной Исполнительным комитетом, о Желябове-школьнике рассказывается:

"Он был страшный шалун, но прекрасный товарищ и учился очень хорошо. В то время Желябов был худенький, как тростник, высокий мальчик, совершенно не похожий на широкоплечего, мускулистого молодца, каким стал впоследствии.

...На каникулы опять родная деревня, овины, огороды. Дворовые ходят уже "вольными". Это, понятно, отрадно. Но откуда-то доносятся смутные слухи о мужицких бунтах, о том, что крестьян обманули. Говорят, воля-то выходит без земли; помещики сумели захватить лучшие пашни, луга выгоны, водопои; к тому же за волю, за землю крестьянину придется не менее полсотни лет платить выкупные, да и других налогов не оберешься; их по самое темя.

...Поляки взбунтовались против "царя-освободителя". Повстанческие

отряды бродят и по Украине, бьются за свою волю, за независимость. Их топят в крови, вешают.

Идут годы, идет ученье. Откуда-то появляются преподаватели, не похожие на своих старых коллег: куда проще, обходительнее. Иногда они не прочь побеседовать с воспитанниками о прочитанной книге, дать совет, чем следует дальше Наняться. Правда, делается это, надо прямо сознаться, с оглядками, трусливо делается: разговоры больше ведутся намеками, с недомолвками, но и от них кое-что остается.

Вольнодумцы растут и среди школьников. В пятом классе бывший дворовый мальчик сходится с Мишей Тригони, который поссорился с учителем и перевелся из Симферопольской в Керченскую гимназию. Миша Тригони будто не чета Андрюше; он сын генерал-майора, мать у него дочь известного "грозного адмирала". Миша рос в полном достатке, хотя и лишился отца рано, девяти лет. Мать, несмотря на происхождение, воспитывала сына в свободомыслии. Она рассказывала сыну о жестокостях царского правительства при "усмирении" Польши, о царях-самодурах. В ее альбомах Миша находил портреты Герцена, Гарибальди. Не надо забывать также, что и Симферопольской гимназии, где раньше учился Тригони, директор устраивал литературные вечера, а старшие классы оканчивал Зибер, впоследствии известный социолог и экономист.

Желябов и Тригони крепко подружились. Вера Николаевна Фигнер про эту пору их жизни сообщает:

— В Керчи, он (Тригони. — А. В.) встретился и подружился с А. И. Желябовым, который... был одним из лучших и выдающихся учеников того класса, в котором находился и М. Н. Керченская гимназия была из вновь открывшихся, и подбор учителей в ней был пестрый. Нравы в ней были довольно патриархальные и отдавали старинкой. Так, некоторые учителя, по старой привычке, говорили ученикам пятого класса на "ты" и М. Н. помнит, как густо краснел Андрей Иванович, каждый раз, когда учитель Адриасевич обращался к нему с этим местоимением. Во главе гимназии стоял швейцарец Падренде-Карне, переведенный из Вильны. Его нравственная физиономия достаточно характеризуется следующим фактом: одно время, за отсутствием учителя директор сам занимался с гимназистами латинским языком и в определенные дни задавал им поочередно переводы, то из Овидия, то из Саллюстия. Однажды вместо Овидия ученики, по недоразумению принесли Саллюстия, и из этого вышла целая история. Директор с кафедры громил провинившийся класс и в речи к юным крамольникам заявил, что "и в Польше умел усмирять бунты". А когда учитель, преподававший русскую словесность, стал

приглашать старших учеников к себе на дом, его поспешили перевести в другое место. Темы для сочинений, которые отсылались попечителю учебного округа, имели целью выведать настроение и направление молодых авторов. Это было: "Мечты юноши", "Влияние литературы: на жизнь народа" и т. п."^[1].

Удивительно, до чего быстро некоторые дворовые крепостные мальчишки делаются чувствительными в обращении с ними! Не ценят, что их облагодетельствовали, включив в гимназию. Учитель не имеет права называть их на "ты".

"Мечты юноши"! Если бы отважный швейцарец, воитель с поляками-повстанцами, знал о настоящих мечтаниях некоторых вверенных ему юношей! Если бы только он знал!..

В ту пору истинный смысл "эпохи великих реформ" обозначился уже совершенно отчетливо. Пореформенная жизнь с ростом промышленности и торговли настойчиво предъявляла требования на реальное образование, а оно вопреки этим требованиям было заменено классическим с мертвыми языками. Гимназистам запрещали бывать в публичных библиотеках, брать оттуда книги; строжайше преследовались кружки самообразования, коллективные заявления; насаждалось наушничество, низкопоклонничество, карьеризм.

"Дух времени" давал о себе знать. Критическое отношение к правительству, ко всему укладу среди учащихся пробивалось сильнее и сильнее. В. Н. Фигнер рассказывает далее о Керченской гимназии: "Обстановка учебного заведения в общем не поощряла саморазвития: однако многие из гимназистов читали Белинского, Добролюбова, Чернышевского и Писарева, Бокля, Милля и других лучших представителей русской и иностранной литературы. Вместе с тем они живо интересовались и чутко прислушивались ко всем вестям, приходившим из Москвы".

Среди гимназистов, с увлечением читавших шестидесятников, отнюдь не последнее место, понятно, занимали Желябов и Тригони. Чернышевский, Писарев и Добролюбов проповедывали естественно-научный материализм и атеизм, развивали любовь к точным наукам, звали к воспитанию критически мыслящих реалистов, разрушали дворянскую эстетику, высмеивая искусство для искусства, прививали ненависть к помещичьим гнездам, к лишним людям, к Рудиным и Лаврецким, к Онегиным и Печориным, к Обломовым, к обеспеченным бездельникам и тунеядцам. Провозглашались разумный эгоизм и индивидуализм. В тех условиях и в то время такая проповедь была прежде всего направлена

против "сплошного" быта, основанного на слепой традиции, на предрассудках, на религии, на подчинении человеческой личности вековым устоям, семье, бюрократическому государству, военщине. Немудрено, что такой индивидуализм легко сочетался со стремлениями самоотверженно послужить трудовому народу.

В 1864 г. вышел роман Чернышевского "Что делать". Роман имел могущественное влияние на тогдашнее поколение. Нет сомнения, наши друзья, Желябов и Тригони, тоже пережили страстное увлечение романом. Возможно, Вера Павловна и Лопухов показались им людьми превосходными, но и слишком понятыми собой. Зато Рахметов захватил их целиком.

О Рахметове Чернышевский писал:

"...На половине 17-го года он вздумал, что нужно приобрести физическое богатство, и начал работать над собой... он становился чернорабочим по работам, требующим силы: возил воду, таскал дрова, пилил лес, тесал камни, копал землю, ковал железо... Через год после начала этих занятий, он отправился в свое странствование и тут имел еще больше удобства заниматься развитием физической силы: был пекарем, плотником, перевозчиком и работником всяких здоровых промыслов; раз даже прошел бурлаком всю Волгу, от Дубровки до Рыбинска... он сел простым пассажиром, подружившись с артелью, стал помогать тянуть лямку и через неделю запрягся в нее, как следует настоящему рабочему..."

Рахметов уже не проповедывал писаревский разумный эгоизм критически мыслящей личности. "Так нужно, — говорил он, — так должно, — твердил он. Привыкший с детства к роскоши, к тонким блюдам, он ограничил себя в еде — То, что ест хотя по временам простой народ, и я могу есть при случае. То, что никогда не доступно простым людям, и я не должен есть!.. Я должен подавить в себе любовь... любовь связывала бы мне руки..."

Это была уже целая программа, новый моральный кодекс. Крестьянскому сыну Желябову "простой" народ был известен сызмала и больше, чем барчуку Тригони, но образ Рахметова, его внутренний мир, его стремление подчинить свои внутренние интересы интересам народа, суровый аскетизм и подвижничество — одинаково подчиняли себе обоих друзей. А как должны были действовать на них недомолвки, неясности, знаменательные умолчания заточенного в тюрьме автора относительно того же Рахметова!

"Куда он девался из Москвы, неизвестно... Тогда-то узнал наш кружок... множество историй, далеко, впрочем, но разъяснявших всего,

даже ничего не разъяснявших, а только делавших Рахметова лицом еще более загадочным для всего кружка. Проницательный читатель, может быть, догадается из этого, что я знаю о Рахметове больше, чем говорю. Может быть... А вот чего я действительно не знаю: где теперь Рахметов, и что с ним, и увижу ли его когда-нибудь..."

Путь Рахметовых — новый путь. Рахметовы — не Базаровы. Рахметовы там, где нужно быть. "Скуден личными радостями путь, на который они зовут вас... Мало их, но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать; без них люди задохнулись бы... Это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль земли."

По роману "Что делать" Желябов и Тригони далее знакомились с утопическим социализмом.

Чернышевский Рахметовым предугадал позднейшее народничество, хождение в народ, проповедь опрощения; он предугадал в нем раннего Желябова.

В 1866 г., когда Желябов 'был, видимо, в пятом классе, раздался выстрел Каракозова в царя — первый зловещий сигнал к борьбе не на живот, а на смерть. Соратник Желябова по "Народной Воле", его биограф и впоследствии ренегат, Лев Тихомиров, в то время гимназист четвертого класса, пишет:

"Помню, нас повели в церковь на благодарственный молебен... ни у меня, ни у кого из товарищей не замечалось никакого страха перед совершившимся. В церкви мы вели себя скверно, не серьезно, со смешками"^[2].

Юный Желябов настроен был куда решительнее: он "радовался каракозовскому выстрелу и чувствовал к царю такую же симпатию, как и к господам..."

"Мечты юноши"! Не доглядели многоопытные воспитатели, не доглядели! Овидий и Саллюстий тоже не помогли.

— ...Он развивался медленно: 17–18 лет он был еще совсем мальчик. Товарищи его очень любили. Он всегда готов был "подсказать" товарищу, сделать за другого задачу, написать сочинение и особенно постоять за другого перед начальством. Нередко приводилось ему за всякие такого рода шутки сидеть в карцере, раз даже его хотели исключить. Но учился он всегда хорошо. Особенно сильно стал он развиваться в VI–VII классах, так что должен был кончить курс с золотой медалью, но на выпускных экзаменах, хотя сдал их блистательно, он, из-за своего поведения, удостоен

был только серебряной медали..."^[3]

... Сохранился гимназический портрет Желябова. Тригони находил его "поразительно похожим". Желябов выглядит рослым и сильным; прекрасное, открытое лицо, непокорный, густой хохолок над высоким и чистым лбом; смелый и четкий развод бровей.

УНИВЕРСИТЕТ

В 1868—69 г. Андрей Иванович поступил в Одесский университет.

Из южных городов Одесса, Харьков и Киев являлись центрами революционного и оппозиционного движения. Одесса развивалась с необычайной быстротой. В одесский порт направлялась южная пшеница. Укреплялись и расширялись новые промышленные и торговые связи со странами Западной Европы; возникали новые предприятия. Недаром именно в Одессе произошли самые ранние стачки. Представители иностранных фирм, банкиры, биржевики, спекулянты, перекупщики, коммивояжеры всех национальностей мало напоминали исконное, православно-патриархальное купечество Островского со старинными "истинно-русскими" способами накопления.

Желябов выбрал юридический факультет. Тогдашняя молодежь предпочитала факультеты — медицинский, естественно-научный, историко-филологический. Но Одесса, не в пример многим иным городам, предъявляла значительный спрос на адвокатов, юрисконсультов, на представителей фирм и ходатаев в правительственных учреждениях. Юридический факультет в Одессе был популярен. Надо к тому же полагать: Желябов уже тогда чувствовал в себе (Незаурядный ораторский талант; революционные настроения тоже побуждали его к изучению государственных форм права.

Одесский или, по тогдашнему, Новороссийский университет, был переименован из Ришельевского лицея. Буржуазный дух Одессы заметно отражался на студенчестве и на профессуре. Средний уровень и студентов и профессоров был невысок, хотя в числе профессуры находились Мечников и Сеченов и на их лекции собирались со всех факультетов много слушателей.

Желябову пришлось жить уроками. Желябов жил бедно.

По воспоминаниям его сверстника Чудновского в те годы среди студентов существовали два кружка: один из них преследовал цели исключительно культурно-просветительные, в него входили: Южаков, Афанасьев, Гернет, Корвацкий. Позже возник другой кружок, куда вошел и Желябов. Этот кружок был настроен более революционно. Своей "базой" кружки имели студенческую столовую.

— В памяти моей, — пишет Чудновский, — ярко воскресают

прекрасные черты лица Желябова в первый момент первой моей встречи с ним. — Я явился одним из первых в комнату, в которой должна была состояться сходка. Вскоре после меня в эту же комнату вошли Ш — ский с приятелями, в числе которых был в высшей степени симпатичный юноша в накинута на плечи пледе, — один из тех далеко не часто встречающихся людей, которые не могут не обратить на себя самого серьезного внимания, как люди как бы судьбой отмеченные и ею предназначенные для чего-то весьма важного и крупного. Выше среднего роста, изящной и красивой наружности, с розовыми щеками, черными волнистыми волосами, Желябов невольно привлек к себе мое внимание, как только он явился на сходку... Я немало был удивлен, когда узнал, что этот изящный юноша с тонкими чертами лица сын заправского крестьянина... Если не ошибаюсь, обсуждались чисто хозяйственные вопросы, касавшиеся кухмистерской. В прениях принимал участие и Желябов, который и при этом ординарном случае проявил уже недюжинный ораторский талант, живое остроумие и находчивость. Его логическая, живая, умно-построенная речь-импровизация выдвинула его как оратора на первый план. На этой заурядной сходке уже бросалась в глаза способность Андрея Ивановича увлекать за собой толпу, электризовать ее и незаметно господствовать над нею^[4]... "

Все знавшие Желябова-студента отмечают его здоровье, красоту, заразительную бодрость, властность. Семенюта сообщает о нем: "...черты лица его были лишены классической правильности, тем не менее лицо его было очень привлекательно. Румянец во всю щеку, глаза темные, глубокие, как Черное море, пронизывали насквозь того, к кому были обращены, красивые губы украшены изящными усами. А небольшая темная бородка придавала его физиономии приятный овал, волосы на голове слегка вились, образуя впереди малороссийский чуб, который был ему очень к лицу; голову держал высоко, что шло к его фигуре и производило впечатление чего-то властного, сильного, непоколебимого. Что-то театральное, аффектированное прорывалось иногда, но это было искреннее, а не деланное. Речь у него была пламенная, красивая, пластичная; она действовала заразительно на слушателей, оплачивая их воедино и не позволяя расщепиться на части. В красивом баритоне его голоса уже тогда, в ранней молодости, проскальзывали повелительные нотки..."^[5]

Он не умел долго унывать и приучился владеть собой. Софья Григорьевна Рубинштейн, сестра знаменитого композитора, рассказывала Прибылевой-Корбе о Желябове тех лет:

— ...Не могу выразить словами, до какой степени это был жизнерадостный юноша. Мне 'всегда казалось, что он так счастлив, прежде всего от избытка как физических, так и духовных сил; а главное, вследствие своей огромной веры в возможность осуществления всеобщего счастья. Однажды я встретила его на улице в Одессе, где я жила тогда и где он учился в университете. Я только что перенесла большое семейное горе, следы которого Желябов прочел на моем лице. "Что с вами, — спросил он участливо, — вы так расстроены?" Я сообщила ему, что случилось в нашей семье. "А вы делайте, как я, — ответил на это Желябов. — Я поставил себе за правило, если со мной случается личное огорчение, больше трех дней не предаваться ему, и нахожу, что трех дней совершенно достаточно, чтобы пережить любое личное несчастье. Попробуйте сделать также, и вы увидите, что вам будет легче"^[6].

Андрей Иванович учился исправно, но еще более исправно работал в студенческом кружке. Среди молодежи были в ходу произведения Лассаля, лавровский журнал "Вперед" и другие нелегальные вещи. К сожалению, мы не знаем подробностей о занятиях Желябова. Читал он много, обладал прекрасной памятью. К этому времени надо, видимо, отнести и более обстоятельное знакомство его и увлечение социалистами-утопистами Сен-Симоном, Фурье, Оуэном. Изображение и обличение капиталистических язв производили на лучшую часть молодежи неизгладимое впечатление, а построение идеального общества властно подчиняло воображение.

Политический надзор и сыск в то время в Одессе были слабые. Полиция и жандармы широко пользовались промышленным и торговым ростом Одессы в целях личной наживы. За взяточничество и за другие уголовные деяния некоторые из видных полицейских чинов впоследствии сели на скамью подсудимых. Полиции было не до молодежи, так что куда молодые революционеры чувствовали себя сносно.

В 1870 г. лето Андрей Иванович провел воспитателем в имении Горках, Симбирской губернии. Ученик его, С. А. Мусин-Пушкин, рассказывал, что молодой студент, "пылкий, откровенный безупречно-честный" быстро расположил к себе всех. — Даже богомольная тетка, постоянно спорившая по вопросам религиозным, даже крепостник-дядя, звавший его пророчески "висельником" и Сен-Жюстом, полюбили его как сына. О барышнях, гостивших летом в Горках, и говорить нечего, все перессорились из ревности. — Любопытны также воспоминания Мусина-Пушкина о литературных вкусах Желябова-студента.

— Прозвище Сен-Жюст явилось вследствие отрывков из истории жирондистов, рассказанных нам Андреем Ивановичем. Книгу эту он

особенно любил, и имена Камиля Демулена, мадам Роллан, Дантона и Сен-Жюста он произносил с особым уважением. Пушкина он недолго любил. Помню его выражение: — слишком художник. — Однако знал наизусть все его горячие стихотворения: "Послание Чаадаеву", "Оду на кинжал", "На свободу", "Андре Шенье". Больше всего ему нравилось у Пушкина: "Сказка о рыбаке", "Балда", "Дубровский" и "Капитанская дочка". Лермонтова он обожал и носился с ним главным образом за мелкие стихотворения, в которых видел глубину необычайную. Из больших его вещей хвалил "Песню о купце Калашникове", "Мцыри", "Маскарад", "Героя нашего времени" цитировал наизусть. Любил приводить стихи из "Горя от ума". Постоянно диктовал нам из "Мертвых душ". О Белинском говаривал с дрожью в голосе. От него же я впервые услышал имена декабристов и петрашевцев. Из новой литературы он повторял имена Слепцова, Марко-Вовчка, Успенского Глеба, реже Решетникова и Помяловского. Писателей 40-х годов, Тургенева, Достоевского, Гончарова звал художниками несколько в укоризненном тоне. Писемского ругал постоянно. Из иностранцев носился с Байроном... Особенно ему нравился "Каин". О Шекспире говорил, что плохо его знает и понимает и что его надо узнавать на сцене. Театра он кажется не любил, по крайней мере, государственного. Бранил Гюго, хвалил Гейне... Помню еще имена Диккенса, Теккерея, Лонгфелло, Шпильгагена, приводимые им с уважением. Несмотря на его южное происхождение, он не был и украинофилом.

Шевченко знал наизусть больше в переводах...^[7]

...В 1871 г. пушечной канонадой возвестила о себе Парижская коммуна, и опять приходится заявить: ничего неизвестно, как воспринимались парижские события Желябовым-студентом. Примечательно также, что мемуаристы того времени о влиянии на их поколение Парижской коммуны вообще скупы на сообщения; ничего не говорят об этом и авторы воспоминаний о Желябове. Бесспорно, героическая борьба парижского пролетариата, первый, хотя и кратковременный захват им власти, разгром Коммуны, самоотверженность ее бойцов, расправы над ними сильнейшим образом повлияли на революционную молодежь. Тем не менее, внимание ее было, по преимуществу, приковано к родной стране, к крестьянству, к его разорению, и к своим интеллигентским делам. События Парижской коммуны рассматривались, очевидно, под углом зрения того, что происходило в России. В этом обнаруживалась тогдашняя ограниченность революционных кружков, их оторванность от европейской социалистической теории и практики. Во всяком случае, Парижская

коммуна наглядно показала, что время буржуазии пришло, что правительства уже могут быть успешно свергаемы рабочим классом; она звала к дальнейшей и более решительной борьбе с самодержавием, толкая молодежь от слов к революционным действиям.

В том же 1871 г. слушалось знаменитое Нечаевское дело об убийстве студента Иванова, заподозренного в шпионстве. Сам Нечаев пока успел скрыться за границу. Неразборчивость в средствах, мистификации, обман, к которым прибегал Нечаев при вербовке в свой кружок, встретили среди тогдашней молодежи резкое отрицательное к себе отношение. Но многое в Нечаевском процессе действовало на молодое поколение и положительно. Подсудимые, и в особенности Успенский, держались на суде в высшей степени стойко. В своих выступлениях они призывали служить народу и беззаветно бороться за его нужды с деспотизмом. Успенский, между прочим, со всей остротой поставил один из самых коренных вопросов, занимавших молодых революционеров-разночинцев. Вопрос этот был резко сформулирован еще Руссо и Бальзаком. В романе "Отец Горио" один из студентов спрашивает другого:

— Читал ты Руссо?

— Читал.

— Помнишь ли ты место, где он опрашивает своего читателя, что бы он сделал в случае, если б мог обогатиться, убив в Китае старого мандарина одной только своей волей, не двигаясь из Парижа?

— Помню.

— Ну, так как же?

— О, я, кажется, уже на тридцать третьем мандарине!

— Оставь шутки. Послушай, если б тебе было доказано, что это возможно и что тебе для этого достаточно кивнуть головой, сделал бы ты это?

— Очень ли стар твой мандарин? Но впрочем... Стар он или молод, парализован или здоров, право же... к чорту. Так нет же!..

Эту же нравственную задачу в 1866 г. разрешил в Федор Михайлович Достоевский в романе "Преступление и наказание".

— Позволь, я тебе серьезный вопрос задать хочу... — говорил Раскольников. — С одной стороны — глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет... С другой стороны — молодые, свежие силы, пропадающие даром, без поддержки, и это тысячами, и это повсюду...

Раскольников "преступил", решив, что для людей исключительных все

позволено. Удачно совершенное преступление, однако, приводит его к внутреннему краху. Чувство полного отщепенства, одиночества заставляет Раскольникова признаться в убийстве.

Нет сомнения, Достоевский оставил эту нравственную проблему под сильнейшим влиянием "духа времени". Вопрос о допустимости убийства "мандарина" и "злой, никчемной старушонки" решался тогда каждым, кто хотел отдать себя делу народного освобождения.

Достоевский в своем романе ответил на этот вопрос отрицательно: у него против убийства восстает все человеческое естество, хотя и Раскольников и Достоевский, не в пример, скажем, Глебу Ивановичу Успенскому, обнаруживают совершенное равнодушие к самой "старушонке". Другой ответ на процессе дали нечаевцы. Успенский со всей страстью доказывал, что одного человека, тем более вредного, всегда можно и должно устранить, если того требуют интересы большинства. Он полагал, что цель оправдывает средства и что ради великой цели, ради народных интересов можно и должно в случае необходимости прибегнуть и к "дурным, осужденным человеческим прогрессом, средствам". Не следует удивляться, что эти и подобные вопросы ставились и разрешались отвлеченно: для семидесятников, социалистов-утопистов, моральные нормы все больше и больше принимали такой отвлеченный характер. В этом они далеко отошли от шестидесятников. В отличие от гедонистов писаревского склада нравственные вопросы они решали не с точки зрения интересов своей *личности* и совести, а с точки зрения интересов народа, крестьянства, но решали их отвлеченно, как и Достоевский, приходя, однако, к выводам, противоположным тем, какие мы находим у великого романиста. В одесских студенческих кружках эти вопросы также обсуждались крайне напряженно и, надо думать, наши друзья Желябов и Тригони отнюдь не держались в стороне от этого обсуждения. Со слов В. Н. Фигнер известно, что за Нечаевским делом они следили еще в Керченской гимназии. Известно также, что Желябов радовался каракозовскому выстрелу; следовательно, вопрос о "мандарине" был им решен еще на гимназической скамье, а в Одессе он уже верил в возможность "всеобщего счастья".

В том же 1871 г., на пасху, в Одессе произошел большой еврейский погром. Погром начался со столкновения между греками и евреями около церкви. В распрю вмешалась толпа громил и, хотя сначала казаки оттеснили ее, она растеклась по смежным улицам, вооружилась молотками, дубинами, ломами и принялась за еврейские дома. Погром продолжался свыше трех суток. Полиция бездействовала. Подростки, молодые парни

врывались в дома, крушили мебель, выбрасывали из окон столы, стулья, пианино, подушки, вещи, бесчинствовали в синагогах. Человеческих жертв тогда, впрочем, еще не было. Власти, наконец, объявили, что войскам отдан приказ действовать "без послаблений", если погром будет продолжаться. На улицах появились усиленные наряды полиции и солдаты. Погромщиков ловили и публично секли на базарной площади. Погром прекратился. Пострадало от него 863 дома и 552 лавки.

Евреи, стиснутые чертой оседлости, вынуждены были заниматься мелкой и крупной торговлей. В Одессе была сильна прослойка еврейской буржуазии. Некоторые из революционно-настроенных людей относились сочувственно к погромам: в них видели стихийные попытки народных масс к восстаниям против угнетателей. Однако такие взгляды далеко не пользовались общим признанием. Чудновский рассказывает: — Насколько я негодовал на толпу за ее зверскую расправу с евреями, а еще более на тех, кто оправдывал эти безобразия "эксплуатацией", настолько же меня возмущали безобразные сцены огульного сечения народа — варварский произвол высшей администрации, подарившей России "сеченую Одессу". Желябов и большинство его кружка разделяли и мое негодование и мой общий взгляд на это трагическое событие: виновником его нельзя считать темную стихийную толпу громил или пресловутую "жидовскую эксплуатацию", а общее бесправное гражданское положение еврейского населения, составлявшее частный факт общерусского бесправия и являвшееся лишь на общем фоне бесправия линией наименьшего сопротивления, по которой направлялось общее недовольство существующим политическим и экономическим порядком вещей... Таким образом это печальное событие послужило более тесному сближению моему с кружком Желябова. ("Из дальних лет".)

Это утверждение Чудновского о решительном осуждении Желябовым еврейских погромов следует считать более достоверным, чем, заявление еврейского писателя Бен-Ами, будто Желябов относился к евреям с ненавистью и требовал даже "жестокостей"^[8].

Из современников Желябова никто не отмечал в нем антисемитских настроений; наоборот, все, известное о Желябове, его знакомства, встречи, беседы, его деятельность, широта его взглядов свидетельствуют, что едва ли мог Андрей Иванович, хотя бы и в молодости, требовать "жестокостей" по отношению к евреям. Об этих требованиях Желябова Бен-Ами передает опять же со слов учителя Л. Смоленского, — украинофила.

Деятельность Желябова уже в те годы отличалась разнообразием. А. Шехтер, например, вспоминает о Желябове, как о школьном учителе.

Студенты открыли для приказчиков и швей тайную школу в противовес казенным "заведениям". В школе имелось пять групп-классов. В низшей группе обучали простой грамотности: Желябов преподавал русский язык.

— Это был, — сообщает Шехтер, — талантливый пропагандист, и девочки наши слушали его с захватывающим интересом. Действовала на нас прежде всего его внешность: эта крупная фигура, эта гордая голова, покрытая длинными прямыми волосами, которые он красивым энергичным жестом откидывал часто назад; вообще каждое движение его выражало силу несокрушимую. Начинается урок. Желябов читает сам стихотворение Пушкина: "Зима... Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь"... и т. д., или Томаса Мура "Песня о рубашке"... После прочтения стихотворения Пушкина и данных им разъяснений, крестьянин становится для нас чем-то близким... Вторым стихотворением — Томаса Мура Желябов сумел внушить нам в высшей степени сочувственное отношение к швеям; никогда после я не могла пройти равнодушно мимо этих работниц."

[\[9\]](#)

Но само собою понятно, больше всего нелегально работал Желябов среди студентов и отчасти среди рабочих. В университете нарастало недовольство. Численность учащихся власти умышленно и резко сокращали. Вводились разные стеснительные правила, отнимались корпоративные права; стали усиленно следить за частной жизнью студентов; повсюду шныряли шпионы.

Общий уклад жизни тоже делался все более мрачным. Росла безработица. Голодные, больные безработные бродили по улицам. Порядки на фабриках и заводах ухудшались, рабочие терпели притеснения; уровень жизни их был жалкий.

В октябре 1871 г. профессор Богишич, человек чрезвычайно грубый, оскорбил одного студента, чем вызвал сильное возмущение. Члены кружка, и в особенности Желябов, находили, что настроением студентов надо воспользоваться для "крещения" университета.

Богишич хотел уйти в отставку, но начальство считало, что уступать студентам нельзя, и заставило Богишича продолжать лекции. Студенты ответили сходками, бойкотом профессора. На сходках больше всех выделялся Желябов. Он был "бессменным оратором"; воодушевлял студентов страстным красноречием. Сочинили песенку:

Все студенты собрались
В зале актовой у нас.
И отныне поклялись,

Что не будут слушать вас...

О дальнейшем О. Чудновский вспоминает: — Богишича освистали и заставили-таки прекратить лекции (в следующем году вернулся). Университет был закрыт, и начался суд над "зачинщиками" и "главарями" беспорядков. В число таковых прежде всего попал, конечно, Желябов и вместе с ним еще студент Белкин. Их исключили из университета, а администрация, забрав — по принятому обычаю — их "бумаги" из канцелярии, решила выслать их "на родину". В памяти моей с полной ясностью (как будто это было лишь вчера) воскресает сцена проводов этих двух "зачинщиков" на пристань: толпа юношей в несколько сот человек хлынула туда к, снабжая уезжающих деньгами и вещами, сердечно-братски прощалась с ними под напевом наиболее популярных в то время песен. Но поднялась буря, отход парохода был отложен до следующего дня. Полиция хотела препроводить Желябова и Белкина в участок на ночь, но провожавшая толпа запротестовала и потребовала выдачи ей обоих товарищей — на поруки — под честное слово, что оба на другой день рано утром явятся на пароход. Полиция уступила, и устроилась импровизированная сходка-вечеринка. Сходка тянулась всю ночь. Желябов, стоя на столе, произносил речь за речью, сменяясь изредка другими ораторами, в числе которых был, кажется, и Тригони. Тут же шла прощальная студенческая пирушка. На рассвете я заснул, и когда проснулся, в комнате не было уже ни Желябова, ни Белкина, строго соблюдая честное слово товарищей, они рано утром отправились на пароход, куда вскоре прибыли и все участники последней прощальной сходки.

Прощание было трогательно-братское... ("Из дальних лет")

Другой очевидец этих проводов, Семенюта, прибавляет:

"Публика толпилась, галдела, кричала, провожая отъезжавших возгласами, пожеланиями и пр. Полиция почему-то обиделась: чины ее суетились, разгоняли народ, но его было так много, что разойтись было не — легко. А когда после третьего звонка провожавшие бросились на берег, — произошла давка. Громкое "ура" слилось, смешалось с криками "помогите!"...

Об этих проводах запрещено было распространяться в печати. Но об них много говорили в городе. И, как всегда, с большими преувеличениями". (Из воспоминаний о Желябове. П. Семенюта, "Былое 1906, № 4.)

В Керчи Желябов пробыл около года.

БУНТАРИ. ПРОПАГАНДИСТЫ

Об "эпохе великих реформ" тов. Ленин писал: "Великая реформа была крепостнической реформой и не могла быть иной, ибо ее проводили крепостники. Какая же сила заставила их взяться за реформу? Сила экономического развития, втягивавшего Россию на путь капитализма. Помещики-крепостники не могли[^] помешать росту товарного обмена России с Европой, не могли удержать старых рушившихся форм хозяйства. Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России. Крестьянские "бунты", возрастая с каждым десятилетием перед освобождением, заставили первого помещика, Александра II, признать, что лучше освободить сверху, чем ждать, пока свергнут снизу.

"Крестьянская реформа" была проводимой крепостниками буржуазной реформой. Это был шаг по пути превращения России в буржуазную монархию... И после 1861 г. развитие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в несколько десятилетий совершались превращения, занявшие в некоторых старых странах Европы целые века. Пресловутая борьба крепостников и либералов, столь раздутая и разукрашенная нашими либеральными и либерально-народническими историками, была борьбой внутри господствующих классов, большей частью, внутри помещиков, борьбой и с к л ю ч и т е л ь н о из-за меры и формы уступок. Либералы, так же, как и крепостники, стояли на почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с негодованием всякие революционные мысли об уничтожении этой собственности, о полном свержении этой власти.

Эти революционные мысли не могли не бродить в головах крепостных крестьян. И если века рабства настолько забили и притупили крестьянские массы, что они были неспособны во время реформы ни на что, кроме раздробленных, единичных восстаний, скорее даже "бунтов", не освещенных никаким политическим сознанием, то были и тогда уже в России революционеры, стоявшие на стороне крестьянства и понимавшие всю узость, все убожество пресловутой "крестьянской реформы", весь ее крепостнический характер. Но главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров стоял Н. Г. Чернышевский.

19 февраля 1861 г. знаменует собой начало новой, буржуазной России, выраставшей из крепостнической эпохи. Либералы 1860 годов и Чернышевский суть представители двух исторических тенденций, двух

исторических сил, которые с тех пор и вплоть до нашего времени определяют исход борьбы за новую Россию"^[10].

Чернышевский был социалистом-утопистом, мечтавшим о переходе к социализму через старую крестьянскую общину. В то же время он был революционным демократом, он проводил идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение царизма. Либералов он называл "болтунами". Далее тов. Ленин говорит:

"Росли силы либерально-монархической буржуазии, проповедывавшей удовлетворение "культурной" работой и чуравшейся революционного подполья. Росли силы демократии и социализма — с н а ч а л а смешанных воедино в утопической идеологии и в интеллигентской борьбе народовольцев и революционных народников, а с 90-х годов прошлого века начавших расходиться по мере перехода от революционной борьбы террористов и одиночек-пропагандистов к борьбе самых революционных классов".

Разночинцы-просветители, возглавляемые Чернышевским, были первыми пионерами революционного движения, в котором силы демократии и социализма были слиты пока воедино. Задача шестидесятников заключалась прежде всего в том, чтобы противопоставить свою идеологию дворянству. Они блестяще разрешили эту задачу в экономике, в политике, в искусстве, в морали, в быту. Переоценка ценностей совершалась под углом зрения критически мыслящего реалиста. Надо было освободиться от бытовой инерции, от авторитарного мышления, от вековой формы: плетью обуха не перешибешь и т. д. Материализм и атеизм, критицизм, разум, права личности противопоставлялись традиции, догме, чувству, стихийности, идеализму. Среди некоторой части разночинцев не были изжиты иллюзии, вызванные "эпохой великих реформ", — тем сильнее среди них звучала базаровская проповедь эгоизма, доходившая до утверждения, что народ сам по себе, а мы сами по себе. Огромное положительное значение имела борьба с семейной опекой, особенно среди женщин, за право учиться, самостоятельно устраивать свою жизнь, занимать места учительниц, фельдшерниц и т. д.

Быстро наступившая реакция, правительственные расправы над радикальной интеллигенцией, каторга, ссылки, неудача польского восстания временно парализовали силы шестидесятников.

Вместе с тем "великие реформы" с каждым годом яснее и яснее обнаруживали свое настоящее лицо. Буржуазная реформа, проводимая к р е п о с т н и к а м и, всей своей тяжестью ударила по крестьянству. Остатки

крепостничества в деревне соединялись с самыми кабальными, ростовщическими формами капиталистической наживы. Крестьянство страдало от феодальных пережитков и от молодого русского капитализма, хищного и безудержного. Немудрено, помещик, кулак, купец вызывали в крестьянах крайнее озлобление. Однако, как отмечал Ленин, рабство, разорение, нищета, невежество, бесправие пока мешали крестьянам политически оформить свою ненависть к имущим классам. Она нашла выражение в смутных чаяниях черного передела, в стихийных бунтах, в расправах над помещиками и их сподручными, в воспоминаниях о добрых патриархальных временах, отчасти даже в надеждах на царя, которому мешают облагодетельствовать народ бары и чиновники. Стихийное возмущение крестьянства оформила разночинная интеллигенция, но оформила по-своему.

Ломка натурального и крепостнического уклада, рост городов необычайно увеличили кадры т. н. свободных профессий. Разоряющиеся дворяне, крепнущие кулаки, растеряевское мещанство, чиновничество заполняли своими детьми средние и высшие школы. "Кухаркины дети", бурсаки, "прогоревшие" барчуки, сыновья и дочери врачей, земских служащих, учителей создавали подвижный и по тому времени многочисленный слой разночинцев. Однако, отечественная промышленность, торговля и сельское хозяйство, отягченные феодальными привесками, не могли в достаточной мере поглощать "умственных пролетариев". На культурные нужды, на образование тратились жалкие средства. Очень много разночинцев оставалось не у дел. Чиновничий аппарат был им враждебен по самой своей сущности. Права и самостоятельность земских организаций урезывались в пользу бюрократии. То же самое делалось в судебных учреждениях. Печать держали за глотку. Университеты и школы помпадуров все больше смешивали с участком и казармой. Жандармы и полиция сосредоточивали в своих руках все больше бесконтрольной власти. Поп, становой, исправник являлись недреманым царевым оком в деревне. Интеллигент-разночинец, враждебный дворянскому укладу и правительству, разобщенный насильственно с крестьянством, оказывался как бы в промежуточном положении. Правда, в городах возрастал рабочий класс, но разночинцам казалось, что в крестьянской стране рабочий не может иметь самостоятельного значения; к тому же сплошь и рядом рабочий был еще прочно связан с деревней, проникнут деревенскими настроениями и походил больше на крестьянина, только по несчастному стечению обстоятельств вынужденного временно пойти на фабрику, которая, по крайней мере, у нас, в России, по мнению

разночинцев, чаще всего только развращает труженика. В таком же направлении надо было искать приложения молодых сил, где опора, где союзник в борьбе с деспотией? Промышленник, купец, крупная техническая интеллигенция, врачи, адвокаты, либеральная буржуазия искали только сделки с царем; на настоящую революционную борьбу русская буржуазия была неспособна. Оставалось крестьянство, огромная сермяжная Русь, обираемая со всех сторон. Не раз и не два шла она на господ, на чиновников, на царя восстаниями Некрасова, Степана Разина, Пугачева; казалось, еще жив был старинный дух пугачевщины. Накануне "эпохи великих реформ" крестьяне часто бунтовали, жгли помещиков. В крестьянстве жив был также общинный дух, общинный быт, взгляды на землю, как на "божью"; земля принадлежит тому, кто трудится на ней, земля — крестьянству.

Создавалась и крепла тяга интеллигента-разночинца к крестьянину-труженику.

На деле революционный разночинец хотел, чтобы Россия пошла не по прусскому, а по американскому пути. Прусский образец отстаивали либеральный буржуа, либеральный помещик. Однако лично эту радикальную программу крестьянской революции разночинец-народник окутывал иллюзиями и утопиями. Ему мерещились вольные, деревенские безгосударственные общины, для которых городская индустрия, тоже организованная на артельных началах, является только подсобным, второстепенным средством. Это был утопический, это был крестьянский социализм. Чем питался подобный утопизм?

Этот утопизм питался прежде всего крайней отсталостью нашей деревни. Деревня еще сохраняла ряд патриархальных пережитков. Обираемая помещиком, чиновником, кулаком, торгашем, она ненавидела их стихийной ненавистью, но эта ненависть, революционная по существу, окрашивалась в отсталые по ф о р м е мечтания о добрых, незапамятных временах натурального хозяйства, о жизни по "божьей" правде и т. д. Революционный разночинец прекрасно почувствовал и понял стихийную ненависть крестьянина к его многочисленным и разнообразным грабителям; он увидел, что крестьянин стремится выгнать из деревни помещика и забрать его земли вместе с государственными церковными угодьями. Однако туманная патриархальная оболочка, в которую облекались эти вполне реальные домогательства, помешала народнику увидеть в крестьянине мелкого собственника, веками угнетаемого труженика, но уже живущего в условиях товарного производства. Благодаря патриархальным формам — из них главная — общинное

землевладение — благодаря отсталым крестьянским умонастроениям, революционный-интеллигент нашел, что наш крестьянин — прирожденный социалист. Полицейское государство, помещик, буржуазия мешают ему учредить на земле "праведную" артельную жизнь. Надо освободиться от полицейского государства, от всяких живоглотов, и справедливое, трудовое царство на земле восторжествует незыблемо.

Надо свершить социальную революцию. Итак, отсталые иллюзии в крестьянстве создавали и укрепляли утопические надежды в среде революционной интеллигенции.

Надо совершить социальную революцию. Но здесь во весь рост вставал вопрос о социализме и политической борьбе, о государстве, о том, что же надо делать. К тому времени когда-то яркие лозунга Великой французской революции уже сильно обветшали, полной очевидностью для передовых умов обнаружилось, что права человека и гражданина прикрывают капиталистическое угнетение, что гражданские свободы без экономического равенства, служат капиталу, что лицо "гражданина" приобретает все более и более отчетливые и резкие черты предпринимателя, против которого все сильнее выступает другой гражданин, именуемый пролетарием. Парижская коммуна со всей наглядностью вскрыла рост гигантских противоречий.

В соответствии с этим среди буржуазии происходила решительная переоценка недавних ценностей.

Материализм и атеизм осуждались; на смену им шли идеализм, мистика. Даже естественные науки, даже дарвинизм стали в специальных вариантах все чаще и чаще прикрывать собою реакционные

социально-политические стремления. Гуманизм просветителей все более изживал себя и терял под собою почву. "Свободы" утратили свой вес и звон. Разум, техника делались оплотом капиталистического делячества, узкого практицизма. Все это в сильнейшей мере отразилось на психо-идеологии нашей революционной интеллигенции.

В ту пору рабочее движение на Западе выросло в грозную силу. Оно тоже определяло ум и чувства русского разночинца, но определяло их очень своеобразно. Вера Николаевна Фигнер, вспоминая о своем пребывании за границей в начале семидесятых годов, пишет:

— Мы видели конгрессы-ассоциации (в Женеве в 1873 г.): делегаты Англии, Франции, Италии, Бельгии, Испании, Америки и Швейцарии представляли собой сотни тысяч рабочих, вступивших в союз для борьбы с эксплуатацией труда капиталом. Невозможно было представить себе что-либо более величественное...

Видя, что на Западе политическая свобода не осчастливила народа и оставила незатронутым целый ряд интересов, мы ухватились за последнее слово домогательств рабочего класса и стали исключительно на почву экономических отношений. Мы считаем невозможным призывать русский народ к борьбе за такие права, которые не дают ему хлеба, вместе с тем, думая изменить существующие экономические условия, мы надеялись, подрывая в народе идею царизма, добиться демократизации современного политического строя. О гнете современного политического строя России, об отсутствии какой бы то ни было возможности действовать в ней путем устного и печатного слова мы и не помышляли^[11].

О том, что именно так воспринималась политическая свобода на Западе нашими разночинцами, есть интересные признания и других мемуаристов.

Дебагорий-Мокриевич рассказывает о своем пребывании за границей:

— Швейцарская свобода была, как видно, не для всех, и мы оказывались здесь лишними. Да полно, только ли с нами, иностранцами, так бесцеремонна была эта полиция) Я сам в Женеве был свидетелем как жандарм бил "гражданина"; "гражданин" свалился па пол — дело происходило в участке — и жандарм принялся тыкать его в бока и брюхо своими сапожищами... Но что же это в таком случае за порядки и какая это свобода? Склонные и без того скептически относиться к политической свободе, только укреплялись в своем отрицательном отношении к ней, имея перед глазами подобные факты. Таким образом о "слиянии" с западно-европейским рабочим и думать больше не хотелось...^[12]"

Наши революционные интеллигенты превосходно понимали, что политическое равенство "не осчастливило и не разрешило коренного вопроса об экономическом неравенстве. Они отлично подметили отсталость, упадок буржуазной демократии на Западе. Отсюда они сделали вывод: так как политические свободы "не осчастливили народа", то в м е с т о них надо бороться за социализм, за справедливое новое экономическое устройство общества. Социализм противопоставлялся политике. Не замечали, не видели, что классовая, экономическая борьба есть в то же время и борьба политическая, что революционные социалисты Запада, понимая всю условность и ограниченность "прав человека и гражданина", в то же время обращали эти права на пользу социализму, укрепляя и расширяя их в интересах рабочего сословия.

На противопоставлении социализма политике вырос отечественный бакунизм. Бакунин полагал, что основная задача революционеров

заключается в разрушении государства, всякое государство основано на насилии, всякое государство ведет к социальному неравенству, в то время, как экономическая организация общества выражает подлинную связь между людьми. "Между революционной диктатурой и государственной вся разница только во внешней оболочке". Борьба за политические свободы, парламентаризм лишь усугубляют социальное неравенство. Главное средство, разрушающее государство, это — бунты, анархические восстания народа, доведенного нищетой до отчаянья. Но и нищеты с отчаяньем мало, чтобы возбудить социальную революцию. Они способны произвести местные бунты, но недостаточны, чтобы поднять целые народные массы. Для этого необходим еще общенародный идеал, вырабатывающийся всегда исторически из глубины народного инстинкта, воспитанного, расширенного и освещенного рядом знаменательных происшествий, тяжелых и горьких опытов, — нужно общее представление о своем праве и глубокая, страстная, можно сказать, религиозная вера в это право. Когда такой идеал и такая вера в народе встречаются вместе с нищетой, доводящей его до отчаяния, тогда социальная революция неотвратима, близка, и никакая сила не может ей воспрепятствовать...

На нашем знамени... огненными, кровавыми буквами начертано: разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов, — организация разнузданной чернорабочей черни, всего освобожденного человечества, создание нового общечеловеческого мира^[13].

Эта проповедь Бакунина на первых порах вполне пришлась по нраву революционному разночинцу — семидесятнику. В политических свободах буржуазной демократии он не видел положительного содержания: наоборот, буржуазный правопорядок поддерживал сильнейшее экономическое порабощение. Нищеты, дошедшей до отчаяния, у нас было тоже сколько угодно. Стихийные бунты происходили издавна, "Общенародный идеал из глубины инстинкта" усматривался в общине. Полагалось, в России есть два основных враждебных друг другу лагеря: крестьянство, нищее, дикое, но с общинными навыками — и бюрократия, мешающая всякому развитию народной жизни в сторону вольных артелей. Интеллигенция призвана не вызвать, не возглавлять народную, социальную революцию, а сообщить ей только первый толчок.

Так появились бунтари-народники. В противовес Просветителям-шестидесятникам, еще не отделявшим Социализма от политики, бунтари резко их противопоставили друг другу. Отрицательное отношение к политической борьбе отчасти питалось также разочарованием в "эпохе

великих реформ" и всеобщей реакцией. И в иных многих отношениях бунтари отличались от нигилистов-шестидесятников. Вместо естественных наук теперь увлекались социологией и экономикой. Вместо организации проповедывались стихийные восстания; вместо разума — инстинкт. Бакунин отрицательно смотрел на науку; по его мнению, — она служила только угнетению. Бунтари-бакунисты считали, что для работы в народе не требуется особых знаний, надо лишь верить в социальную революцию; цивилизация же подлежит коренному разрушению. Критически-мыслящая личность растворялась в народной стихии.

Однако не все революционные интеллигенты той поры разделяли эти взгляды. Бакунистам себя противопоставляли лавристы.

Лавристы сходились с бакунистами в утверждениях, что надо стремиться к социальной революции, что она неизбежна в России и что она устраним экономическое неравенство. Согласны они были с бакунистами и в оценке нашей общины. Политическую борьбу лавристы тоже отрицали в пользу социализма. Но бакунисты, надеясь вполне на крестьянскую стихию, признавали ненужной длительную и обстоятельную революционную, просветительную и организационную работу в массах; между тем, лавристы ее выдвигали на первый план. В противовес стихийности, инстинктам, чувству лавристы с особой настойчивостью отмечали значение личности и разума в исторических процессах. Лавров создал своеобразную философию истории.

— Может быть, — писал он в своих знаменитых "Исторических письмах", — в общем строе мира явление сознания есть весьма второстепенное явление: но для человека оно имеет столь преобладающую важность, что он всегда прежде всего делит действия свои и подобных себе на действия сознательные и бессознательные...

Мы никогда не можем устранить иллюзии, что человек сознательно и свободно ставит себе известные цели, пусть наука и убеждает человека в противном.

Отсюда:

— Закон хода исторических событий оказывается с этой точки зрения определенным предметом исследования: надо уловить в каждую эпоху те цели, умственные и нравственные, которые были в эту эпоху созданы наиболее развитыми личностями, как высшие цели, как истина и нравственный идеал; надо открыть условия, вызвавшие это мирозерцание... тогда от пестрого калейдоскопа событий исследователь неизбежно переходит к закону исторической последовательности...

— Волей-неволей приходится прилагать к процессу истории

субъективную оценку, т. е. усвоив, по степени своего нравственного развития, тот или другой нравственный идеал, расположить все факты истории в перспективе, по которой они содействовали и противодействовали этому идеалу, и на первый план истории выставить по важности те факты, в которых это содействие или противодействие выразилось с наибольшей яркостью.

Словом, понятие прогресса есть понятие чисто субъективное. Это был отказ от науки, поскольку речь шла о деятельности человека. По поводу этого субъективизма Энгельс писал:

— Друг Петро... является эклектиком, который из всех различных систем и теорий старается выбрать то, что в них есть наилучшего... Он знает, что во всем есть своя дурная и своя хорошая сторона и что хорошая сторона должна быть усвоена, а дурная удалена^[14].

Несмотря на всю антинаучность этих построений, на крайний их субъективизм, а вернее, благодаря именно этим свойствам, социология Лаврова господствовала в умах тогдашней разночинной интеллигенции, вполне соответствуя ее утопическим настроениям, отвлечённым моральным нормам, выделяя и поднимая личность революционера, идеализируя его положение. Лавризм не пользовался большим признанием на практике. Бунтари-бакунисты в работе легко брали перевес над лавристами-пропагандистами. Но "Исторические письма" Лаврова сделались настольной книгой интеллигенции наряду с книгой Бакунина "Государственность и анархия". Признанием пользовалась и проповедь Лаврова "недалаченого долга" перед народом, его призывы к самоотверженности ради народных интересов. Вообще же лавристы по сравнению с бакунистами являлись своеобразным правым крылом, оппортунистами и эклектиками.

В 1870 г. был переведен на русский язык первый том "Капитала". Его усиленно читали, не в пример другим произведениям Маркса, почти у нас неизвестным. Учение о прибавочной стоимости, о первоначальном накоплении, о методах порабощения и угнетения, об отношениях между трудом и капиталом воспринималось с жадностью, но вся система научного социализма: диалектика, исторический материализм, учение о классовой борьбе, о противоречиях, объективный, строго научный анализ общественного процесса — оставались чуждыми революционной молодежи. В искаженном, вульгарном виде экономический материализм, пожалуй, усваивался только в некоторых положениях бакунизма.

Помимо бакунизма и лавризма, основных идеологических тогдашних направлений, было еще одно течение — ткачевское. Нечаевец Ткачев

проповедывал захват власти революционным меньшинством. Якобинские взгляды Ткачева нашли признание значительно позже среди некоторых видных народовольцев, пока же к ним относились отрицательно.

Революционные настроения начала семидесятых годов были, как видно, не только утопичны, но и крайне противоречивы. Революционный разночинец считал себя критически-мыслящей личностью, направляющей исторический процесс согласно своим нравственным идеалам; в то же время он готов был растворять себя в крестьянской стихии. Он выходил бороться с огромным государственным аппаратом и отрицал значение политической борьбы; субъективно старался примкнуть к социалистическому движению на Западе, к интернациональной борьбе рабочих и проповедывал своеобразное славянофильство, усматривая в крестьянской общине оплот против надвигающегося с Запада производства, отрицал собственность на средства производства и обращался к мелкому собственнику, игнорируя в то же время пролетариат: объявлял борьбу всяким предрассудкам, а некоторые патриархальные предрассудки в крестьянстве считал социалистическими навыками... С такими взглядами пошел в бой с самодержавием революционер-семидесятник.

Труден и скорбен был его путь. Много разочарований, мук, бед таил он в себе. Но никогда не следует забывать, что эти революционеры, стоявшие на стороне крестьянства, были единственными, поднявшими на свои молодые плечи гигантскую ношу в то время, когда все "общество", т. е. разные либеральные болтуны, мечтало лишь "применительно к подлости", трусливо пряталось, занималось наживой и в лучшем случае показывало кукиш в кармане.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КРУЖКИ ЖЕНИТЬБА

В 1872 г. Желябов возвратился в Одессу. В университет его не приняли, но он продолжал участвовать в студенческих кружках, сотрудничал в нелегальном журнале. Взгляды Желябова в то время, видимо, не отличались определенностью; своими помыслами он тянулся к трудовому крестьянину, к рабочим и ненавидел деспотизм.

Нелегальные кружки отличались пестротой. Много было сумбурного. Некий француз доктор, не без успеха призывал поселиться в теплых странах, ходить там нагишом, питаться одними фруктами и утвердить социалистический строй под тропиками, на что Бакунин ему однажды ехидно заметил, что он предпочитает питаться буржуазным мясом. Был также кружок Ковальского. Впоследствии Ковальский оказал первое вооруженное сопротивление при обыске и был повешен, но в те годы он отрицал революционную деятельность и надеялся на сектантов.

Наиболее влиятельным являлся кружок Волховского. Участник нечаевского процесса, очень образованный литератор, Волховский, находясь под полицейским надзором, возглавлял кружок, в котором преобладали взгляды Лаврова. Кружок вел работу среди студентов и рабочих. Среди рабочих распространяли нелегальные книги: "Хитрую механику", "Сказку о четырех братьях", "Чтой-то, братцы, как тяжело живет рабочему люду на Святой Руси", "Паровую молотилку". Более развитым давали Флеровского "Положение рабочего класса в России", Лассаля, журнал "Вперед", Бакунина, книгу Соколова "Отщепенцы".

Желябов был принят в кружок Волховского. Ввел его в него Чудновский. По его словам Желябов пережил серьезные колебания. Вот что сообщил Чудновский о них:

— Все время я внимательно следил за чрезвычайно подвижной физиономией Желябова и от меня не могло ускользнуть то необычайное волнение, которое все сильнее охватывало его, по мере развития мною сделанного ему предложения. Когда я кончил, Желябов поставил мне категорический вопрос: "Как я бы поступил, если бы на моих руках находилась нежно-любимая семья: отец, мать, братья и сестры, благосостояние которых всецело бы зависело от меня, и мне при этих

условиях было бы предложено примкнуть к такой организации, принадлежность к которой сопряжена была бы с серьезным риском и могла бы во всяком случае лишить меня возможности быть полезным любимой семье".

Чудновский ответил, что помимо любви к семье и к родителям есть более повелительные чувства долга перед родиной и народом.

— В глубоком волнении Желябов с четверть часа энергически прошагал по моей комнате. Затем обратившись ко мне, он заявил мне, что берет себе на размышление три дня — и распростился со мной.

— Через три дня Желябов, заметно осунувшийся, явился ко мне и проникновенным голосом объявил мне, что Рубикон им перейден, корабли сожжены, и он окончательно и бесповоротно решил примкнуть к нашему кружку. Я ознакомил тогда его с составом кружка и предложил ему принять на себя пропаганду в среде интеллигентного общества. Желябов очень охотно принял на себя эту миссию, заявив, что он предоставляет себя всецело в распоряжение кружка.^[15]

Мы знаем, что Желябов был революционно настроен и перед своим вступлением в кружок. Но одно дело быть просто революционно настроенным! и даже быть удаленным по студенческому делу из университета, и совсем иное—"перейти Рубикон". Люди желябовской складки, настоящие бойцы, решения принимают окончательно и бесповоротно, не отступают, бьются до конца.

В кружке Желябов держался, как подобает молодому прозелиту. Ковалик (Старик) рассказывает:

— Интересно было видеть, с какою скромностью и благоговением слушал Желябов речи Волховского и других старших по времени вступления в кружок членов его. Огонек, потухавший в Желябове в то время, когда он находился в составе кружка, тотчас же вспыхивал за пределами^[16].

В кружок входили Жолтоновский, Ланганс, Франжоли, Ольга Разумовская, Макаревич, Костюрин и другие. Точных сведений о том, каких взглядов придерживался тогда Желябов, не имеется. Скорее всего склоняется к лавристам, будучи сторонником деятельной пропаганды в народе...

...Нуждаясь в заработке. Желябов выезжает на сахарный городищенский завод Киевской губернии давать уроки в семье Яхненко. Яхненко, член одесской городской управы, капиталист и помещик, был убежденным монархистом, но признавал необходимость реформ, стоял за

расширение самоуправления, образования, за свободу печати и слова. Семья Яхненко к тому времени поддерживала связи с киевскими украинофилами. На заводе Желябов прожил около года и в 1873 г. женился на дочери Яхненко. Жена Андрея Ивановича, Ольга Семеновна, была натура мягкая и женственная, живая и общительная, недурная певица и пианистка, но совершенно далекая от революционной среды.

Иногда Желябов отлучался в Киев. Здесь следует отметить прежде всего его встречи с Драгомановым. — Позже, в 1880 г., Желябов писал Драгоманову:

— Два раза пришлось нам встретиться... Помню первую встречу в 1873 г. в Киеве, на квартире у У. Сидит кучка старых-престарых нигилистов за сапожным столом, сосредоточенно изучая ремесло. То знамение "движения для жизни, честной, трудовой... Программа журнала "Вперед" прочтена и признана за желательное... Но какова-то действительность", спрашивал себя каждый и спешил погрузиться в неведомое народное море. Да, славное было время...

Драгоманов, профессор, украинофил-федералист, не ограничивался научной деятельностью. В 1873 г. он возвратился в Киев из-за границы, где поддерживал связи с бакунистами и лавристами, но в отличие от них, находил, что программа их "преждевременна" и что русским социалистам в первую очередь надо завоевать политические свободы.

В Киеве в то время наблюдалось большое общественное оживление. В юго-западном отделе Русского географического общества киевская молодежь собиралась в кружки. Преобладал, впрочем, узко-националистический дух и даже вражда к социалистам. Молодые украинофилы, высмеивая "москалей", считали излишним утруждать себя изучением сочинений Маркса, Чернышевского, Лассаля. Драгоманов принадлежал к более радикальному кругу, старался сочетать европеизм и космополитизм с украинской автономией^[17].

Желябов, встречаясь с Драгомановым и его сторонниками, выслушивал разговоры о необходимости политических свобод и, хотя, надо полагать, не соглашался с "конституционалистами", но многое запомнил. Эти встречи укрепили также в нем любовь к Украине, к ее прошлому, но украинским националистом он не сделался.

Среди революционной киевской молодежи были известны два кружка: в один, лавристский, входили П. Аксельрод, Рашевский и прочие; другой кружок назывался Киевской коммуной. По свидетельству Дебагория-Мокриевича Киевская коммуна не являлась организацией. В Коммуне жили сообща, делились средствами, селились по знакомству, появляясь

неожиданно и так же неожиданно исчезая. В Коммуне назначались встречи, происходили словесные схватки, обсуждались революционные предприятия. Настроения преобладали боевые. Коммуна издевалась над пристрастием лавристов к науке, к обстоятельной пропаганде, преобладал решительный бакунизм. К практическому делу надо приступать немедленно. Всякое откладывание есть недопустимая проволочка, есть преступление...

В Коммуне держались, примерно, такого приема — Согласен немедленно итти в народ? — Согласен! — Значит, ты — наш! — (Дебагорий-Мокриевич). Учились владеть топором, пилой, долотом, рубанком, шилом. Имелись связи с рабочими, в частности с плотничьей артелью. Входили в Коммуну; Дебагорий-Мокриевич, Брешковская, Каблиц, Стефанович, Ларионов, Горинович, впоследствии предатель, и другие. Желябов посещал Киевскую коммуну, но какое участие принимал в делах ее, неизвестно. Скорее всего он считал необходимым серьезную пропагандистскую работу среди народа.

В конце 1873 г. Андрей Иванович возвратился в Одессу. Семенюта сообщает, что Желябов в это время принимал участие в студенческих делах, выступал на сходках и собраниях с большим успехом. Однако такая деятельность его не удовлетворяла.

— Протестующая струнка, — пишет Семенюта, — искала пищи и нашла ее в проповеди среди рабочих местных заводов, где Андрей Иванович сделался очень популярен. Проповедь его ставилась на почве экономической необеспеченности рабочих, которым передавались взгляды Лассаля. Желябов при своей нетерпеливости никак не мог примириться с тем фактом, что для усвоения идеи, для согласования ее с привычками и традиционными взглядами, нужно время: его выводил из себя консерватизм рабочей массы...

Среди одесских рабочих работал Заславский. Заславский имел свою типографию. Рабочие его входили в кружок, привлекая в него товарищей и из предприятий, однако, с большим выбором и с осторожностью. Сам Заславский производил на рабочих сильное впечатление. Жил он с семьей бедно, ютился в одной комнате, сам работал в типографии, держался запросто, умел выразительно и убедительно говорить. От революционной интеллигенции держался в стороне. Организатор южно-русского союза рабочих, он к народникам относился отрицательно, отстаивая массовые формы рабочего движения. Желябов был вхож в кружок Заславского, но значительного влияния в нем не имел. В своей автобиографии Окладский отмечает, что он, как рабочий, тогда познакомился с Желябовым и

несколько раз с ним виделся.

Жил Андрей Иванович на скудный заработок от частных уроков; потом ему удалось устроиться преподавателем в Одесском сиротском доме.

ХОЖДЕНИЕ В НАРОД АРЕСТ

Хождение в народ началось еще в шестидесятые годы, но полной своей силы достигло в 1873–1874 годах.

Революционная молодежь с необычайным энтузиазмом: откликнулась на призыв Бакунина. Бакунин писал:

"Русский народ только тогда признает нашу образованную молодежь своею молодежью, когда он встретится с нею в своей жизни, в своей беде, в своем отчаянном бунте. Надо, чтобы она присутствовала отныне не как свидетельница, но как деятельная и передовая, себя на гибель обрекая, соучастница, повсюду и всегда, во всех народных волнениях и бунтах, как крупных, так и самых мелких".

Оставляли учебные заведения, откладывали научные занятия, отказывались от жизненных удобств, ломали решительно свой жизненный уклад, привычки, бросали жен, матерей, детей, ставили себя в самые тяжелые условия, готовые к любым лишениям, к тюрьме, к каторге, к смерти.

Грядущее представлялось в виде вольных, федеральных общин. Предполагалось — народ, крестьянство только и ждет сигнала к бунтам и к восстаниям. Этот сигнал должна подать самоотверженная интеллигенция. Политику, "свободы" считали делом вредным; парламенты, гражданские права нужны только буржуазии для горшего народного угнетения.

В народ шли потому, что считали свое положение наверху общественной лестницы безнравственным. Хотели жить, как он живет; хотели перестрадать всеми народными страданиями; добывать хлеб насущный своими руками. Цивилизация, основанная на народном труде и горе, обрекалась разрушению; Крестьянский труд представлялся святым. Надо было опроститься, слиться с сермяжной стихией. В этой проповеди физического труда и опрощенчества было много схожего с толстовством, но Д. Н. Толстой имел в виду свое *личное* нравственное совершенство, к народу он, в сущности, был равнодушен; его занимала больше с в о я совесть, между тем, как молодые революционеры-семидесятники заботились прежде всего о *народе*, о крестьянстве. Толстой требовал опрощения во имя добра, которое есть бог, революционный разночинец

опрощался во имя угнетенного человечества. Хождение в народ было движением стихийным. Даже те, кто знали деревню, крестьянский быт, испытали эту жизнь — теперь смотрели на нее и на крестьянство новыми, очарованными глазами. У Дебагория-Мокриевича есть по этому поводу превосходное сравнение: Вероятно, многим, — писал он, случилось пережить такое состояние: вот вы давно знакомы с женщиной, не раз встречались с нею, проводили время в ее обществе. И вам она казалась обыкновенным человеком. И вдруг случилось так, что ваше внимание почему-то привлеклось: и та самая улыбка, которая раньше казалась обыкновенной и которую вы сотню раз мидели на ее лице, теперь, вдруг стала вам представляться прекрасной; глаза ее получили такое выражение, какого вы никогда раньше не замечали, ее голос, жесты, походка, словом все в ней изменилось и изменилось неизмеримо к лучшему, стало для вас привлекательным. Подобные этому чувства начал я испытывать к мужикам; я знал их с самого детства, но теперь они мне стали представляться не такими, какими я их знал, а какими-то другими, значительно лучшими...

Вероятно, очень похожее на это пережил и молодой Андрей Иванович. В отличие от многих, ходивших в народ, он этот народ нехудо знал. Ему не надо было своим хребтом изучать крестьянский быт, его тяготы и нужды, он сам вышел из этой среды; но, очевидно, подобно Дебагорию-Мокриевичу, подобно большинству тогдашней революционной молодежи Желябов пережил восторженное чувство преклонения перед крестьянством, жажду послужить ему и с ним слиться.

Желябов знал и видел крестьянскую жизнь в отличие от многих и многих его соратников, имевших о ней лишь смутное представление. А. Квятковский, один из виднейших революционеров той эпохи, в своей предсмертной автобиографии свидетельствует:

— Большинство было совершенно незнакомо с народом. Знали только, что он беден и несчастен. Его же мировоззрение, его общественные и бытовые стороны, его желания, стремления были для пропагандистов *terra incognita*.

Неуменье сойтись, сблизиться с ним, заставить себя понимать, с одной стороны, с другой — обычное недоверие мужика к новому незнакомому ему человеку — особенно такому, каким являлся ему интеллигентный человек в сермяге и в роли простого рабочего, — помимо причин, имеющих более глубокое значение, как причин, лежащих в самом положении крестьянина, где назойливая, ежечасная, ежеминутная нужда во всех видах заставляла его устремлять все свое внимание на приискание всевозможных средств удовлетворения этих необходимых нужд... — все

это привело к полной неудаче пропаганды^[18].

Прежде чем отправиться в народ составляли артели, открывали мастерские, обучались сапожному ремеслу, плотничали, слесарничали, живя коммунами, братски делясь средствами, у кого они были. Потом расходились по деревням небольшими группами, да два-три человека. Неопытность и самоотверженность были величайшие. Лукашевич рассказывает о своем первом хождении:

...— Вопрос, насколько нам удалось переодевание, встал теперь перед нами со всей яркостью. Вероятность провалиться на первых же порах из-за того, что в нас сразу признают переодетых "студентов", до того сильно переоценивалась нами, что уже из Клина решено было послать нашим оренбургским друзьям письмо о благополучном прибытии нашем и этот город. Наивное предположение, что каждый встречный при первом взгляде на нас тотчас же догадается, что в нашем, лице под новенькими полушубками и простопородными картузами скрыты враги правительства, а в наших котомках заподозрят спрятанную эту самую пропаганду, дает представление о нашей полной неопытности...

... — Когда мы в первый раз услышали неизменно всегда повторявшийся потом вопрос: "чьи будете?", то мы его прямо не поняли, как будто с нами заговорили на незнакомом иностранном языке...

— Наш чрезмерный ригоризм в отношении пищи раз чуть было не дошел до самых крайних высот комизма: у нас возникал вопрос, позволительно ли нам, взявшим в руки страннический посох... есть селедки?!... — Для спанья я купил себе на базаре рогожу, бывшую уже в употреблении, и клал ее на досчатые нары. Ветхая мочалка скоро протерлась насквозь и приходилось спать уже на голых досках...^[19]

О нравственном ригоризме молодых революционеров дает представление следующий рассказ Гроньяра (Михайловского). Он приведен им в "Народной Воле", но по всей справедливости может быть отнесен, и даже с большим правом, к первой половине семидесятых годов. Случай произошел за границей:

— Среди горячего спора один наезжий из России заметил своему оппоненту, эмигранту: "Вам хорошо рассуждать, когда вы три года высидели в тюрьме, как птица небесная; ведь вы на счет народа *сидели!*" Оппонент ответил натянутым смехом. Я очень оценил эту выходку и этот натянутый смех. Ни одному европейскому революционеру не придет в голову такая утонченно-самообличительная мысль. Решительный или нерешительный в жизни, он тверд в мысли о безусловной правоте своего

дела. Русский же революционер, пройдя с невероятным самоотвержением весь крестный путь лишений, оскорблений, страданий, на которые обречен свободный человек в России, может накануне повешения призадуматься: имею ли я право, хотя бы в предсмертных судорогах, висеть на этом куске дерева, составляющего народное достояние? Не ограбил ли я народ на это сосновое бревно с перекладиной и на ту долю труда, которая в него положена?

Я далек от намерения представлять в смешном виде характерную черту русской революции. Напротив, я думал о ней с глубоким умилением...^[20]

В народ шли бакунисты-бунтари, пропагандисты-лавристы, нечаевцы, ткачевцы, последователи Маликова, который проповедовал богочеловечество. Настоящей, централизованной организации не было. Группировались в кружки. Кружки поддерживали друг с другом связи, снабжали своих членов нелегальной литературой, фальшивыми паспортами, деньгами. Наиболее влиятельными были петербургские и московские революционные кружки. Пользовался известностью петербургский кружок Чайковского. Вокруг него сосредоточивались и другие кружки: кружок артиллеристов, голоушевцы, разные землячества. В Москве молодыми революционерами руководил университетский кружок и кружок Петровской земледельческой академии.

На юге очагами революционного движения являлись Киев и Одесса. В Киеве, как было уже упомянуто, действовала "Коммуна". В ноябре 1873 г. состоялось нечто похожее на съезд. Присутствовали: Сергей и Владимир Жебуновы, Коблев, Франжоли, Трудницкий, впоследствии предатель, Михаил Кац и др. Николай Жебунов прислал письмо с изложением своих взглядов. Согласно обвинительному акту 193-х на совещании было решено "произвести революцию, но не регулировать ее, а предоставить народу полную автономию". Наилучшим строем признавался федеральный, состоящий из свободных сельских общин. Для ведения революционной пропаганды решили селиться группами, организованного сообщества не составлять, уставов, правил, программ не писать, войти в сношения с другими кружками, переписки о революционных делах не вести, не действовать, сразу на массу публично, по наружности казаться вполне благонадежными, о царе пока худого крестьянам не говорить, работать, убеждая отдельных лиц, в городах же вести агитацию преимущественно в артелях.

Кружок располагал подпольными изданиями: "История одного крестьянина" Эркмана-Шатриана (в кратком изложении), "О мученике

Николае", "Чтой-то, братцы", сборник революционных стихов, "Стенька Разин" и тому подобное.

После киевского совещания Николай Жебунов поселился в Одессе. Здесь также жил Петр Макаревич. Николай Жебунов сначала работал в слесарном заведении Рыхлицкого, затем открыл свою собственную кузницу, которая позже была перенесена в село Васильевку, в 60 верстах от Одессы. Макаревич обучался сапожному мастерству и жил одно время с бывшим студентом, уже известным нам Самуилом Чудновским; с ним он ввозил из-за границы революционную литературу. У Жебунова часто собирались; велись разговоры, как итти в народ, что делать, причем уже тогда зарождались мысли о вооруженных сопротивлениях жандармам во время арестов. Здесь же занимались шифровкой писем^[21].

В ответ на революционную пропаганду правительство по всей России разослало тайные циркуляры; в них предписывалось следить за подозрительными личностями и хватать их. Начались облавы, аресты. Арестованных подвергали избиениям, запугиваниям, издевательствам. Иногда опричникам удавалось добиться оговоров; следовали новые аресты. Правда, в ту пору правительство еще — не обнаружило большого опыта в деле "пресечения", но и революционеры отнюдь тоже не отличались заговорщицкими навыками. Кружок Волховского тоже был разгромлен. Его предал Трудницкий. В сентябре 1874 г. власти арестовали и Желябова. Его взяли по делу Макаревича. Некая вдова Солянникова оговорила его, показав, что ее знакомый Калмыков среди посетителей Макаревича называл и Желябова. Жандармы устроили очную ставку Солянниковой и Желябову. Готовая к услугам вдова, однако, Желябова не опознала. Желябов свое знакомство с Макаревичем отрицал. При обыске "ничего подозрительного" у него не обнаружили. Андрей Иванович был освобожден с подпиской о невыезде. В недолгом времени его опять взяли и привлекли к судебному следствию из-за шифрованного письма студенту Казбеку для Анны Макаревич. Письмо жандармам удалось расшифровать. Желябов сообщал Анне Макаревич о показаниях ее мужа, Петра, заключенного в Одесской тюрьме. Между прочим, он писал:

— На случай вашего ареста загодя просите своих родителей взять вас на поруки или внести залог. Предстоит такое чудесное предприятие, что я этому письму не хочу доверять, но для успеха нужны деньги.

Я уже телеграфировал в Киев, не знаю, вышлют ли. Если вы богаты, опешите сделать перевод ста рублей на контору Мааса в Одессе. Дело спешное. Если будете высылать, то пришлите извещение телеграммой на имя Шостаковского, в Коммерческое училище, учителю. Беда, наш

прежний адрес перестал служить. Я уговорил одну барышню дать свой адрес на три недели, пишите: Одесса, Ланжероновский переулок, в склад швейных машин Цорна, Евгении Петровне. Ищу нового адреса, найдя, напишу. На внутреннем конверте ничего.

Понятно, указание на "чудесное предприятие", на спешное дело, для которого нужны деньги, сообщение об адресе, загадочная фраза "на внутреннем конверте ничего", весь тон и стиль письма должны были жандармам и прокурорскому надзору показаться чрезвычайно подозрительными. Желябов признал письмо своим, но назвать кого-нибудь наотрез отказался. Ему удалось все же убедить начальника жандармского управления Кнопа в своей невиновности. Кноп доносил в Петербург:

— Желябов ничем не уличается в принадлежности к кружку Макаревича... он с полной откровенностью сознался в тех своих преступных действиях, за которые имеет лично за себя отдать отчет перед законом... Участие его в деле Макаревича имеет характер, очевидно, личный, основанный на его к ней чувствах привязанности... Умолчание им фамилий лиц, упомянутых в зашифрованном письме, носит отпечаток преувеличенного рыцарского увлечения относительно понятий о чести... Личный характер и общественное положение недавно женившегося на дочери уважаемого здешним обществом гласного думы и члена городской управы Служит залогом к тому, что он не уклонится от следствия и суда... — В виду всего этого Кноп ограничился отдачей Желябова на поруки с денежной ответственностью в две тысячи рублей^[22].

Прокурор Одесской судебной палаты согласился с заключением Кнопа, но в столице на дело посмотрели иначе. Там писания "рыцаря" и его "чувства привязанности" показались вполне предосудительными, и генерал Слезкин особой телеграммой 11 ноября распорядился:

— Андрея Желябова следует немедленно арестовать.

Желябова препровождают в тюрьму, где он коротает длинные, скучные дни до марта следующего 1875 года, когда под залог в три тысячи рублей его выпускают на поруки. Позднее он привлекается по делу 193-х, но об этом речь ниже; пока же следует отметить три пространных протокола допросов, снятых с Желябова. Вот их общий характер и дух:

— Не признаю себя виновным ни в принадлежности к тайному сообществу (члены которого сгруппировались в Одессе около Николая Жебунова и Петра Макаровича) с знанием, что цель того сообщества заключается в возбуждении неимущих классов в России против имущих и в пропаганде среди низших классов населения революционных идей; ни в том, в чем обвиняли меня прежде, т. е. в укрывательстве жены

Макаровича... О существовании в городе Одессе тайного преступного сообщества и о принадлежности к оному Макаровича, не знаю ничего и услышал об этом на дознании. Следующих лиц не знаю, не ветре тлея нигде с ними: Франжели, Коблев, Жебуновы, Голиков, Глушков, Волховский, Рябков, Макавеев, Дическуло, Ланганс, Кац, Стенюшкин..."^[23]

По поводу знакомства с Анной Макарович Желябов объяснил, что он знал ее еще гимназисткой; потом случайно встретился с ней в Одессе. У Макаровичей он не бывал. После ареста мужа Анны к Желябову от нее, проживавшей тогда в Петербурге, явился неизвестный молодой человек. Неизвестный молодой человек объяснил, что Анна Макарович просит его, Желябова, сообщить ей о показаниях арестованного мужа, дабы не попасть впросак, если ее арестуют в Петербурге. Желябов дал согласие, получил ключ к шифру и адрес. Он надеялся узнать, когда подсудимые гуляют на дворе. Он предполагал, что Анна Макарович по приезде из Петербурга подойдет к тюремным воротам и через решетку переговорит с мужем. Позже Желябов узнал, что политических заключенных на прогулку не выпускают; тогда неизвестному молодому человеку он объяснил: возможности помочь Анне Макарович не предвидится. Но тут опять "явилось одно лицо", вручившее Андрею Ивановичу показания Макаровича. Показание было "дословно перешифровано", перешифровка отправлена в Петербург. В деле письма, однако, не оказалось. По поводу "чудесного предприятия" подследственный сообщил: помянутое "одно лицо", между прочим, заявило, будто можно устроить свидание Анны Макарович с мужем через тюремного ключника, но на это нужны деньги. — Вот это я и разумел под "чудесным предприятием", для успеха которого, как от себя уже пишу в зашифрованном письме, "нужны деньги". — На что же именно они нужны, известно, очевидно, только "одному лицу", предъявителю показаний Макаровича, а не ему, Желябову. Подозрительное выражение: — дело смелое! — простая описка. В подлиннике было — дело спешное. — Почему же дело спешное? Почему дело спешное, "трудно припомнить". Другие загадочные слова — "на внутреннем конверте ничего" — тоже никаких предосудительных загадок в себе не заключают: — Анна Макарович должна была употреблять два конверта: наружный с обозначением на нем адреса Окуньковой (адрес учительницы Евгении Петровны — А. В.) и внутренний безо всякого адреса. Внутренний конверт при вскрытии письма должен был для Окуньковой служить знаком, что письмо надлежит передать Желябову. В заключение Желябов писал:

— Повторяю, что вполне сознаю себя неправым перед законом, скрывая фамилии лиц, соприкосновенных с делом, и только сознание, что

выдавать их безнравственно— причина такого умолчания. Вся вина моя: дружеские отношения к Анне Макаревич и неведение того, в чем обвиняется она совместно с мужем своим... К сожалению, неизвестно, о каком "чудесном предприятии", о каком не то смелом, не то спешном деле шла в, действительности речь. Можно, однако, с уверенностью сказать, что Желябов был весьма далек от того, чтобы признаваться "с полной откровенностью", как о том доносил в столицу жандармский полковник Кноп. Да и "вина" Желябова, разумеется, не сводилась к одним только дружеским отношениям к Анне Макаревич. По обвинительному акту дело было представлено в таком виде:

В конце 1873 г. в Одессе поселился Николай Жебунов, открывший свою кузницу. В то же время Петр Макаревич обучался сапожному мастерству и жил на одной квартире с Чудновским, поставщиком с пограничной линии революционной литературы. Квартиру Макаревича, по свидетельству вдовы Солянниковой, — посещало много молодых людей, невидимому, образованных, ко из коих некоторые были одеты мастеровыми и носили с собой разные инструменты; обыкновенно собиралось человек пять-шесть, а раза три или четыре было так, что собиралось в квартире Макаревича человек до 15... Во время таких собраний, несмотря на присутствие многих лиц, приходивших к Макаревичу была такая тишина, точно в ней никого не было. — Вообще поведение Макаревича и приходивших к нему лиц произвело на Солянникову такое впечатление, что у нее родилась мысль, не занимаются ли эти лица в квартире Макаревича подделкой фальшивых ассигнаций. В числе лиц, приходивших к Макаревичу, был некто Желябов, фамилию которого Солянникова слышала несколько раз.

Обвинение данными не изобилует. Вообще же надо сказать: все, что известно в ту пору о Желябове, о революционных его взглядах, о пропаганде среди рабочих и студентов, о связи его и знакомствах, свидетельствует об одном: давая свои показания, Андрей Иванович руководствовался обычной для русского революционера тактикой отрицания.

РАЗГРОМ. ПУТИ И ПЕРЕПУТЬЯ

Хождение в народ часто изображается как мирное движение, лишенное революционных целей. На судебном первомартовском процессе Кибальчич и Желябов тоже утверждали, что в годы хождения они стремились только развить общинные навыки, поднять культурный и нравственный уровень народа. Делая эти и подобные заявления, имели в виду доказать, что вначале народники были далеки от террористической деятельности. В этом смысле и вправду их действия являлись мирными. Несомненно также, что некоторые шли в народ, чтобы порвать связи с цивилизацией, основанной на угнетении и несправедливости народном, чтобы жить справедливым земледельческим трудом. Однако подавляющее большинство молодых революционеров стремилось не столько "очиститься" от буржуазной "скверны", сколько поднять народ против помещиков и против правительства. Правительство скоро уразумело, что движение носит революционный характер, и ответило на него расправами. Главная беда движения, все же заключалась в иллюзиях, с какими революционные разночинцы пошли в народ. Народ, крестьянство, несмотря на века рабства, на невежество и дикость, нередко очень живо откликалось на пропаганду. Крестьяне сами мечтали о черном переделе. Они охотно соглашались, что земля должна принадлежать им, что бар и господ надо сбросить с шеи. Эти и подобные лозунги вполне соответствовали интересам мелкого производителя. Это были революционно-демократические требования. Глухим крестьянин делался, когда ему говорили, что мелкая собственность — дело вредное и подлежит обобществлению в коммуны. К восприятию этих взглядов крестьянин тогда не был расположен. Развитие товарных отношений в деревне, растущая зависимость ее от капиталистического города превращали крестьянина все больше в индивидуалиста-собственника.

Мечтания юных бунтарей были чужды крестьянству. Они осуществились позже, под руководством рабочего класса, при его победе и власти.

Не лучше дело обстояло и с попытками вызвать восстание. Одно дело распространить "Хитрую механику" или "Чтой-то, братцы" и совсем другое дело — поднять народ. Для восстания нужно оружие. Где его взять? На какие средства приобрести? Как его доставить, где хранить, как раздать,

чтобы этого не заметили? Как сплотить в деревне боевые силы? Соединить село с селом, уезд с уездом? Приснопамятные времена Пугачева, Степана Разина давным-давно миновали. Правительство повсюду имело своих слуг, располагало телеграфом, железной дорогой, дальнобойными пушками. На практике бунтари либо превращались в обыкновенных пропагандистов, либо должны были отсиживаться и изнывать от безделья.

"В интересах конспирации, — пишет Дебагорий-Мокриевич, — бунтарь при встречах с крестьянами отделялся общими фразами так как смотрел на всякую пропаганду как на совершенно бесполезную трату времени и потому не желал попусту чесать язык.

Большинству ничего не оставалось делать; поэтому оно просто избегало крестьян и занималось, так сказать, самоподготовлением к восстанию...

Мы закупили подробные карты, изданные генеральным штабом, Киевской, Подольской и Херсонской губерний и нередко, разложив их на столе, изучали обозначенные на них проселочные дороги, леса, реченки.

Но ни стрелять в цель, ни изучать карт нельзя было на виду у всех. Револютеры, которые мы чистили, кинжалы, которые острили, вороха патронов, карты генерального штаба, паспорта, которые приходилось самим тебе делать — все эти бунтарские принадлежности заставляли нас держаться подальше от окружающей среды...

Наши наружные двери были всегда заперты, чтобы при стуке мы имели время спрятать ту или иную подозрительную вещь. Наши окна по вечерам всегда были завешаны. Получилось странное, нелепое явление: народник-бунтарь стал бояться посещений крестьянина. Мужик входил в избу, чтобы поболтать о чем-нибудь... бунтарь ежился, хмурился и думал лишь о том, как бы поскорее избавиться от непрошенного гостя..."

Иногда молодым бунтарям удавалось убедить кое-кого на селе в необходимости восстания. Не зная, что делать с собой, не умея вести пропаганду и не обладая для этого необходимыми знаниями, распропагандированные начинали действовать на свой лад и образец. Иванчин-Писарев рассказывает:

— К числу таких взвинченных и недовольных собой людей принадлежали, между прочим, двое столяров потаповской артели. Однажды, возвращаясь с непроданным товаром, они остановились на дороге у деревенского кабака, выпили и хотели было продолжать путь, как увидели: едет становой пристав...

— Давай, Николай, ссадим его! — предложил А. С. Николай согласился; оба вышли на дорогу и растопырили руки.

— Стой! — крикнули они, когда тройка поравнялась с ними.

— Ванюха! Слезай с козел, идем в кабак!.. Будет тебе возить живоглота!

Становой прикрикнул было на них:

— Что вы? Ошалели, что ли?

— Не ошалели, а прозрели... Будет вам кровь нашу пить... крючки полицейские!..

По деревне понеслась непечатная брань...

К счастью, становой пристав был добродушный человек, к тому же несколько, обязанный мне... [\[24\]](#)

Сначала верилось, будто крестьянство почти поголовно готово ж восстанию. Скоро убедились в наивности такой веры. Бунтари превращались в пропагандистов; но для успешной пропаганды надо было терпение, понимание, как сочетать социализм с политической борьбой. Их не было. Наоборот, предполагалось, что буржуазные свободы только вредны. Эти и подобные предрассудки мешали пропаганде.

Революционная деятельность среди рабочих уже тогда давала более ощутительные результаты, чем хождение по деревням и селам. Но и она тормозилась, помимо внешних причин, тем же утопизмом народников. Да и не тянуло бунтарей к рабочим. Основой свободной общины должен был стать крестьянин. Рабочий, а тем более индустриальный, в своих потенциях стремился к социализму совсем иного порядка.

Однако иллюзии еще были сильны. Была подкошена вера в немедленный бунт, но продолжали верить в мужика, общинника-социалиста. В конце концов приходили к заключению, что вместо странствий по градам и весям надо крепче оседать в селах. Сперва бунтари пренебрегали волостными, земскими организациями и другими сельскими учреждениями; теперь, наоборот, стали занимать места учителей, писарей, фельдшеров и фельдшериц, открывали также кузницы, принимались обрабатывать землю.

О том, как Андрей Иванович, выпущенный на по руки из тюрьмы, жил в эти годы, известно немного. Часть времени он проводил в Одессе, иногда выезжал на родину под Керчь; жилал и на сахарном заводе в Городищах. Бесспорно, Желябов испытал увлечения и разочарования, обычные для тогдашних народников. Он горячо верит в народ, в крестьянство, в то, что оно есть высший критерий при оценке сущего; обязанность интеллигенции — помочь народу свергнуть ярмо помещиков и государевых слуг. Андрей Иванович живет в сырых и грязных квартирах, проходит подвижнический искуc, закаляет себя, ограничивается самим

необходимым.

— Филистерская или буржуазная обстановка, — вспоминает его товарищ Семенюта, — погоня за мещанским счастьем были для него нестерпимы. В этот период он избегал общества, предпочитая проводить время среди своей компании близких людей. Жена его, Ольга Семеновна, недурно играла на фортепиано и пела; еще лучше голос был у ее сестры Таси. Обе они иногда выступали в концертах, что выводило Желябова из себя. Он не мог допустить, чтобы его жена "услаждала", как он говорил, слух аристократов и плутократов...

— Он изредка бывал у нас; я раза два был у него и всегда заставлял за книгами, которыми обильно снабжал его. Он жил на краю города, на углу Гуленой и Дегтярной улиц, в обстановке бедной и чрезвычайно скромной. Два-три стула, расшатанный стол, еле-еле державшаяся, расхлябанная кровать с тюфяком, как блин.

— В денежных делах он поражал своею щепетильностью, доходившей до ригоризма.

Желябов продолжает ходить к рабочим, вести революционные беседы, читать им книги, занимается организацией артелей. В деревне он истощал себя полевыми работами. Не в пример многим своим товарищам-народникам Желябов умел и любил хозяйничать в деревне. Тихомиров сообщает:

— Ему часто и подолгу приходилось жить у себя дома и заниматься хозяйством. Особенно долго прожил он около 1876 г. (года два подряд). Здесь он находился, разумеется, совершенно в своей среде, между родных, знакомых, как свой человек. Хозяйство он любил чрезвычайно и был способен погрузиться в него до макушки. Он и впоследствии не мог равнодушно говорить о своих конях, которых сам выхаживал, о своих полях, о том, как шло его хозяйство. В это время Желябов сложился в здорового и крепкого мужика, с которым очень немногие могли померяться силами. Работник он был отличный, хозяин, говорят, очень хороший. Жена с ребенком жила три нем же, отчасти помогая мужу своими заработками как акушерка.

— Семейные отношения, судя по рассказам Желябова, были у него хороши. Он вообще не считал себя способным привязаться к женщине всей душой. Но жену свою он все-таки любил и очень гордился ее привязанностью. В этом отношении у него, впрочем, совершенно сохранились воззрения среды, из которой он вышел. В жене он видел не поэтическую любовницу, а мать семейства и товарища по хозяйству; а браке у него на первом плане рисовалась опять не любовь, к которой он

относился довольно насмешливо, а семейные обязанности, и к этим обязанностям Желябов относился с истощающе мужицким уважением... Все это время Желябов, во всяком случае, посвящал общественной деятельности лишь часть своих сил и времени. Он действовал в обществе, в студенчества, в народе, но оставался еще хозяином и отцом семейства, и сыном. По всей вероятности, это происходило оттого, что еще не совсем выработался его характер, отчасти же, может быть, у него не накопилось на душе настолько, чтобы кинуться в политику всецело, махнув рукой на все остальное на всю личную жизнь.

Этот образ, видимо, ретуширован согласно народофильским воззрениям. Желябов любил хозяйство, но едва ли он был хозяином, ушедшим в деревенские дела "до макушки". Помыслы его были сосредоточены вокруг революционного движения. В письме Драгоманову он писал:

— Наступила зима 1875—76 гг. Тюремные переполнены народом; сотни жизней перебиты; но движение не унялось; только прием борьбы переменился и на смену пропаганды научного социализма умудренные опытом выдвинули бойцы на первый план агитацию словом и делом на почве народных требований. В то же время всколыхнулась украинская "Громада" и, верный своему основному принципу народничества, замыслили целый ряд предприятий на пользу родной Украины. В эту зиму вы приехали в Одессу для сборов на "Громаду" и мы повидались с вами вторично... много ли времени ушло, подумаешь, а сколько перемен. Взять хотя бы этот уголок — Одессу. Я видел расцвет тамошней "Громады", ее живые начинания. Медленно, но непрерывно сливались там в одно два революционных потока, общерусский и украинский; не федерация, а единство было недалеко, и вдруг все пошло прахом. Соблазнились старики выгодой легального положения; медлили покинуть насиженные гнезда, и погибли для борьбы славные люди; погибли начинания...

Эти воспоминания совсем не подтверждают, что Андрей Иванович погружался "до макушки" в хозяйство. Занимался он им, разделяя общее настроение революционеров-разночинцев. Кроме того, к поездкам в деревню и пребыванию там его понуждали аресты в городах, шпионаж, жандармский и полицейский надзор. Не надо забывать, что выпущенный из тюрьмы на поруки Желябов находился под усиленным наблюдением.

Не так идилична была и семейная жизнь Желябова. Тестя его Яхненко отличался характером крутым и несговорчивым и, само собой понятно, несколько не сочувствовал революционным настроениям зятя. "Жена, Ольга Семеновна, любила "общество", искала "хороших связей", т.

е. то, что Желябов от души и от сердца ненавидел. Едва ли Ольга Семеновна являлась и усердной помощницей мужу в его деревенских делах. Белоконский отмечает, что, подчиняясь Андрею Ивановичу и работая с ним на огороде, она иногда ложилась на межу и плакала, вспоминая о рояли. Это сообщение ближе к истине. Не следует также соглашаться легко и с утверждением, что Желябов по-деревенски относился к женщине, ценя в ней прежде всего мать семейства. На женщину люди желябовской среды смотрели обычно глазами автора романа "Что делать", как на свободную помощницу в "общем деле".

Следует немного подробнее сказать об украинской "Громаде". Царское правительство, наряду с массовыми общерусским и арестами, стало беспощадно расправляться и с национальным! украинским движением. Украинский язык находился под запретом, главные очаги движения были разгромлены; украинофилы-федералисты подвергались преследованиям. Драгоманова лишили профессорской кафедры и выслали. Украинская интеллигенция в связи со всеми этими гонениями была настроена оппозиционно, во многом опережая русские либеральные и радикальные круги. Примыкавшие к "Громаде" высказывались за революцию. Андрей Иванович не только продолжал поддерживать в Одессе знакомство с украинскими автономистами, но и входил в "Громаду".

Общение Желябова с интеллигенцией не ограничивалось "Громадой". В ту пору в Герцеговине вспыхнуло восстание против турок. Движение было националистическое. Среди русской, революционной молодежи оно, особенно на первых порах, встретило дружный отклик. Возникли нелегальные комитеты. В одесский комитет, между прочим, вошел и Желябов. На поддержку повстанцам отправляли волонтеров, собирали денежную помощь. На Балканы из революционеров пробрались Степняк-Кравчинский, Дебагорий-Мокриевич, Клеменц и другие. Предполагал отправиться и Желябов. Волонтерское движение, однако, быстро пошло на убыль, едва царское правительство вмешалось в балканские дела. Казенный патриотизм загасил искреннее сочувствие балканскому национальному движению. Среди революционеров стали говорить: зачем ехать на Балканы и сражаться там за свободу, когда десятки миллионов русских крестьян продолжают находиться в самом рабском угнетении.

Поездка Желябова на Балканы не состоялась.

Встречи с Драгомановым и с другими представителями украинской и общерусской интеллигенции, бесспорно, заметно отразились на взглядах и на настроениях Желябова. Об этих взглядах и настроениях в биографии Тихомирова, одобренной Исполнительным комитетом, сообщается:

— Желябов, разделяя общее увлечение, да и всегда по принципу признававший огромную важность деятельности в массах, тем не менее во многом обнаружил далеко не заурядную систему действий. Политический агитатор рано сказался в нем. Так, например, он принимал деятельное участие в организации помощи славянам, рассчитывая, как рассказывал впоследствии, на деле возрождения славян помочь политическому воспитанию самого русского общества. Вообще, надо сказать, что этот мужик по своему происхождению никогда не отвертывался от "общества", как делало большинство отправляющихся в народ. Русская революция представлялась ему не исключительно в виде освобождения крестьянского или даже рабочего сословия, а в виде политического возрождения всего русского народа вообще. Его взгляды в этом случае значительно расходились со взглядами большинства современной ему революционной среды. — Он признавал, что крестьянская реформа была великим благом для народа. Правда, она ничего не дала и даже много отняла у крестьян в экономическом отношении, экономически она не освободила их, но нравственно несомненно возвысила, гражданский уровень подняла, а это очень важно. Тем не менее, Желябов страшно ненавидел принципы царизма. Власть неограниченная, бесконтрольная была ему противна. Царя-патриарха, отца мужиков, он не понимал и не верил в возможность существования такого. Он глубоко убежден был, что такой царь непременно будет деспотом, вроде помещика. Добрых намерений за правительством, освободившим крестьян, он никогда не признавал: "Им нужно было увеличить свои доходы, им было выгодно эксплуатировать крестьян самим и подорвать сравнительно сильный класс дворян", — вот в его глазах мотивы освобождения и никакой тени благодарности правительству...

Эти сообщения чрезвычайно любопытны: хотя Желябов и был горячим народником, но так прямолинейно, как большинство тогдашних его товарищей, он уже не отрицал политической борьбы. Он, видимо, полагал что, не дело социалистов ее самим вести, но вместе с тем он находил отнюдь не бесполезным, если "политикой" занимается "общество".

Известно также, он осуждал южных бунтарей — "вспышкопускателей". Словом, уже тогда Андрей Иванович не удовлетворялся примитивным народничеством. Опыт хождения в народ заставил его ко многому отнестись критически. Желябов вообще никогда не был догматиком. На первомайском суде он говорил:

— Непродолжительный период нахождения нашего в народе показал всю книжность, все доктринерство наших стремлений, а с другой стороны

— убедил, что в и народном сознании есть много такого, за что следует держаться, на чем до поры до времени следует остановиться...

Желябов ошибался: всю книжность и все доктринерство общепринятых тогда в среде молодых народников взглядов ни он, ни его друзья не признавали. Осталась вера в общину, в то, что вместе с полицейским государством можно свалить также буржуазию и учредить вольные общины; но были разбиты надежды, будто народ чуть ли не поголовно по первому призыву отважных людей готов к восстанию, что правительство можно свергнуть без строгой централистической подпольной организации, опираясь на одну народную стихию. Переживая все эти разочарования и крушения "розовой, мечтательной юности", Желябов в то же время видел, что все — лучшее, смелое и решительное — в народническом движении, что настоящему бойцу идти больше некуда, как рука об руку с революционным народничеством.

СУД. ТЕРРОРИЗМ

Летом 1877 г. Желябова подвергают в Крыму новому аресту. Его привлекают по делу 193-х, привозят в Петербург и помещают в Доме предварительного заключения.

Судебный процесс 193-х, как и процесс 50, получился после массовых жандармских и полицейских погромов, которые шли, начиная с 1873 г. Арестам подвергли несколько тысяч человек. Неопытность молодых революционеров, откровенные показания, оговоры, запугивания и застрашивания были широко использованы правительством. Власти не гнушались собиранием сплетен, выдумок, чтобы опорочить молодое движение... Для многих привлеченных следствие тянулось по несколько лет; людей держали в тюрьмах, морили голодом, надевали наручники и кандалы, подсаживали предателей. Из массы арестованных правительство предало суду 193 человека. Они обвинялись в том, что принимали участие в тайном сообществе, посягнувшем на ниспровержение существующего строя. Из них двенадцать человек добавочно обвинялись в распространении сочинений с целью произвести бунты; были и другие обвинения. Незадолго до суда, в Доме предварительного заключения Трепов, петербургский градоначальник, встретил на прогулке студента Боголюбова, который ему не поклонился. Взбешенный помпадур распорядился высечь его розгами, что и было выполнено с усердием. Заключение ответили на порку разными формами протеста, между прочим, отказались и от прогулок. Гуляли обычно во внутреннем дворе, похожем на колодезь. Посередине его находилось особое круглое деревянное сооружение. С башней посередине и с досчатыми переборками. В эти клетки заключенных выводили гулять. Во время боголюбовской истории Желябов и был доставлен в тюрьму.

— На другой день по прибытии Желябова надзиратель пришел узнать, пойдет ли он гулять. Ничего не зная, Желябов заметил: "Странный вопрос!" "отправился в загон. Увидевши гуляющего, его спрашивают из окна: "Вы кто?" "Желябов". "Политический?" "Да, по процессу". "Зачем же вы гуляете? Мы не ходим гулять"... Удивленный Желябов тем не менее приказал отвести себя обратно в камеру и тут только, вышедши к окну, узнал все наши истории... В среде тюремной Желябов сразу стал товарищем, вошел во все интересы тюрьмы... [\[25\]](#)

На протесты тюремное начальство ответило расправами. Политических сажали в карцеры. Многих подвергали избиениям с увечьями и членовредительством. Чтобы неслышно было окриков, надевали мешки. Из карцерных камер не убирались нечистоты. Для наиболее строптивых имелся особо тесный и темный карцер около паровой топки; температура в карцере была очень высокая, вентиляция отсутствовала; заключенным не давали воды, они падали в обмороки, их приводили в чувство и опять помещали в тот же карцер. Товарищ прокурора, посетивший эти карцеры, дважды испытал дурноту от удушающего воздуха и смрада, исходящего от параши. Каким образом все это отражалось на боевой и впечатлительной натуре Желябова, представить совсем нетрудно.

Накануне процесса среди заключенных усиленно обсуждался вопрос, признавать или не признавать суд. Одни полагали, что надо не признавать и отказаться от всяких выступлений. Другие находили, что следует использовать суд для изложения революционных убеждений. Желябов стоял за протест и отказ.

В недавно опубликованных воспоминаниях сенатор Кони рассказывает:

— О том, что происходило в суде, распространились по городу самые неправдоподобные, но тем не менее возбуждающего характера слухи с партийной окраской. Некоторые сановные негодяи распространяли, например, слухи, будто бы исходившие от очевидцев, что подсудимые, стесненные на своих скамьях и пользуясь полумраком судебной залы, совершают во время следствия половые соития; с другой стороны, рассказывали, что подсудимые будто бы заявляют об истязаниях и пытках, которым их подвергают в тюрьме, но что жалобы их остаются "гласом вопиющего в пустыне" и т. п. Молчание газет и лаконизм "Правительственного Вестника" давали простор подобным слухам, которые в болезненно возбужденном обществе расходились с необычайной быстротой и всевозможными вариантами. Во всем чувствовалось, что потеряно равновесие, что болезненное озлобление подсудимых и известной части общества, близкой им, дошло до крайности. Искусственно собранные воедино, подсудимые, истощенные физически и распаленные нравственно, устроили уже на суде между собой нечто вроде круговой поруки и с увлечением выражали свое сочувствие тем из своей среды, кто высказывался наиболее круто и радикально...

— ... Обвинительная речь Желеховского, длинная и бесцветная, поразила всех совершенно бестактной неожиданностью. Так как почти

против ста подсудимых не оказывалось никаких прочных улик, то этот *судебный* наездник вдруг в своей речи объявил, что отказывается от их обвинения, т. к. они были-де привлечены лишь для составления фона в картине обвинения для остальных. За право быть этим "фоном", они, однако, заплатили годами заключения и разбитой житейской дорогой! Такая беззастенчивость обвинения вызвала своеобразный отпор со стороны защиты и подсудимых и подлила лишь масла в огонь. Защитительные речи обратились в большинстве в обвинительные против действия Жихарева и аггелов его, а последние слова подсудимых оказывались проникнутыми или презрительной иронией по отношению к суду или пламенным изложением не защиты, а излюбленных теорий^[26].

Судебные отчеты искажались, слушатели допускались только из высшего бюрократического и сановного света; подсудимых разделили на группы. Газета "Таймс" отправила на процесс специального корреспондента. После первых же заседаний он уехал обратно в Лондон, заявив защитникам о своих недоумениях. — Я присутствую здесь вот уж два дня и слышу пока только, что один прочитал Лассаля, другой вез с собой в вагоне "Капитал" Маркса, третий просто передал какую-то книгу своему товарищу.

Неудивительно, что на процессе разыгрался небывалый скандал. Среди подсудимых находился Ипполит Никитич Мышкин. Он пытался освободить Чернышевского из Вилуйска. Переодевшись жандармом и подделав документы, Мышкин прибыл в Вилуйск и обратился к исправнику с требованием выдать ему знаменитого узника. Мышкин не знал, что имеется распоряжение якутского губернатора, по которому изменять положение Чернышевского разрешалось только с особого его, губернатора, распоряжения. Исправник потребовал у Мышкина это распоряжение; когда Мышкин не представил его, исправник заподозрил неладное. Ходили тогда слухи, будто Мышкин надел не на то плечо жандармский аксельбант. Мышкин пытался скрыться, но исправник дал ему, якобы для проводов, двух казаков. Дорогой Мышкин стрелял в провожатых, бежал в тайгу, но был пойман, просидел около двух лет в Петропавловской крепости и на процессе 193-х предстал одним из главных обвиняемых. Он заявил, что его истязали, заковывали в кандалы, не позволяли носить чулок, отчего ноги покрылись язвами и ранами. Первоприсутствующий на это ответил, что суду не подлежит рассмотрение действий лиц, принимавших эти меры. Мышкин вступил в препирательства.

— Теперь для всех очевидно, — заявил он, — что здесь не может

раздаваться правдивая речь, что здесь на каждом откровенном слове зажимают рот подсудимому. Теперь я могу, я имею полное право сказать, что это не суд, а пустая, комедия... или нечто худшее, более отвратительное, позорное... более позорное...

Первоприсутствующий:

— Уведите его!..

Жандармы набросились на Мышкина. Подсудимые кинулись защищать товарища. Жандармский офицер, схватив Мышкина, попытался зажать ему рот, но Мышкин успел крикнуть:

...— более позорное, чем дом терпимости; там женщины из-за нужды торгуют своим телом, а здесь донаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и крупных окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью, торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества...

Мышкина, Ковалика, Войнаральского, Рогачева приговорили к десятилетней каторге, причем по личному распоряжению царя они должны были отбывать наказание в оковах в центральной тюрьме.

Процесс не удался. Общественное мнение, учащаяся молодежь, многие рабочие сочувствовали смелым выступлениям подсудимых. Для них же суд явился своеобразным общерусским съездом. Подводились итоги работе, обменивались взглядами, спорили, обсуждали, что делать дальше. На Желябова процесс про извел огромное впечатление. Он обзавелся новыми знакомствами, революционно возмужал; он видел воочию и доблестное поведение народников и постыдную комедию суда. Улики против Желябова были ничтожны, Суд оправдал его.

После суда Желябов поселился в Крыму, потом в Подольской губернии. Фроленко упоминает, что в деревне Желябов жил по уговору с товарищами. Сведения, как проводил он это время и здесь очень скудны. Приходилось многое подвергать сокрушительному сомнению: Семенюта пишет:

— Желябов рассказал трагикомическую историю своего народничества. Он пошел в деревню, хотел просвещать ее, бросить лучшие семена в крестьянскую душу; а чтобы сблизиться с нею, принялся за тяжелый крестьянский труд. Он работал по 16 часов в поле, а возвращаясь чувствовал одну потребность растянуться, расправить уставшие ноги, спину и больше ничего; ни одна мысль не шла в его голову. Он чувствовал, что обращается в животное, в автомат. И понял, наконец, так называемый консерватизм деревни: что пока приходится крестьянину так истощаться, переутомляться ради приобретения куска хлеба и средств, необходимых

для скромного удовлетворения первейших нужд, — до тех пор нечего ждать от него чего-либо другого, кроме зоологических инстинктов и погони за их насыщением. Подозрительный, недоверчивый крестьянин смотрит искоса на каждого являющегося в деревню со стороны, видя в нем либо конкурента, либо нового соглядатая со стороны начальства для более тяжелого обложения этой самой деревни. Об искренности и доверии нечего и думать. Насильно милым не будешь.

Почти в таком же положении и фабрика. Здесь тоже непомерный труд и железный закон вознаграждения держат рабочих в положении полуголодного волка. Союз, артель могли придать рабочим больше силы. Но тут и там натыкаешься на полицию: ей невыгодно такое положение: легче и удобнее давить в розницу. — Ты был прав, — окончил он смеясь, — история движется ужасно тихо, надо ее подталкивать. Иначе вырождение нации наступит раньше, чем опомнятся либералы и возьмутся за дело. — А конституция? улыбнулся я. — И конституция пригодится. — Что же ты предпочитаешь — веровать в конституцию или подталкивать историю? — Не язви. Теперь больше возлагается надежд на "подталкивание"...

— История движется ужасно тихо, надо ее подталкивать... К такому выводу все чаще приходили народники. Оснований для нетерпения представлялось сколько угодно. В 1877—78 гг. Россия воевала с Турцией. Ходили рассказы о казнокрадствах и хищениях в армии, о глупости и полной неподготовленности командного состава, об авантюристах и авантюристках в тылу и на фронтах. Проходили поезда, набитые изможденными, искалеченными солдатами, а рядом, в особых составах, бездельничали и пьянствовали штабные офицеры, интенданты, поставщики. Повсюду в глаза бросались неурядица, неразбериха, бестолочь, беспокойная суматоха. В "обществе" господствовало недовольство. В земствах рос оппозиционный дух, готовились адреса с указанием на необходимость конституции. В Киеве сплотился "конституционный кружок". Собирался даже съезд либералов-земцев, которые вели переговоры с революционерами. Происходили студенческие волнения. Речи о том, что пора перейти к политической борьбе, раздавались все сильней и сильней, в том числе и среди революционной молодежи.

Кружки бунтарей-народников вступали на путь непосредственной политической борьбы. Аресты, погромы, расправы со стороны правительства усиливались. По московскому процессу 50-ти многих приговорили к каторжным работам. Отдельные приговоры поражали своей жестокостью. Бутовскую за пропаганду приговорили к шести годам каторги, Семеновского — к одиннадцати годам. У Донецкого нашли

единственную прокламацию, приговорили к пяти годам. В тюрьмах гноили за обнаруженную при обыске нелегальную книгу, за случайное знакомство с "преступником", за денежную помощь заключенным. Становые, урядники, земские начальники, волостные писаря, кому не лень, хватали по деревням "социалистов", следили за сельской интеллигенцией. Зловещая морoka висела над страной. Люди гибли, не успев ничего сделать, в расцвете молодых сил... Не лучше ли собрать воедино разрозненные кружки, сплотиться в крепкую, тщательно подобранную организацию? Не лучше ли дать грозный и боевой отпор?

— История движется ужасно тихо, надо ее подталкивать... Сколько отдано жизней, сколько изведено мук, а по-прежнему "с человеком тихо", по-прежнему "сплошной", застойный быт твердит тупо: — не суйся! Мечтания мечтаниями, а в жизни — замок, подвал, решетка, замогильная тишина казематов.

Недостатка в поучительных уроках нет. Не только крестьяне, но часто и рабочие не оправдывают надежд. Тихомиров сообщает о деятельности Желябова среди рабочих:

--После продолжительных занятий в одной рабочей артели., когда он уже мог надеяться, что воспитал несколько социалистов, пришлось ему расспросить одного из них, лучшего: "Ну что, брат, если бы тебе кто-нибудь дал 500 рублей, что бы ты сделал?" — "Я? Я бы пошел в свою деревню и снял бы лавочку". — Тихомиров делает из этого вывод, что организация рабочих артелей не являлась делом Желябова. Объяснение никуда не годится. Все дело было в том, что в условиях капиталистической конкуренции артели неминуемо либо хиреют, либо превращаются в обычные торгашеские предприятия. Соответствующую эволюцию переживают и сами производители, участники артели. Однако, неразвитость наших экономических отношений, патриархальные пережитки мешали революционным народникам увидеть то, что впоследствии разглядели ученики Маркса.

Выходы все же усиленно искали. В Одессу и в Киев со всех углов собирались революционеры, обменивались опытом, мнениями. На Юге было легче отказаться от многих предрассудков. На Юге отсутствовала община, капитализм делал очевидные успехи, "конституционная атмосфера" в "обществе" была гуще. Переход от бакунизма к политической борьбе напрашивался сам собой.

Появляется блестящий Валерьян Осинский; он делается горячим приверженцем политической борьбы, приобретая, несмотря на сопротивление северян, все больше и больше сторонников. Происходят

первые террористические выступления. В Петербурге Вера Засулич за Богомолова стреляет в Трепова. Суд присяжных ее оправдывает. В Одессе Ковальский при аресте отказывается вооруженное сопротивление. В Киеве Осинский с товарищами организует неудачное покушение на прокурора Котляревского.

У первых террористов между прочим возникает мысль выпустить прокламацию с объяснением, почему они стреляли в Котляревского; воззвание решили подписать от имени группы "Исполнительный комитет". Предполагалось: группа исполняет решения "социально-революционной партии", хотя партии такой тогда не существовало, и комитет никем не выбирался и не уполномочивался. Была сделана печать овальной формы, наверху ее — надпись: "Исполнительный комитет", внизу — "Русская социально-революционная партия", в середине — револьвер и кинжал крест-накрест. С этой печатью и была выпущена прокламация. С точностью нельзя было даже сказать, из кого именно состоял этот комитет...

...Желябов продолжал оставаться в деревне. Мнение, что в это время он просто там отсиживался, неверно. Желябов не примкнул к первым террористам, оставаясь горячим народником-пропагандистом; он еще далеко не был убежден в необходимости террора. Но в деревне он не ограничивался полевыми работами. Об этом теперь имеется свидетельство П. С. Ивановской. Она сообщила:

— Записано мною со слов рассказа Людмилы Самарской, двоюродной сестры Дмитрия Желтоновского. Знакомство Андрея Ивановича Желябова с Дмитрием Желтоновским было твердо закреплено ещё во время пребывания обоих в Одесском университете. За два-три года до Липецкого съезда Дмитрий Желтоновский приобрел хутор в Подольской губернии "Вовчек", в близком расстоянии от уездного города Брослава той же губернии. А недалеко от этого хутора снял для себя Андрей Иванович баштан, где жил, кажется, со своей женой, урожденной Яхненко. С баштана Андрей Иванович ходил или приезжал часто в город и там, укрываясь за своими прекрасными дынями, арбузами и огурцами, занимался неустанно пропагандой. Соседи общались с Андрей Ивановичем на баштане весьма охотно и жили в хорошей дружбе, прислушиваясь к твердым словам и советам деловитого хозяина баштана и умного человека.

В Одессе, в конце Гулевой улицы, у Андрея Ивановича была квартира, где часто собирались товарищи. На одном из собраний, незадолго до Липецкого съезда, к нему съехались Зунделевич, Фроленко, Малеванный, и Мавроган; другое собрание, более многочисленное, состоялось под

председательством Вал. Осинского в нынешней гостинице "Одесской" на Преображенской улице против собора; присутствовали на нем Вал. Осинский, А. Квятковский, Н. Волошенко, Желябов, А. Желтоновский, двоюродный брат Дмитрия, и Г. А. Попко. Из последующих заседаний до Липецкого съезда, с выявлением нового курса, который поддерживался и на Липецком съезде, выяснилось, что баштан для Желябова потерял уже тогда свой *raison d'être*, как и хутор "Вовчек", где хозяин его, Дмитрий Желтоновский, был уже тогда арестован. Зунделевич, возвращаясь из Одессы на Север, перед самым Липецким съездом, повстречал на пути ехавшего на Юг Алекс. Дмит. Михайлова, которому Зунделевич настойчиво рекомендовал пригласить в Исполнительный комитет Андрея Ивановича Желябова, с которым он недавно познакомился^[27].

Итак, Желябов неустанно занимался пропагандой в городе. Известно также, что зиму 1878 г. Андрей Иванович провел в Одессе, где обзавелся новыми революционными связями. Заседание под председательством Валерьяна Осинского происходило тоже в 1878 г.; в начале следующего года Осинский был уже арестован.

Расправы над революционерами продолжались. Учащались и террористические акты. В мае 1878 г. в Киеве происходит убийство жандармского полковника Гейкинга. С помощью Фроленко в том же Киеве устраивается необычайно дерзкий побег из тюрьмы Дейча, Стефановича и Бохановского. В июле под Харьковом пытаются вооруженным путем освободить Войнаральского во время перевода его в центральную каторжную тюрьму. В Одессе власти казнят Ковальского, а спустя два дня Степняк-Кравчинский в Петербурге поражает насмерть кинжалом шефа жандармов Мезенцева. Коленкина оказывает вооруженное сопротивление; член кружка Осинского Сентянин является в харьковскую тюрьму для освобождения Медведева. Это ему не удается. Убивают в Харькове генерал-губернатора Крапоткина; следует вооруженное сопротивление в Киеве со стороны Ивичевича, Брантнера. В ответ на убийство Мезенцева правительство публикует сообщение, которым революционеры в сущности объявляются вне закона.

— Ныне терпение правительства, — говорится в этом документе, — исчерпано до конца... Правительство не может и не должно относиться к людям, глумящимся над законом и попирающим все, что дорого и священо русскому народу, так как оно относится к остальным верноподданным русского государя... Правительство отныне с неуклонной твердостью и строгостью будет преследовать тех, которые окажутся виновными или прикосновенными к злоумышлению против

существующего государственного устройства, против основных начал общественного и семейного быта и против освященных законом прав собственности... Правительство... считает ныне необходимым призвать к себе на помощь силы всех сословий русского народа для единодушного содействия ему в усилиях вырвать с корнем зло, опирающееся на учение, навязываемое народу при помощи самых превратных понятий и самых ужасных преступлений... [28]

Из этого обращения видно, насколько царизм был ожесточен и напуган начавшимся террором.

В террор шли лучшие, наиболее самоотверженные революционеры. Путь Веры Засулич, Валерьяна Осинского, Степняка-Кравчинского казался все более неотвратимым. Деревенские революционные работники либо хватались правительственными чиновниками, не успевши ничего сделать, либо "оседали", приспосаблились к окружающей обстановке, превращаясь в обыкновенных культуртрегеров. В среде "чистых" народников царила растерянность. Видели, как нищак русский крестьянин, крепнул деревенский кулак, разрушалась община и развивалась русская буржуазия. Кто же поддерживал все это? Исключительно царское правительство, так думали народники, надо скорее покончить с ними, иначе буржуазия укрепитя надолго. Были сделаны попытки опереться на крестьянскую стихию, вызвать бунты. Не удалось. Но, может быть, удастся справиться с самовластием по-другому: путем заговора, устрашения, путем захвата власти. В прошлом, в недавнем, совсем не придавали никакого значения сплоченной политической партии. Особенно грешили таким пренебрежением южане. Ошибку следует исправить и как можно скорее. Сил немного, но ведь и правительство опирается только на штыки, оно властвует принуждением. Если соединиться в крепкую, заговорщицкую организацию, если ударить в самое сердце правительства, вызвать панику, поднять в народе дух, вселить смелость, тогда — возможно — правительство дрогнет, не устоит, народ возьмет в руки свою судьбу и, прогнав чиновников, помещиков, кулаков, купцов, предпринимателей, учредит артели и коммуны. Так от преклонения перед стихийностью на родники переходили к прямой противоположности, к преклонению перед заговором, перед узкой подпольной организацией отважных революционеров. Не случайно это движение в пользу заговора и террора началось именно на юге, где бунтарские опыты были проделаны наиболее решительно и смело и где они не менее решительно провалились. Что же такое был терроризм? Лев Тихомиров в своих "Воспоминаниях" пишет: — Терроризм был партизанской войной... это было массовое движение в

революционном слое интеллигенции... у нас в то время нельзя было более производительно (с боевой точки зрения) употребить имеющиеся ничтожные революционные силы. Впоследствии директор полиции Петр Николаевич Дурново говорил мне: "Вы доказываете, что терроризм нелепость. Однако нужно сказать, что это очень ядовитая идея, очень страшная, которая создала силу из бессилия". Это, конечно, верно. Только это была не мысль, не идея... Они (террористы. — А. В.) действовали не головой, не разумом, а чувствам. Они ни за что не хотели перестать быть революционерами. С этой точки зрения, инстинкт не мог им подсказать ничего более "ядовитого", ничего более "практичного", чем террор... Терроризм это был наиболее "практический" способ временно поддержать "фикцию"... терроризм был только крайним, высшим пунктом развития тех идей и суждений, которые по существу были нелепы.

Бесспорно, терроризм был массовым движением революционной интеллигенции, а не выдумкой группы или кружка лиц, не делам поляков или евреев, как тогда уверяли казенные публицисты. Верно и то, что это было "ядовитое" оружие для поддержания "фикции"; но в чем эта "фикция" заключалась? По Тихомирову она заключалась в идеях и суждениях, которых тогда придерживались народники^революционеры. Но многие из этих идей, из этих "фикций", необходимость революционным путем добиться свержения самодержавия, конфисковать в пользу крестьян помещичьи и казенные земли, — были неизмеримо выше и действительнее любых самых "трезвых" мнений и убеждений, каких придерживались представители "общества", профессора, адвокаты, врачи, инженеры. Беда революционных разночинцев, и не малая, заключалась в том, что они были метафизики. Они рассуждали: либо народная стихия — либо заговор, либо класс, либо — партия, либо социализм — либо политика, либо немедленная социальная революция — либо вырождение под знаком капитализма.

Убедившись в неправильности бунтарской тактики, революционные народники, продолжая мыслить по формуле: либо-либо, — стали говорить: стихийные бунты не удались, остается заговор; класс не поднялся, вместо него поднимается на борьбу партия, — социализм не утвердился без политики, надо выдвинуть политику, отодвинув назад, на время, социализм. Эти и подобные ответы и приводили к подлинным "фикциям"; фикции разрешались террористической борьбой, оторванной от массового движения, борьбой в высшей степени героической, но с неминуемым трагическим исходом. Вопрос о фикциях народников по-настоящему разрешается только с точки зрения революционной марксистской

диалектики.

Терроризм не был только мстью сатрапам; терроризм был политической попыткой идеологов мелкого производителя обойти историю, предупредить путем заговора капитализм в России в его крупнейших формах. Терроризм питался экономической и политической отсталостью России, обособленностью от трудовых масс разночинной интеллигенции, слабостью буржуазного радикализма и либерализма.

Ахиллесова пята тогдашнего терроризма заключалась в том, что он противопоставлялся борьбе масс. Заговор, устрашение, насилие только тогда приводят к положительным результатам, когда они сочетаются с массовым движением. На это без устали указывал Ленин.

Народники-террористы, противопоставляя заговор, террор стихии, массовой борьбе, не могли сочетать одно с другим. Отсюда — их "фикции".

Как бы то ни было, в русском революционном движении открылась новая страница и в ней запечатлел свое славное, прекрасное имя Андрей Иванович Желябов.

"ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ" ЛИПЕЦКИЙ И ВОРОНЕЖСКИЙ СЪЕЗДЫ

О 1878 г. в Петербурге составилась небольшой, но крепко сплоченный кружок молодых революционеров. В него вошли: Александр Михайлов, Николай Морозов, Лев Тихомиров, Степняк-Кравчинский, Плеханов, Клеменц, Попов и другие. Кружок в шутку назывался "троглодитами": он был тщательно законспирирован, как бы скрывался в пещере. Позже кружок превратился в общество "Земля и Воля", приступив к изданию своего журнала под редакцией Кравчинского и Клеменца. В первом номере "Земли и Воли" — он вышел в октябре — о терроре пишется еще в духе старого народничества:

— Мы должны помнить, что не этим путем добьемся освобождения рабочих масс. С борьбой против основ существующего порядка терроризация не имеет ничего общего. Против класса может восстать только класс. Поэтому главная масса наших сил должна работать в среде народа.

Однако террористы все же признаются в статье охранительным отрядом. Надо заметить, что в "Землю и Волю" уже входила особая террористическая группа.

Когда был убит Мезенцев, Степняк-Кравчинский выпустил брошюру "Смерть за смерть". В ней он, между прочим, писал по адресу правительства:

— Нас вы не запугаете... И знайте, что у нас есть средства еще более ужасные, чем те, которых силу вы уже испытали; но мы не употребляли их до сих пор, потому что они слишком ужасны. Берегитесь же доводить нас до крайности и помните, что мы никогда не грозим даром^[29].

Здесь уже содержится угроза не только пулей и кинжалом, но и динамитом.

Все же на первых порах в "Земле и Воле" преобладает бакунизм с его отрицанием политической борьбы. На этой позиции "Земля и Воля", однако, удержалась недолго. Выстрел Веры Засулич, террористические выступления южан и другие проявления политической борьбы, все больше, все сильнее и быстрее сдвигают землевольцев со старых народнических позиций.

После отъезда за границу Степняка-Кравчинского и ареста Клеменца редакцией "Земли и Воли" ведают Морозов, Плеханов и Тихомиров. Морозов все больше приближается по своим взглядам к Осинскому; Плеханов отстаивает пропаганду среди крестьян^[30], решительно высказываясь против политики и в особенности против террора, Тихомиров занимает промежуточную позицию. Разногласия достигли высших пределов, когда Соловьев появился в Петербурге и объявил землевольцам, что он намерен убить Александра II.

— Собрание было очень бурное, — сообщает Г. В. Плеханов. — Один из народников сказал, что к виду того вредного влияния, которое окажет на нашу деятельность новая попытка "дезорганизаторов", он предупредит ее, посоветовав письмом тому высокопоставленному лицу, на жизнь которого готовилось покушение, не выходить из дому. В ответ на это кто-то из "дезорганизаторов" — если память мне не изменяет — Квятковский, — воскликнул: — Это донос, мы с вами будем поступать, как с доносчиками! — То есть как, — спросил М. Попов, — не хотите ли вы нас убивать? Если так, то не забывайте, что мы стреляем не хуже вас. В этот момент наша внутренняя буря достигла своего апогея. Я пытался успокоить Попова; некоторые "дезорганизаторы" успокаивали Квятковского. Но я не знаю, скоро ли удалось бы нам это, если бы в это время не раздался сильный звонок. — Господа, полиция! — воскликнул Михайлов. — Мы, конечно, будем защищаться? Разумеется! — единодушно ответили ему как "дезорганизаторы", так и "народники". Каждый из присутствующих вынул из кармана револьвер и взвел курок, а Михайлов медленно и спокойно пошел в переднюю, чтобы отворить дверь... Тревога оказалась ложной... Звонил дворник. ("О былом и небылицах", т. 24-й).

Разрыв делался неизбежным. Решили Соловьеву, от имени общества не помогать; "частным же образом" ему помогали Михайлов, Квятковский Зунделевич.

2 апреля Соловьев неудачно стрелял в царя и был схвачен. В № 4 листка "Земли и Воли" революционеры напечатали объявление, в котором говорилось: если Соловьева, по примеру Каракозова, будут пытаться, то Исполнительный комитет не остановится перед казнью. Из кого состоял тогда Исполнительный комитет, неизвестно было и самим составителям объявления.

Общество "Земля и Воля" закладывает первые камни тайной, заговорщицкой организации, укрепляет и расширяет революционные связи, объединяет и направляет кружки, обучает подпольным навыкам и привычкам недавних бунтарей, вводит революционную дисциплину, ставит

подпольную печатню. Террористические настроения все сильнее подчиняют себе землевольцев. Морозов печатает статью; в ней он с горячностью отстаивает новое ведение борьбы "по способу Вильгельма Телля и Шарлотты Кордэ". Способ этот называется "одним из самых целесообразных средств борьбы с произволом в периоды политических гонений". Статья произвела на Г. В. Плеханова столь сильное впечатление, что он, будто бы, даже заявил — Этот листок "Земли и Воли" — подделка. Я, как один из редакторов "Земли и Воли", ничего не знаю о его выходе и никогда не допустил бы ничего подобного. Главная цель "Земли и Воли" есть не политическая борьба с правительством, а пропаганда социалистических идей и агитации среди крестьян и рабочих^[31].

Террористическое направление на первых порах встретило решительное сопротивление и со сторон Желябова. Попов рассказывает:

— Интересно отметить здесь различие во взглядах на деятельность вышедших на свободу по процессу 193-х и представителей организации "Земля и Воля". За время заключения привлекавшихся по этому процессу, жизнь ушла далеко вперед по революционному пути, и когда на собраниях заходила речь о практических программных вопросах, землевольцы и выпущенные на свободу революционеры первого призыва, если позволительно так сказать, говорили на разных языках. Например, Желябов и Тихомиров приходили в ужас от практической программы землевольцев. Последние представлялись им людьми насильственных мер, а не пропагандистами идей, не людьми, мирной проповедью зовущими народ к новой жизни на социалистических началах. С этого времени вошло в обиход называть землевольцев "троглодитами". — С такими деятелями, — говорили Желябов и Тихомиров — эти будущие яркие представители народовольческой программы, у них, адептов мирной пропаганды, не может быть ничего общего... Это было весной 1878 г., а в сентябре Тихомиров и Желябов явились из провинции в Петербург и оба пошли по одной дороге, оба стали представителями политического террора^[32].

Разногласия обострились до крайности; тогда решили созвать съезд. Речь шла о самых коренных — вопросах революции, о судьбах нового, политического направления, о перенесении работы из деревни в город, о новых методах борьбы с правительством. Местом съезда наметили сначала Тамбов. Некоторые уже успели туда съехаться, но в одну из прогулок на лодке, по реке Цне, вследствие неосторожного поведения, собиравшиеся были взяты под наблюдение охранниками. Тамбов пришлось оставить. Съезд перенесли в Воронеж. Митрофаньевский монастырь в Воронеже

посещало много богомольцев и приезд новых людей, предполагали, пройдет незамеченным. Помимо общего съезда сторонники нового направления решили собраться отдельно, скрывая это тщательно от своих друзей-противников. Местом сборища назначили Липецк. Липецк находился поблизости от Воронежа. Хотя это был небольшой захолустный город, но в нем издавна имелись железистые источники, грязевое лечение и летом на курорт съезжалось немало больных. Фроленко и Попову поручили объехать ряд мест для организации съезда. Фроленко отправился на юг. Любопытен его рассказ о привлечении к Липецкому съезду Желябова:

— Перебирая южан, — сообщает Фроленко, — я упомянул и про Желябова.

— Да ведь он же завзятый народник. — возразил кто-то, — их целая компания после "большого процесса" (процесс 193-х) решила поселиться в деревнях, и он первый отправился к себе на родину, в деревню.

— Все это так, Желябов, действительно, жил прошлое лето в деревне, но зиму он правил в Одессе, и сейчас не слышно, чтобы он собирался вновь в деревню, — ответил я и при этом рассказал, что заставляет меня предлагать Желябова и почему в нем и в его согласии нельзя сомневаться.

— Когда действовала группа киевских бунтарей, или вспышкопускателей, как их иронически называли на Юге, я принадлежал к ее членам. Желябов и его компания относились весьма отрицательно ко многим членам этой группы, переноса такое отношение и на ее программу. Однако это не мешало его личному знакомству с некоторыми членами нашего кружка. Мне с некоторыми бунтарями приходилось не раз бывать у него на квартире, когда он жил в Одессе, и вести с ним мирные беседы. Программных споров мы избегали и разговор велся на обычные темы. Желябов, как человек живой, разговорчивый, любил попеть, особенно в компании, любил и порассказать. Мне в особенности хорошо запомнились его рассказы про его студенческие похождения, где он вел постоянную войну, и вступал в схватки то с полицией, то с уличными забияками, то, наконец, в бытность уже в деревне, с быком, которого все боялись и который никому не давал спуска. Желябов с вилами в руках пошел один на этого быка и обратил его в бегство, к удивлению всей деревни.

— Да он больше бунтарь, чем мы, — сама собой напрашивалась мысль во время его повествования, и я не раз высказывал это вслух, когда мы уходили от него...

— Мне поручено было поговорить с ним, и если он изъявит согласие на принятие участия в покушениях против Александра II, то пригласить его в Липецк^[33].

В рассказ Фроленко о быке, между прочим, Прибылева-Корба вносит значительные поправки.

— Происшествие... было ему (Желябову. — А. В.) очень дорого, как одно из ярких воспоминаний его ранней молодости. Я передам его здесь в той безыскусственной форме, в какой слышала его от самого Желябова. Однажды его мать отправилась в поле, и случайно он пошел с нею. По дороге они расстались, и Желябов пошел домой, а мать продолжала идти по полю. Вдруг он услышал отчаянный вопль матери; он оглянулся и увидел быка, известного в окрестности своими бешеным нравом и страшной силой, мчащегося по полю с опущенными рогами по направлению к матери. Первая мысль Желябова была об орудии борьбы. Он увидел недалеко от себя плетень, подбежал, вырвал жердь, размахнулся ею и попал по коленам рассвирепевшего животного. Бык упал на передние ноги, и мать была спасена. Желябов говорил, что им овладела во время борьбы его с быком одна мысль, что от быстроты, ловкости и силы его движений зависит жизнь матери и эта мысль удесятирила его силы... Ничего торреадорского в событии нет...^[34]

Действительно, объяснения Фроленко представляются наивными. Свойства торреадора тут были совершенно не при чем.

О своих переговорах Фроленко далее повествует: — Из Киева я пригласил Колодкевича, из Одессы — Желябова. Колодкевич согласился без оговорок. Желябов же потребовал слова, что его приглашают только на один этот акт, а дальше он будет уже свободен. Чтобы понять такое требование, необходимо сказать, что Желябов дотоле был заклятым пропагандистом, народником-поселенцем. Только в таком виде признавал он деятельность революционера наиболее продуктивной, только в таком виде он действовал и самолично. Ни бунтарство, ни террор его не соблазняли...^[35]

Признав, что история движется ужасно тихо и что ее надо подталкивать, Желябов к моменту Липецкого съезда убедился в необходимости политической борьбы и согласился принять участие в совещаниях новаторов-террористов; но душа, но сердце старого пропагандиста-народника не лежат к террору. Он — прирожденный трибун, массовик-агитатор, "демагог". Он не хочет отдаться целиком террору. Отсюда — оговорки. На судебном процессе первомайцев обвинитель Муравьев старался изобразить Желябова атаманом разбойной шайки, преступником-убийцей. Понятно, образ Желябова ничего общего не имеет с этими глупыми измышлениями. Желябов уходит в террор крайне

неохотно, только под давлением чрезвычайных событий и обстоятельств, оставляя пока за собой право отказаться от террористической борьбы при известных условиях. В те дни случилось много такого, что толкало революционера взять в руки бомбу и револьвер.

Желябов знал о подвиге отважного юноши Сентянина. Сентянин, как уже было упомянуто, предпринял попытку освободить из харьковской тюрьмы политического заключенного Медведева-Фомина. Переодевшись жандармским офицером и подделав бумаги, Сентянин явился в тюрьму с требованием выдать ему арестованного, но тут обратили внимание на мелкую неправильность в бумагах Сентянина, запросили жандармское управление и, не получив подтверждения, арестовали молодого революционера. Он пытался отстреливаться. На допросе отважный юноша заявил:

— Сентянин, секретарь Исполнительного комитета социально-революционной партии.

Желябов знал о подвиге этого смелого человека.

Знал Андрей Иванович и о попытке Перовской, Александра Михайлова, Квятковского и Баранникова отбить у жандармов Войнаральского. Это поистине необычайное нападение было описано в № 4 "Земли и Воли".

... — Из города показалась тройка с жандармами... Мы начали осаживать лошадей и остановились, свернув немного с дороги.

Двое наших быстро выскочили из брички. Одетый офицером, выступив на дорогу, крикнул жандармам:

— Стой!

— Ямщик осадил лошадей, но они с разбега пробежали еще некоторое пространство.

— Куда едешь? — спросил наш офицер (Баранников), подходя к кибитке.

— В Новоборисоглебск, — отвечал сидевший против Вонаральского жандарм, делая под козырек.

— Наш второй товарищ выстрелил в него, но промахнулся...

— Что тут? Что это? — крикнул в испуге сидевший по другую сторону Войнаральского жандарм, но пуля нашего офицера свалила его на дно повозки...

— Испуганные лошади жандармов дернули и помчали. Произошло смятение...

Желябов, конечно, знал обо всем этом и жалел, что жандарму удалось скрыться и увезти Войнаральского.

Он знал, вероятно, и о побеге Перовской с дороги и как она скрывалась в кустарниках.

Знал о невинных людях, о юношах и девушках, которыми набивали тюрьмы и ссылки, — о казненных за отказ давать показания, об областях, отданных на произвол генерал-губернаторам, самодурам и сановным негодяям.

14 мая, незадолго до Липецкого съезда, были повешены Валерьян Осинский, Брантнер, Свириденко. В день своей казни Осинский долго сидел у окна. Против него в камере помещалась София Лешерн, она тоже ожидала казни.

— Соня! — окликал ее Осинский.

— Валерьян! — отвечала она. Больше они ничего не говорили друг другу. Спустя несколько часов Осинский мужественно принял смерть.

Знал Андрей Иванович и о жалкой трусости, о глупости либеральных карасей и премудрых пискарей. Профессор государственного права Градовский после взятия Плевны уговаривал в Петербурге студентов вести себя тихо и не устраивать беспорядков: государь возвращается с войны в благодушном настроении и, можно надеяться, даст конституцию.

Многое знал Андрей Иванович Желябов, что невольно заставляло браться за револьвер, кинжал и бомбу...

... В начале июня землевольцы-террористы собрались в Липецке. Вот имена собравшихся: Баранников, Желябов, Квятковский, Колодкевич, Михайлов, Морозов, Оловянникова-Ошанина, Тихомиров, Фроленко, Ширяев, Гольденберг. В обывательском тихом Окурове собрались одиннадцать заговорщиков. Они никого не представляли, никто их не выбирал на съезд, никто не давал полномочий им. Да, вот так случается в истории: события, о которых трубят во все трубы казенные трубачи, вдруг начинают мельчать, тускнеть, пока не остается от них одно глухое напоминание в каких-то словарях и справочниках. И бывает, что, в свое время незаметное совещание никому неизвестных, гонимых мечтателей начинает расти в своей значимости, поступок, предприятие в конце концов заслоняют собой когда-то прославленные дела, превращаясь в исторические события огромной важности.

В такое историческое событие превратился липецкий слет революционеров.

И здесь впервые во всю свою мощь развернулась богатейшая натура Желябова. Пробил час его. Он вышел из тени. Он заговорил, как человек, призванный решать и вязать, как вожак поколения. Желябов до Липецкого съезда как бы только накапливал нравственные и умственные силы для

трудового своего дела. Случается, в течение нескольких дней человек подводит окончательные итоги, отбрасывает последние сомнения и колебания, выносит решения на всю свою жизнь. Разрозненные мысли вдруг укладываются в систему, цель ясно сознается, воля приобретает упругость, чувства — полноту и гармонию, все как бы освещается новым светом. Фроленко рассказывает:

— Мне мало пришлось видаться с Желябовым после нашего с ним уговора и после того, как он познакомился с Михайловым. Встретился я с ним уже в Липецке и диву дался: Желябов, еще недавно оговаривавшийся и бравший слово, что его не станут удерживать и заставлять участвовать в новых делах, теперь уже сам развивал целую стройную программу боевой организации. Отдельный акт уходил на второй план, на первом — ставилась целая серия актов, которые, ширясь, могли бы закончиться или переворотом, или, по крайней мере, хоть принуждением правительства пойти на уступки и дать конституцию. Говоря о захвате власти, Желябов всегда оговаривался, что захватывать власть можно лишь с тем, чтобы передать ее в руки народа...

Все осветилось новым светом: прошлое, настоящее, будущее... С высокого берега верхнего парка, где высились старинные, корявые дубы и душистые, пышные липы, открывался вид на тихое озеро, вырытое Петром Первым и, по приданиям, выложенное чугунными плитами. За озером — река, за рекой — широкие поемные луга, бор древний, сосновый, прохладные леса. В этих лесах и собирались одиннадцать заговорщиков.

Что делать?

Речь шла о новой партии, с новой программой и тактикой. Надо было уточнить новые взгляды и прежде всего по вопросу о социализме и политической борьбе. — Роль Желябова была очень видная. Он неутомимо совещался и в частных разговорах, и в общих собраниях старался ознакомиться с людьми, сговориться, проводил собственные взгляды и т. д. Что касается этих взглядов, то их можно резюмировать следующим образом: социально-революционная партия не имеет своей задачей политических реформ. Это дело должно бы всецело лежать на тех людях, которые называют себя либералами. Но эти люди у нас совершенно бессильны и, по каким бы то ни было причинам, оказываются неспособными дать России свободные учреждения и гарантии личных прав. А между тем, эти учреждения настолько необходимы, что при их отсутствии никакая деятельность невозможна, Поэтому русская социально-революционная партия принуждена взять на себя обязанность сломить деспотизм и дать России те политические формы, при которых возможна

станет "идейная борьба". Ввиду этого, мы должны остановиться, как на ближайшей цели, на чем-нибудь таком, достижение чего давало бы прочное основание политической свободе и стремление к чему могло бы объединить все элементы, сколько-нибудь способные к политической активности... (Андрей Иванович Желябов. Л. Тихомиров).

Вместе со своими единомышленниками Желябов пришел к твердому выводу, что русским социалистам необходимо повести политическую борьбу. Это был огромный шаг вперед. Окончательно отбрасывался бакунистский анархизм. Еще недавно среди народников решительно преобладал предрассудок, что гражданские свободы, парламенты только содействуют дальнейшему закабалению рабочих и крестьян, ничего им не давая. Большое политическое чутье обнаружил Желябов и в своем утверждении, что русская либеральная буржуазия не способна к серьезной борьбе с самодержавием. Желябов искал для социалистов союза не с либералами, а с крестьянством. Знакомства с либералами не затемнили его революционного сознания. Однако, делая эти вполне правильные заключения, Желябов, по-прежнему продолжал противопоставлять социализму политическую борьбу. Только раньше он высказывался за социализм против политики. Теперь он стал высказываться за политику, отодвигая назад социализм. Морозов в своих воспоминаниях проводит приблизительную программу, принятую на Липецком съезде. В этой программе нет ни грана социализма нет даже о нем упоминания. Ее мог принять любой буржуазный радикал. В программе говорится: — никакая деятельность, направленная ко благу народа, невозможна вследствие царящего... правительственного произвола... — Поэтому мы будем вести борьбу по способу Вильгельма Телля... — И только... надо признать: далеко не все участники съезда были социалистами и Морозов недаром заявляет, что он не помнит ни одного разговора о социализме. Конечно, это заявление подлежит ограничениям. Желябов несомненно был не только революционным, крестьянским демократом, но и социалистом-утопистом, чего уже в то время нельзя было сказать ни о Морозове, ни о Тихомирове. На Липецком съезде, однако, вопрос о социализме, о том, как его понимать, поставлен не был; его заслонила "политика". Если бы участники съезда постарались выяснить этот вопрос, обнаружались бы значительные разногласия.

Надо, полагать, что "программа" далеко не удовлетворяла Желябова: по признанию Морозова, Андрей Иванович, правда, значительно позже, горячо спорил с ним по поводу этой программы и добился того, что была выработана новая, помещенная в № 3 "Народной Воли". По какой линии

велись споры, догадаться не трудно: в новой программе о социализме, в крестьянском его понимании, говорится в пространных выражениях. На съезде Желябов, очевидно, не желал обострять разногласий. Он добился единодушия, но дорогой ценой.

Необходимо повести политическую борьбу. Для этого в условиях самодержавного строя нужна подпольная, централизованная партия. В этом признании тоже делался шаг вперед. Но в каких отношениях партия должна находиться к классу, к народу, к крестьянству, к рабочим? Раньше полагали — вывезет бунтарская стихия. Теперь стали, наоборот, говорить: вывезет крепко спаянная организация заговорщиков. Но по прежнему продолжали рассуждать: либо стихия, либо сознательное руководство, либо класс, либо партия. либо народ, либо заговорщики. Желябов говорил (правда, на Воронежском съезде, но это все равно):

— Я знаю очень умных, энергичных общественных мужиков, которые теперь сторонятся от мирских дел, потому что крупного общественного дела они себе не выработали, не имеют, а делаться мучениками из-за мелочей не желают; они люди рабочие, здоровые, прелесть жизни понимают и вовсе не хотят из-за пустяков лишиться всего, что имеют. Конституция дала бы им возможность действовать по этим мелочам, не делаясь мучениками, и они энергично взялись бы за дело. А потом, выработавши в себе крупный общественный идеал, не туманный, как теперь, а ясный, осязательный, и создавши великое дело, — эти люди уже ни перед чем не остановятся, станут теми героями, каких нам иногда показывает сектантство. Народная партия образуется именно таким путем...

Желябов имеет в виду мелких товарных производителей, скорее всего "хозяйственных мужичков", но сейчас нам важнее отмстить другое; получается так: умные и энергичные мужики вмешиваться в борьбу пока не хотят, поэтому за революционное дело должны взяться, так сказать "официальные" социалисты. Они должны свалить самодержавие и тем расчистить дорогу означенным умным мужикам. Партия подставляется вместо класса, подменяет его. Естественно и неизбежно при этом, партия должна пониматься исключительно только как организация заговорщиков, обособленная от народа. Так оно и было. На съезде приняли устав Исполнительного комитета. Устав требует суровой самоотверженности, он превосходно передает суровый и героический дух той эпохи:

— В Исполнительный комитет может вступить только тот, кто согласится отдать в его распоряжение всю свою жизнь и все свое имущество безвозвратно, а потому и об условиях выхода из него не может

быть и речи.

— Каждому вступающему читается этот устав по параграфам. Если он не согласится на какой-нибудь параграф, дальнейшее чтение должно быть тотчас же прекращено...

— Комитет должен быть невидим и недостижим...

— Никто не имеет права называть себя членом Исполнительного комитета вне его самого. В присутствии посторонних он должен называть себя лишь его агентом...

Параграфы устава, повторяем, дышат горным воздухом, но они имеют в виду только Исполнительный комитет, а не партию, со всеми ее низовыми разветвлениями; партия как бы исчерпывается и покрывается Исполнительным комитетом. На деле этого не было и не могло быть: вокруг Исполнительного комитета группировались сотни и тысячи самых преданных сто ройников, нераздельно связавших свои судьбы с "Народной Волей", но при выработке устава участники совещания об этих людях как бы забыли. Произошло это оттого, что, неправильно решив вопрос об отношении класса к партии, они поняли последнюю исключительно только как организацию заговорщиков. Либо класс, либо партия.

Надо сказать, Желябов в то время не был убежденным централистом и влияние его при выработке устава, хотя и было значительным, но не являлось руководящим.

Съезд обсудил вопрос о терроре. Убийство царя было решено в сущности еще раньше. Нужно было только подтвердить это решение в связи с общим решением о терроре, как методе политической борьбы, что съезд и сделал. По словам Морозова Александр Михайлов произнес тогда одну из самых сильных своих речей. Это был страстный обвинительный акт против царя. Выступления Желябова тоже отличались сочностью и яркостью. — Он доказывал, что если партия хоть сколько-нибудь считает своей целью обеспечение прав личности, а деспотизм признает вредным, если она, наконец, верит, что только смелой борьбой народ может достигнуть своего освобождения, то тогда для партии просто немыслимо безучастно относиться к таким крайним проявлениям тирании, как тотлебенские и чертковские расправы, инициатива которых принадлежала царю. Партия должна сделать все, что может: если у нее есть силы низвергнуть деспота посредством восстания, она должна это сделать; если у нее хватает сил только наказать его лично, она должна это сделать; если бы у нее не хватило сил и на это, она обязана хоть громко протестовать... Но сил хватит без сомнения, и силы будут расти тем скорее, чем решительнее мы станем действовать... ("Андрей Иванович Желябов"),

Маркс называл социалистов-утопистов социалистами чувства. Доводы Желябова вполне подтверждают это положение: они носят характер нравственных постулатов. Обращает на себя внимание и другое: вопросы политической борьбы свелись на съезде к вопросу о терроре. У народовольцев тенденции демократическая и социалистическая слиты были воедино. На Липецком съезде, где впервые вопросы политической борьбы обсуждались в положительном смысле, надо было решать, как демократия относится к социализму, в каких формах надо вести политическую борьбу, как учесть опыт западно-европейского рабочего движения применительно к России, какое место в политической борьбе занимает террор. Тогда перед участниками съезда встали бы и другие вопросы, в том числе и вопрос о программе-максимум и о программе-минимум. Но приняв партию только за организацию заговора, липецкие подпольщики неминуемо должны были поставить знак равенства между политической борьбой и террором. Правда, единодушия и здесь не было: некоторые считали террор единственным средством борьбы с правительством; другие находили, что террор поможет добиться известных прав, третьи — основную задачу видели в народоправстве, четвертые, якобински настроенные, считали, что надо захватить власть. Все эти вопросы, однако, были сняты и не только в силу примирительных настроений собравшихся, но, главным образом, потому, что террор фактически покрыл всю политическую борьбу, а следовательно, и все, связанные с ней, вопросы. Дальнейшая практика Исполнительного комитета вполне подтвердила наличие этой подмены.

Желябов, судя по его дальнейшему поведению, по его позднейшим высказываниям считал необходимым захват власти, чтобы в последующий момент передать ее в руки народа; террор же находил хотя и могущественным средством борьбы, но далеко не единственным. Он всегда чувствовал в себе массовика и народного трибуна.

В решениях съезда была заложена одновременно и сила и слабость "Народной Воли". Решения эти помогли народовольцам вписать в историю революционной борьбы единственные страницы, но они же подготовили и гибель "Народной Воли"...

... Желябов на Липецкий съезд приехал видным провинциальным работником. Со съезда он уезжал всероссийским вожаком новой партии, правда, под старым все еще названием.

... Между тем в Воронеж уже съехалось много народников. 24 июня открылся, наконец, общий съезд. Среди "деревенщиков" преобладало отвращение к политике; они считали, что надо по-прежнему вести в народе

пропаганду.: Желябов уже настолько отошел от "чистых" народников, что не находил с ними общего языка, — Хороши ваши землевольцы! — говорил он, — и эти люди воображают себя революционерами. — Он нисколько не скрывал своих взглядов ни в частных собраниях, ни на самом съезде. — Да ведь он чистый конституционалист, — замечали "деревенщики".

Липецкие заговорщики в первую очередь без особых затруднений провели в члены "Земли и Воли?; Желябова, Колодкевича и Фроленко. Самым опасным противником заговорщиков-террористов являлся Георгий Валентинович Плеханов, завзятый деревенщик. Уже тогда он пользовался широкой известностью и авторитетом в революционных кругах, выделяясь знаниями, эрудицией, логичностью своих построений, блестящей манерой излагать мысли и остро полемизировать. К тому же он был подвижен, неутомим, считался превосходным товарищем и революционером. Теоретически он был, бесспорно, сильнее Желябова. Георгий Валентинович отлично видел слабые стороны новаторов. Он понимал, что увлечение террором грозит отрывом от масс, что заговор противопоставляет себя народной революции. Однако эта его позиция обессиливалась непониманием значения политической борьбы и политической организации. Плеханов и Желябов должны были резко столкнуться друг с другом на Воронежском съезде. Этого не случилось: Плеханов ушел со съезда в самом его начале. По словам Морозова Плеханов, стремясь к исключению террористов, предложил прочитать и обсудить статью Морозова о терроре. Когда ее прочитали, Плеханов будто бы спросил, неужели это — программа народников.

"Наступило тяжелое молчание, продолжавшееся с полминуты. Но вдруг оно было прервано одобрительным возгласом Фроленко, что именно так и нужно писать передовые статьи в революционных органах.

Плеханов побледнел, как полотно, и сказал взволнованным голосом:

— Неужели, господа, вы все так думаете? Не нашлось ни одного голоса, который осудил бы мою статью...

Плеханов некоторое время стоял молча...

— В таком случае, господа, — оказал он, наконец, глухим, печальным, не своим голосом, здесь мне больше нечего делать. Прощайте.

Он медленно повернулся и начал удаляться в глубину леса..."

В эти воспоминания Г. В. Плеханов внес очень существенные поправки. — В воспоминаниях Н. Морозова, — утверждал Г. В., — слишком сильно дает себя чувствовать та ошибка, которая лежит в основе всех его воспоминаний о том времени: он ошибочно считает себя

центральной фигурой в среде тогдашних "дезорганизаторов". Вот почему он думает, что если бы стали исключать из общества "Земля и Воля" "дезорганизаторов", то первой жертвой этой строгой меры сделался бы он, Морозов. На самом деле ни о каком исключении "дезорганизаторов" не было и речи, и тем менее могла быть речь об исключении Морозова, роль которого в наших глазах всегда была второстепенной, если не третьестепенной... Я возражал Морозову, что на кончике кинжала нельзя утверждать здания парламента. Я и некоторые мои единомышленники надеялись, что нам удастся привести из Воронежа резолюцию, осуждающую такое неслыханно узкое понимание революционного действия. Но никому из нас не приходило в голову, добиваться исключения Морозова за эту фразу. Оставляя в стороне драматизм той части морозовского повествования, в которой говорится обо мне, я замечу, однако, вот что: Морозов, как нельзя больше, ошибается, воображая, что я — ехал на Воронежский съезд с уверенностью в победе. Нет, этой уверенности у меня тогда не было... Впрочем Морозов — поэт". ("О былом и небылицах" том 24-й).

Несомненно одно: в дальнейших заседаниях съезда Г. В. участия не принимал...

Желябов возмущался "деревенщиками". Участники съезда, однако, были против разрыва и уговорили Желябова не обострять положения. Желябов дал согласие, на заседаниях "е выступал, ограничиваясь частными беседами.

Программу "Земли и Воли" решили не изменять. Революционная деятельность должна иметь в виду прежде всего народ и его насущные, экономические интересы; однако, наряду с пропагандой в крестьянстве, признали и аграрный террор. Вопрос об общем терроре тоже был решен положительно. Признали, что надо устранять не обычных правительственных слуг, вредящих революционной деятельности, а высших агентов. На террор ассигновали одну треть денежных средств, остальная часть отдавалась на деревенскую работу, причем новаторы надеялись, что в деревне делать нечего и деньги пойдут на террор. Настроение на съезде было примирительное, но очевидно потому, что террористы без труда на деле одержали победу по главному вопросу о необходимости политической борьбы путем создания заговорщицко-террористической партии.

Желябова продолжали удерживать от выступлений. Попов сообщает;
— Помню, когда Желябов стал развивать программу политической борьбы, как единственной, соответствующей переживаемому Россией

моменту, я возразил ему, что свести всю деятельность нашей организации на политическую борьбу легко, но едва ли так же легко будет указать предел, дальше которого идти социалистам непозволительно.

Но едва Желябов, чтобы ответить мне, успел сказать — не нами мир начался;—не нами и кончится, — как вмешался Фроленко и сказал — Помоему и ты, Андрей, и ты, Родионыч, оба вы говорите ерунду, не имеющую отношения к делу. Пред нами вопрос, как быть с раз начатым делом, и этот вопрос мы и должны решать, — а как будет потом, нам скажет будущее^[36].

Вопросы, поднятые Желябовым и Поповым, являлись основными вопросами движений но новаторы надеялись на победу и без раскола и потому на съезде избегали споров.

"В кулуарах", однако, Желябов продолжал горячо отстаивать свою точку зрения. Особое внимание уделял он Софии Перовской, которая все еще держалась старых народнических взглядов, — нет, с этой бабой ничего невозможно сделать, — говорил Желябов приятелям.

Высказываясь за политическую борьбу, Желябов утверждал, между прочим:

— В России стачка есть факт политический. — По поводу этого утверждения Плеханов впоследствии сообщил, что мнение это было высказано А. И. Желябовым при очень своеобразных обстоятельствах. Желябов полагал, что революционерам надо сблизиться с либералами для совместной борьбы за политическую свободу, а чтобы облегчить такое сближение нужно отказаться от всякой мысли о борьбе классов. Тогда ему напомнили о петербургских рабочих стачках. Неужели нужно отказаться и от таких проявлений классовой борьбы? Желябов ответил: В России стачки есть факт политический, и, не сочувствуя борьбе рабочих с предпринимателями, можно поддерживать стачку, как средство, направленное против самодержавия. Плеханов этих слов непосредственно не слышал от Желябова: их ему передали его единомышленники. Сам Желябов, когда Плеханов рассказал ему об этом споре, был очень недоволен и упрекал Плеханова, по его словам, в неконспиративности, не подтверждая, но и не отрицая сказанных слов^[37].

Со своей стороны, М. Попов отметил, что после Воронежского съезда Желябов предлагал прекратить писать об аграрном вопросе в "Земле и Воле", чтобы не отпугнуть либералов. Эти утверждения противоречат тому, что Желябов говорил на Липецком съезде о либералах, об их бессилии и неспособности бороться за свободную Россию. Из последующей деятельности Желябова также видно, что он полагался не на поддержку

либералов, а на совсем иных людей и на совсем иные средства. Не боялся он и аграрного вопроса, решительно высказываясь за аграрный террор. Однако нет оснований отрицать, что подобные противоречия могли существовать в голове Желябова. В своем увлечении новым циклом идей Желябов мог допустить и такие взгляды, о которых упоминает Г. В. Плеханов. Признав необходимость политической борьбы, Желябов по-прежнему, по-бакунински, продолжал противопоставлять политику социализму. Противопоставляя их, он думал, что социализм мешает политике; политика есть дело "общенародное". Таким образом, совершенно верное утверждение, что наши либералы неспособны вести активную борьбу с самодержавием, обессиливалось этими другими мнениями Желябова. В практической деятельности Желябова эти мнения развития, повторяем, не получили. Реальных связей Желябов искал среди рабочих, крестьян, среди студенческой молодежи и революционно-настроенных офицеров.

Съезд закончился компромиссом. Как известно, компромиссы никогда ничего не предотвращают, если против них живая жизнь. И действительно, вскоре "Земля и Воля" распалась на "Черный Передел" и на "Народную Волю". Сторонники Плеханова назвались чернопеределцами, потому что в основу своей работы полагали коренной, "черный" передел земли. Сторонники Желябова стали именоваться партией "Народная Воля": они домогались свержения самодержавия с заменой его волей народа. Морозов остроумно выразился: "Землю и Волю" поделили: чернопеределцы взяли землю, народовольцы — волю.

После Липецкого и Воронежского съездов Желябов делается одним из главных вдохновителей Исполнительного комитета и его "предприятий". С прошлым покончено. "Разрезана нить жизни, как мечом". Желябов уходит в недра подполья, беззаветно отдаваясь революционному делу. О покидает семью, деревню, юг.

Россия, мир делают свидетелями неслыханного, беспримерного единоборства

"НАРОДНАЯ ВОЛЯ"

Партия сложилась к осени 1879 года.

1 октября вышло "социально-революционное обозрение" "Народная Воля". В "обозрении", между прочим, было напечатано такое обращение:

"Во избежание недоразумений, Исполнительный комитет заявляет, что он никогда не был учреждением, члены которого выбирались всею социально-революционной партией, и что в настоящее время он является совершенно самостоятельным в своих действиях тайным обществом".

Подпольную, централистическую организацию создали не народовольцы. Ленин писал в "Что делать":

"Та превосходная организация, которая была у революционеров 70-х годов, создана вовсе не народовольцами, а землевольцами, расколовшимися на чернопередельцев и народовольцев. Таким образом, видеть в боевой революционной организации что-либо специфически народовольческое, нелепо и исторически и логически, ибо *всякое* революционное направление, если оно только действительно думает о серьезной борьбе, не может обойтись без такой организации. Специфическое заключалось в совокупности новых теоретических и тактических взглядов и положений".

"Народная Воля" была первой, строго подобранной партией, поставившей свою целью насильственное свержение самодержавия во имя ликвидации помещичьего землевладения путем политической борьбы, преимущественно в террористической форме. Впервые ясно и точно было сказано, что ближайшая, конкретная задача — свалить монархию, добиться Учредительного собрания, гражданских прав и свобод. С точки зрения бунтарей-бакунистов требование Учредительного собрания являлось неслыханной ересью: избранное подачей голосов, оно подменяло непосредственные, федеральные органы народоправства, которые мыслились по образцу древнего веча и свободных, суверенных общин. Такими же еретическими для бакунистов являлись и другие политические требования народовольцев.

Члены "Народной Воли" были заговорщики-террористы. Правда, они занимались агитацией и пропагандой в народе. Эта их деятельность оставила заметные следы. В своих программах и тактических высказываниях виднейшие народовольцы не уставали повторять, что террор они считают только одним из могущественных средств в борьбе с

самодержавием. Однако свой ум, талант, свою душу и сердце "Народная Воля" вложила именно в террор. Построение организации, ее характер, подбор членов, практика, навыки, психика, были приспособлены прежде всего к быстрым и решительным и террористическим ударам. Андрей Иванович Желябов, его сподвижники — Александр Михайлов, Перовская, Кибальчич, В. Н. Фигнер, Фроленко и другие являли собой прежде всего типы неустрашимых борцов-террористов.

Г.В. Плеханов называл народовольцев народниками, потерявшими веру в народ. Бесспорно, народовольцы пережили ряд тягостных разочарований в народе. Уже в программной статье, помещенной в № 1 "Народной Воли", содержатся на этот счет вполне определенные заявления:

— Всякая масса инертна и труслива, она больше всего дорожит спокойствием, и нужно много усилий со стороны правительства, чтобы она перестала предпочитать самое плохое...

— Мы не говорим, чтобы в народе была абсолютно невозможна пропаганда, агитация, даже чисто бунтовская деятельность; но при настоящих условиях, она слишком затруднена... Мы говорим, что для партии абсолютно необходимо изменить эту обстановку... и создать такой государственный строй, при котором деятельность в народе не была бы наполнением бездонных бочек Данаид... — Далее говорится, что нельзя более игнорировать политическую борьбу и тратить силы на то, "чтобы биться около народа, как рыба об лед"^[38].

Самодержавие не допускает революционеров к народу. Автор передовой не ставит вопроса, в одном ли этом неудача работы в народе. Может быть, крестьянин, отзывчивый на разговоры о черном переделе земли, делается "непонятливым" и тугим на ухо, едва речь заходит об отмене мелкой частной собственности на средства производства; может быть, он, втянутый в общий промышленно-торговый оборот, предпочитает "поэзию" индивидуального земледельческого труда, а не коммун. Может быть, с пропагандой социализма следует обращаться в первую очередь к другому классу, классу наемных рабочих, к батракам и беднейшим крестьянам. Обо всем этом автор передовой не задумывался.

— Масса инертна и труслива... — Но что же представляет собой самодержавие, которое чинит непреодолимые препятствия народникам, едва они увидят этот самый народ? В номере втором "Народной Воли" утверждается:

— История создала у нас, на Руси, две главных самостоятельных силы: народ и государственную организацию. Другие социальные группы и поныне имеют самое второстепенное значение. Дворянство, выраженное

правительством, не сумело сложиться в прочную самостоятельную силу. Буржуазия тоже пока составляет "ничем не сплоченную толпу хищников". — Правда, эта толпа скоро может оформиться: — еще несколько поколений и мы увидим у себя настоящего буржуа, увидим хищничество, возведенное в принцип, с теоретической основой, с прочным мирозерцанием. — Все это будет, конечно, но только в том случае, если буржуазию не подсечет в корне общий переворот наших государственных и общественных отношений. Мы думаем, что он очень возможен, и если он действительно произойдет, то буржуазия наша так же сойдет со сцены, как сошло дворянство, потому что она, в сущности, создается тем же государством...

В деревне нарождается и укрепляется кулак. Но виновно в этом опять только одно наше государство: безвыходное положение гонит мужика в кабалу... Устраните этот гнет, и вы сразу отнимите девять десятых шансов формирования буржуазии...

— У нас не государство есть создание буржуазии, как в Европе, а, наоборот, буржуазия создается государством...

Вывод: надо как можно скорее освободить народ из-под самодержавной власти, иначе верх возьмет буржуазия. Не есть ли это, однако, отказ от социализма в пользу политической борьбы? Это не есть отказ от социализма: при наших государственных порядках политический и социальный переворот совершенно сливаются, и один без другого немыслимы. — Следовательно нет нужды разделять программу-минимум от программы-максимум, добавим мы от себя.

Надо спешить. — Теперь, или очень нескоро, быть может никогда! — В том же духе высказывался в своих политических письмах и Гроньяр-Михайловский и а страницах "Народной Воли":

— Европейской буржуазии самодержавие помеха, нашей буржуазии оно опора...

— Неужели же наша интеллигенция упустит этот единственный исторический момент и призовет на себя печать Каина?.. Если во главе движения не станут революционные народнические силы, переворот совершит буржуазия... А захвативши власть в свои руки, буржуазия, конечно, сумеет закабалить народ поосновательнее, чем ныне и найдет более действительные средства парализовать нашу деятельность, чем современное государство... Теперь, или никогда, вот наша дилемма...

Государство здесь рассматривается, как некая надклассовая, самодовлеющая сила. Путем насильственного вмешательства этой силы в народную общинную жизнь вносится нечто чуждое и враждебное, развивается и поощряется капитализм. Таким образом, имущественное

неравенство, угнетаемые и угнетатели создаются, по крайней мере, у нас в России, только государством. Эта теория представляет собой причудливую помесь Дюринга с Бакуниным и Ткачевым. Корни капитализма, конечно, были зарыты гораздо глубже. Мелкое крестьянское хозяйство вое больше и сильнее втягивалось в круговорот мирового капиталистического хозяйства. В этих условиях оно с неизбежностью, вполне органически, порождало имущественное неравенство и капитализм. Но этот отечественный капитализм в своем развитии задерживался наличием крепостнических пережитков, питаемых и поддерживаемых самодержавием. В силу этого он принимал наиболее зверский, отвратительный и хищнический характер. Все это теперь — элементарнейшие истины: однако такими они тогда отнюдь не являлись: капитализм был еще у нас слаб, и мелкобуржуазный характер крестьянского хозяйства, по замечанию Ленина, еще "совершенно не обнаружился". Отсюда утверждения народолюбцев, что буржуазия у нас — явление наносное, чуждое устоям народной жизни, создаваемое исключительно бюрократией. Отсюда — утопизм, надежды, что достаточно свалить вовремя самодержавие и буржуазия будет задушена "в зародыше".

Могут возразить: эту утопию разделяли вместе с народолюбцами Маркс и Энгельс. В самом как будто деле, Маркс полагал:

"Если Россия будет идти по тому же пути, по которому она шла в 1861 г., то она лишится самого прекрасного случая, какой когда-либо представляла история какому-либо народу для избежания всех злоключений капиталистического строя"^[39].

Итак, хотя Маркс и говорит далее, что за последние годы Россия не мало потрудились, чтобы пойти именно по пути капиталистического развития, однако, он решает вопрос условно, видимо, находя, что еще не исключен и другой путь, не капиталистические. Более определенно Маркс высказался в своем письме к Вере Засулич от 8 марта 1881 г., опубликованном только в наше время, в 1924 г. О судьбах русской общины Маркс писал:

— Произведенное мной специальное изучение этого вопроса, для которого я брал материалы из первоисточника, привело меня к убеждению, что это община является точкой опоры социального возрождения России, но для того, чтобы она могла играть эту роль, нужно было бы сперва устранить пагубные влияния, давящие ее со всех сторон, а затем обеспечить ей нормальные условия свободного развития...

В свою очередь Энгельс о захвате власти народолюбцами высказывался:

...— Революция... может разыграться каждый день... И если когда-

нибудь бланкистская фантазия перевернуть целое общество действием одного маленького заговора имела некоторое основание, так именно теперь в Петербурге, раз огонь будет приложен к пороху... Пусть только сделают брешь, которая разрушит плотину, — поток сам скоро образумит их иллюзии...

Итак, совпадение взглядов Маркса и Энгельса со взглядами народолюбцев Как будто полное. Несомненно, Маркс и Энгельс находили *вместе* с народолюбцами ситуацию в России революционной. Действительно, противоречия обострились тогда до крайности: достаточно вспомнить крестьянское разорение, неудачную войну с Турцией, голод, эпидемии, общественное недовольство, репрессии. Недаром Александр II помышлял даже о конституции, хотя бы и крайне убогой. Народолюбцы также понимали, что задушить буржуазию в зародыше можно только в том случае, если политический переворот совпадет с социализмом. Известно, что народники "позднейшего призыва", социалисты-революционеры, тоже делали ставку на общину, требуя социализации земли; но в отличие от народолюбцев-классиков" они полагали, что эта социализация, призванная укрепить общину и подорвать капитализм в России, возможна в рамках общекapиталистического развития. Идеологи мелкой буржуазии, они уже утратили веру в сокрушение крупного капитала, они хотели с ним ужиться, сохранив в его рамках мелкое товарное хозяйство. Народолюбцы, приурочивая некапиталистический путь развития к социальному перевороту, были несравненно ближе к Марксу, чем их эпигоны. Но за всем тем, между Марксом и Энгельсом и сторонниками "Народной Воли" лежит целая пропасть.

Народолюбцы стремились разрушить капитализм, как идеологи мелких производителей, которые испытывали гнет этого капитализма в его наиболее хищных, азиатских формах, но не понимали, откуда и как капитализм развивается.

Маркс и Энгельс стремились разрушить капитализм, как идеологи наемных рабочих, понявшие внутренние причины и все сложнейшие противоречия капиталистической системы.

За социализм народолюбцы считали федеративные сельские общины и рабочие артели. Обобществленная-крупная собственность на средства производства играла в их построениях не руководящую, а лишь подсобную роль. Их идеал выражала формула прогресса Н. К. Михайловского: "Прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и

возможно меньшему разделению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживает это движение. Нравственно, справедливо, разумно только то, что уменьшает разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов". Эта вполне "субъективная" формула противоречит всему духу марксизма, основанного на объективном, научном изучении исторических процессов. Нисколько не объясняя исторического движения общества, она целиком направлена против разделения труда между людьми, против крупной индустрии. Здесь идеал — мелкий свободный производитель, крестьянин, у которого решительно преобладает разделение труда между органами и почти отсутствует общественное разделение труда между людьми. Народовольцы смотрели в прошлое, а не в будущее. Нужды нет, что этот свой идеал они порою смешивали с научным социализмом. Маркс недаром писал: — этикетки, наклеиваемые на системы, тем отличаются от этикеток, наклеиваемых на другие товары, что они обманывают не только покупателя, но и продавца. — Идеалом народовольцев являлось в сущности товарное общество, освобожденное от давления и от гнета крупного капитала и самодержавия.

Социализм Маркса и Энгельса кладет в основу обобществление крупнейших видов индустриальной промышленности и сельского хозяйства, подготовленное всем ходом общественного развития, общественным разделением труда, гигантским размахом производительных сил. Это обобществление создает почву для объединения в коммуны и в артели мелких производителей, подводя под это объединение, как это и есть теперь, в наши дни, в стране Советов широкую индустриальную базу.

Народовольцы надеялись свалить самодержавие, захватить власть, задушить буржуазию и расчистить дорогу социализму, имея в виду только общинные инстинкты в крестьянстве. Они брали Россию обособленно от всей мировой политики и мирового хозяйства. Маркс и Энгельс рассматривали русскую революцию именно в этой связи. Маркс утверждал:

"Если русская революция послужит сигналом революции пролетариата на Западе, и таким образом, обе дополняют друг друга, то существующее общинное землевладение в России может послужить исходным пунктом коммунистического развития".

Русскую революцию Маркс и Энгельс связывали с борьбой и с победой международного пролетариата, полагая в то же время, что в Россия имеются свои 'собственные силы для социального возрождения. Иного решения вопроса и быть никак не могло.

Народники далее считали, что смена самодержавия буржуазно-

демократическим строем без немедленного социального переворота приведет только к худшему закабалению народных масс. В этом они тоже остались верными бакунизму. Маркс и Энгельс так, конечно, не думали. Они знали, что буржуазно-демократический строй, содействуя развитию капитализма, в его наиболее прогрессивных формах, в то же время дает классу наемных рабочих возможность объединиться и вести более открыто и организованно борьбу, что гражданские права и свобода, не устраняя социального неравенства, содействуют все же этой борьбе.

Словом, у народовольцев были предрассудки и утопии, чуждые Марксу и Энгельсу. И недаром Энгельс в упомянутом письме о захвате Исполнительным комитетом власти писал:

— Пусть только сделают брешь, которая разрушит плотину, — поток сам скоро образумит их иллюзии... Люди, воображавшие, что они сделали революцию, всегда убеждались на следующий день, что они не знали, что делали, — что сделанная революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать. Это то, что Гегель называл иронией истории...

Утверждение, будто буржуазно — демократический переворот, взятый сам по себе, повел только к закабалению народных масс, разделялось не всеми. С этим взглядом едва ли соглашался "конституционалист" Желябов. Выше уже приводились высказывания Желябова в том смысле, что всякая политическая уступка со стороны правительства есть факт положительный. Вообще, по вопросу о захвате политической власти среди народовольцев единогласия не было. Тихомиров, Ошанина, сторонники яacobинских, ткачевских взглядов, надеялись захватить власть с помощью заговора; крестьянство, рабочий класс, инертны и трусливы, народ только материал, толпа, которую по своему усмотрению направляют ко всеобщему благу отважные заговорщики, насилием снимающие насильников. Захват власти, по их мнению, должен явиться исходным пунктом для перехода к социализму. Морозов в свою очередь надеялся, что террор позволит добиться конституции. Была еще группа народовольцев, связанная с легальной журналистикой, не верившая ни в восстание, ни в захват власти и полагавшая, что надо вести борьбу совместно с либералами и добиться, по крайней мере, таких конституционных порядков, при которых мелкому производителю удастся сохранить "устой". Эту группу возглавлял Н. К. Михайловский. В своих политических письмах он писал:

— Люди революции рассчитывают на народное восстание. Это дело веры. Я не имею ее.

— Конституционный режим есть вопрос завтрашнего дня в России. Этот завтрашний день не принесет разрешения социального вопроса в

России. Но разве же вы хотите сложить руки?..

— Мир и в человецех благоволение принадлежит далекому будущему. Мы с вами не доживем до него. — Я думаю, что многие либералы гораздо к вам ближе, чем вам кажется...

Желябов в отличие от якобинцев и бланкистов "тихомировского согласия", от буржуазного радикализма Морозова и от легального буржуазного народничества Михайловского верил в возможность восстания с помощью народа, полагая, что свержение самодержавия, даст возможность при наличии более свободных политических форм успешнее бороться против капитализма за социализм. Хотя Желябов и пережил ряд тяжких разочарований во время хождения в народ, но все же он продолжал верить, что без активного участия народа никакое восстание не будет крепким, прочным и победоносным. Он не терял в него веры и, как мы далее увидим, даже в самый разгар террористической борьбы, мечтал возглавить предполагаемое восстание крестьян в Поволжье. В. Н. Фигнер вспоминает любопытную подробность, связанную с выработкой программы, опубликованной в № 3 "Народной Воли":

— В самом начале, — рассказывает она — нас остановило определение: "Мы — народники-социалисты". Можем и должны ли мы называть себя "народниками", как звали себя члены "Земли и Воли", переставшей существовать? Не вызовет ли это смешения понятий? Не будет ли слишком отдавать стариной, затемняя смысл нового направления, которое мы хотим закрепить своим отдельным существованием?

— В таком случае употребим название социал-демократы, — предложил Желябов. — При передаче на русский язык этот термин нельзя перевести иначе, как социалисты-народники, — продолжал он. Но большинство высказалось решительно против этого. Мы находили, что название "социал-демократы", присущее германской социалистической партии рабочих, в нашей русской программе, столь отличной от немецкой, совершенно недопустимо. Кроме того, среди нас были решительные защитники старого направления. Оно подчеркивало наше революционное прошлое, то, что мы — партия не исключительно политическая, что политическая свобода для нас не цель, а средство^[40].

Желябов являлся приверженцем утопического, крестьянского, мелкобуржуазного социализма. Отнюдь не был он близок к европейским социал-демократам-марксистам, но он был к ним ближе, чем Тихомиров, чем Михайловский, Морозов и подавляющее большинство народовольцев. Не случайно именно он не прочь был называться социал-демократом. Он больше других верил в народ, в массовую борьбу, яснее многих своих

сподвижников понимал опасность, которую таило в себе увлечение террором; он настойчивее, упорнее многих своих товарищей пытался соединить на деле заговор с массовой работой среди рабочих, среди студентов и военных и не его вина, если ему это не удалось; а главное, он считал, что нужно прежде всего добиться политических свобод для дальнейшей борьбы с угнетателями. Не забудем, что именно им и Коковским выработана была программа рабочих членов партии "Народной Воли"; в ней хотя и нет указаний на необходимость рабочим организоваться в отдельную, самостоятельную классовую партию, но в то же время провозглашается, что рабочему классу необходим политический переворот для успешной борьбы за свои интересы, и содержатся намеки на программу-максимум и на программу-минимум. И того не забудем, что усилиями террориста Желябова в самый разгар подготовки им царевубийства была основана "Рабочая газета", где Андрей Иванович, не склонный к литературному труду, поместил передовую статью. Итак, Желябов отнюдь не боялся конституции и политических свобод буржуазного правопорядка, полагая, что трудящиеся сумеют извлечь из них для себя посильную пользу. Надо поэтому думать, что, внося предложение переименовать народников в социал-демократов, Желябов, далекий, повторяем, от марксизма, все-таки имел в виду не только перевод с одного языка на другой язык.

Среди народовольцев Желябов вообще отличался наибольшим политическим и критическим чутьем, но ему пришлось отдаться практической, боевой работе. Теорию и тактику "Народной Воли" по преимуществу разрабатывали Лев Тихомиров, Михайловский и другие. Эта программа и эта тактика представляли собой смесь бакунизма и бланкизма, а Михайловский вносил в них и известную долю самого обыденного либерализма. Влияние Желябова на партию являлось всегда плодотворным, оно шло по линии реального и революционного учета действительности. К сожалению, этому помешали обстоятельства. Возможно: останься Желябов в живых, он развился бы в сторону революционной социал-демократии. Во всяком случае, для этого у него было данных больше, чем у других членов: Исполнительного комитета.

Этого не произошло: террор — самый ненасытный Молох...

... Необходимо сказать несколько слов о личном подборе членов Исполнительного комитета. Он был исключительный по преданности, по стойкости и по другим моральным качествам. Обаяние этих людей было необычайным. Прибылева-Корба рассказывает:

— Летом 1880 г., живя в Петербурге, я повредила себе ногу...

пришлось недели на две лечь в клинику... Кроме меня в палате находилась еще молодая девушка, по профессии швея... Однажды я была обрадована посещением моих товарищей. Пришли навестить меня Желябов, Перовская, Баранников и Исаев. Все они были в хорошем настроении духа, все шутили; слышался беззаботный смех. Когда мои гости ушли, больная сказала мне в экстазе:

— Первый раз в жизни я видела таких людей. Откуда вы их взяли? Где вы их нашли и так хорошо с ними познакомились?

Я улыбнулась ей в ответ и сказала, что это моя давнишние знакомые. Больная не унималась; ей трудно было освоиться с совершенно новыми для нее впечатлениями.

— Не скажешь, ведь кто из них лучше, — восклицала она, — все хороши, один лучше другого; все умны, все веселы и, видно, все добры, добры, добры! — Несколько раз говорила она мне: — Вы счастливы, что у вас такие хорошие знакомые; а я таких людей даже никогда не видала...

Больная швея была права в своих впечатлениях: такие люди тогда появились в России впервые.

Александр Михайлов говорил.

— Кто не боится смерти, тот почти всемогущ...

Они не боялись смерти; они сумели воспитать в себе презрение к смерти...

В известном смысле они были всемогущи:

Их подвиги необычайны; на позорных колесницах к эшафоту они следовали, как победители...

... Каждый из них обладал сверх того резко выраженной индивидуальностью, своеобразным и неповторяемым душевным складом. Стоит только назвать Желябова, Перовскую, Александра Михайлова, Кибальчича, Веру Фигнер, Ошанину, Исаева, Квятковского, Морозова, Фроленко — и встает ряд ярко очерченных характеров и революционных типов. То была поистине исключительная плеяда самобытнейших людей. И дела их тоже были самобытны и необычайны...

ЦАРЬ

О детстве он был чувствителен, слезоточив. Наставником его недаром был Жуковский.

Он также "обожал" парады. Это перешло к нему от отца, рыжеусого солдафона.

Отец обращался с сыном круто, под сердитую руку бивал его, в словах и выражениях не стеснялся.

На уроках Александр любил находить ошибки у товарища, проказить, но больше исподтишка. Когда его ловили с поличным, он плакал, просил прощения.

Была у него также склонность к самодурству.

Говорят, лично он не был боязлив. Кропоткин о нем рассказывает:

Перед лицом настоящей опасности Александр II проявлял полное самообладание и спокойное мужество, и между тем, он постоянно жил в страхе опасностей, существовавших только в его воображении. Без сомнения он не был трус и спокойно пошел бы на медведя лицом к лицу. Однажды медведь, которого он не убил наповал первым выстрелом, смял охотника, бросившегося вперед с рогатиной. Тогда царь бросился на помощь своему подручнику. Он подошел и убил зверя, выстрелив в упор...

[\[41\]](#)

Кого же он боялся? Он боялся мужиков и крамольников.

Отсюда его жестокость и мстительность.

В начале своего царствования он заключил в каземат молодого революционно-настроенного офицера Бейдемана, сделав его "таинственным узником". Бейдеман так и погиб в склепе, не получив "высочайшего помилования".

О крестьянах еще в 1856 г. Александр сказал предводителям московского дворянства:

— Слухи носят, что я хочу дать свободу крестьянам; это несправедливо, и вы можете сказать это всем направо и налево; но чувство, враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастью, существует, и от этого было уже несколько случаев неповиновения помещикам. Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому прийти. Я думаю, что и вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу...

Да, он очень опасался "неповиновений". А их, и вправду, было немало...

...Его первые попытки дать "реформу" вызвали сочувствие даже в самых радикальных кругах. Герцен писал:

— Имя Александра II отныне принадлежит истории.

Даже Чернышевский восславил царя:

— Благословение, обещанное миротворцам и кротким, увенчает Александра II счастьем, каким не был увенчан еще никто из государей.

Царь не был чужд литературе. Он читал "Записки охотника", умилялся и плакал; распорядился издать Гоголя, "без всяких исключений и изменений".

"Реформа свыше" была "дарована". Неблагодарные мужики ответили бунтами. Пришлось посылать солдат. Поднялась Польша. Пришлось посылать солдат и Муравьева-Вешателя, Герцен пожалел, почему царь не умер после манифеста 19 февраля. Чернышевского царь заточил. Писарева царь заточил. И многих еще других царь тоже заточил.

Обнаружились нигилисты, бунтари, пропагандисты. Зачем-то ходили в народ, баламутили мужиков.

Характер царя явно "портился". Князь Вяземский ехал однажды с царем в карете. От скуки и безделья царь начал издеваться над приятелем. Князь терпеливо сносил царские придирки. Вдруг лицо царя, обычно "кроткое и мечтательное", исказилось злобой, царь обернулся к Вяземскому и "харкнул" ему в физиономию, после чего бросился на шею и стал просить прощения.

4 апреля 1866 г. царь гулял с детьми в Летнем саду и, когда садился потом в коляску, в него выстрелил Каракозов. Было в высшей степени скандально. Стреляли в помазанника божия, в царя-освободителя. Царь записывает:

— Общее участие, — Я — домой — в Казанский собор. Ура — вся гвардия в белом зале.

Наследник Александр тоже заносит в дневник: — Прием был великолепнейший, ура сильнейший... "Ура сильнейший", понятно, любителю разводов приятно, но все же "случай" отменно дрянной.

Спустя год Царь "посетить соизволил" Париж. Путешествие вышло совсем не из веселых. На улицах "освободителя" встречали свистками, враждебными криками. Орали: — Да здравствует Польша! — Был смотр; после смотра поляк Березовский стрелял в царя. Случай отменно дрянной. Пришлось спешно возвращаться домой.

Характер портился. "Эпоха великих, реформ" не удовлетворяла даже

некоторых не совсем слепых царских слуг. Военный министр, граф Милютин впоследствии сказал:

— Кроме святого дела освобождения крестьян... все остальные преобразования исполнялись вяло, с недоверием к пользе их, причем, нередко принимались даже меры, несогласные с основной мыслью изданных новых законов... В России все затормозилось, почти замерло, повсюду стало раздаваться глухое недовольство...

Крестьяне стонали от оброков, от барщины и всяких повинностей. Печать всячески обуздывалась. Школа, университеты превращались в "заведения". Нигилистам не давали ни отдыха, ни срока, сажали в тюрьмы, ссылали на каторгу, вешали. Царь сделался еще более двоедушным, непостоянным, напуганным, мстительным.

Воевали с Турцией. Царь под Пленной посещал госпитали, плакал над ранеными и умирающими солдатами: недаром он воспитывался у чувствительного поэта Жуковского; однако в день "тезоименитства" был предпринят безрассудный штурм Плевны: готовили царю подарок. Штурм не удался; осталась песня: — *Имянинный пирог из начинки людской брат подносит державному брату, а на севере там ветер стонет, ревет и разносит мужицкую хату.* — На революционных вечеринках песня певалась целые десятилетия.

Личная жизнь складывалась двусмысленно. Женщины покоряли-, царя очень легко. Царица, Мария Александровна, уже давно перестала привлекать к себе Александра II. Он бросил ее, охотился за девушками, многих развратил. Однажды царь повстречался с Катей Долгорукой. Она была еще подростком. Она была очень красива. Царь взял ее под свою опеку, поместил в Смольный институт. Семнадцати лет он сделал ее своей любовницей. Двор резко осуждал царя: Долгорукая посещала Зимний дворец. На лето Александр II увозил юную любовницу в Крым, в Ливадию. Море, Ай-Петри, запах туй, уютный дом в Бьюк-Сарае, где он помещал Долгорукую, давали целительное забвение от крамольников и от многочисленных неурядиц.

Пошли дети. Очарованный "глазами газели", царь поместил Долгорукую в самом дворце. Возмущению в "сферах" и пересудам не было конца: старый селадон попирает открыто один из самых священных устоев.

А "нигилисты" не дремали. В августе 1878 г. был убит начальник знаменитого III отделения, царева недреманого ока, шеф жандармов Мезенцев. И как! Закололи, кинжалом! Царь поручает генерал-адъютанту Дрентельну, заместившему Мезенцева, искоренить крамолу. Он требует постоянных донесений, сам, лично, неослабно следит за революционным

подпольем. Кто бы мог подумать, что какой-то никому неизвестный земледелец, проживавший к тому же по чужому паспорту, отнимет столько драгоценного времени у венценосного самодержца, коему подвластна шестая земного шара!

Между царем и шефом жандармов ведется деятельная переписка.

Жандарм доносит:

— Генерал-адъютант Гурко отверг кассационную жалобу Дубровина. Исполнение приговора предполагается завтра.

Пометка царя:

— Где и как? Прошу вперед уведомлять о сем положительно и в важных случаях по телеграфу.

Жандарм по поводу покушения Соловьева на венценосную жизнь сообщает:

— Вытребована жена Соловьева... Уже выехала... Царь:

— Следовало отправить с нею жандарма, иначе, она, пожалуй, скроется... Жандарм:

— Деятельно производимые розыски ни к чему существенному не привели...

Царь:

— Досадно...

Жандарм о подпольной типографии "Земли и Воли":

— К следствию по сему делу приступлено:

Царь:

— Авось, доберемся, наконец, до самой типографии.

Жандарм:

— По делу Соловьева ничего нового не открыто.

Царь:

— Весьма жаль...

Жандарм:

— Необходим самый внимательный и неослабный надзор за населением Западного края России...

Царь:

— Да, необходимо держать нам ухо *востро*...

Жандарм:

— Во время следования партии ссыльно-каторжных в пределах Восточной Сибири трое из них, государственные преступники, Дебагорий-Мокриевич, Избицкий и Орлов, поменялись именами с обыкновенными преступниками-поселенцами и вместо сих последних отправлены по назначению.

Царь:

— Тут, вероятно, было преступное неряшество, если не потворство. С виновных следует сделать строгое взыскание...^[42]

Царь советует, ободряет, подтягивает, требует, следит. А надо всем одно: — необходимо держать нам ухо востро...

Землеволец Соловьев чуть не застрелил "освободителя". Опять "бог спас". Опять "много дам". Опять "ура сильнейший".

Но обреченность повсюду. Ее можно почти осязать руками.

Слезы. Самодурство. Нерешительность. Разговоры о ненавистной конституции. Лорис-Меликов. Красный террор. Расправы. Казематы. Каторга. Палач Иван Фролов. Виселицы.

Императрица Мария Александровна приказала долго жить. Кропоткин пишет в своих "Записках":

— Она умирала в Зимнем дворце в полном забвении. Хорошо известный русский врач говорил своим друзьям, что он, посторонний человек, был возмущен пренебрежением к императрице во время ее болезни. Придворные дамы... покинули ее, и весь придворный мир, зная, что того требует сам император, заискивал перед Долгорукой...

Летом 1880 г. царь обвенчался с Долгорукой. Под венцом стоял сгорбленный старик с мешками под глазами, обрюзглый, страдающий одышкой. Рядом с ним цвела красавица "с глазами газели".

Царь ищет забвения в семье. Он внимателен к детям, он души не чает в молодой жене. Нет забвения: ни в семье, ни в "ура сильнейшем"...

Опять разговоры о реформах, о конституции... Опять палач Фролов... Припадки тоски. — В иные дни он принимался плакать так, что приводил Лорис-Меликова в отчаяние... (Кропоткин).

Террор "Народной Воли". Известно, что за царем охотятся... Взрывы... Царь сам неослабно следит за подозрительными при выездах. Виднейший слуга, полицеймейстер Дворжицкий, сообщает:

— Покойный государь по возвращении с поездки весьма часто призывал меня и отдавал приказания о наведении справок о замеченных им на улицах подозрительных лицах... Случалось часто, что при докладе его величеству о задержании при выезде государя подозрительной личности, он замечал — верно: у него скверная рожа...^[43]

... Желябов и Перовская, Кибальчич в Петербурге....

Из приближенных царя скажем кратко только о Лорис-Меликове и Победоносцеве. О Лорисе Победоносцев писал в своих дневниках:

— Граф Лорис-Меликов человек честный в том смысле, что он не брал

и не берет взятки; но вместе с тем это крайне честолюбивый и властолюбивый, совершенно бессердечный эгоист... ум его хитрый и лукавый, но отнюдь не дальнзоркий, не глубоко проницательный и весьма односторонне развитый жизненной практикой и интригами... России и русского народа он не понимает. Научное... образование его очень поверхностное и ограниченное...

На этот раз слова Победоносцева вполне совпадают с тем, что о Лорисе писалось в № 2 листка "Народной Воли":

— ...Благодарная Россия изобразит графа в генерал-губернаторском мундире, но с волчьим ртом опереди и лисьим хвостом сзади в отличие от прочих генерал-губернаторов, отечества не спасших...

О самом Победоносцеве имеется сочный отзыв в книге Лафетэ "Александр II"; книгу граф Валуйев называет произведением Долгорукой. Напечатана была эта книга за рубежом, после смерти царя, куда Долгорукая вынуждена была выехать.

— Скажем несколько слов об обер-прокуроре святейшего Синода Победоносцеве. Этот субъект, пропитанный ханжеством, характера сильного, мстительного, настроения желчного, здоровья слабого, один из тех людей, которые проявили себя, как признанные противники прогресса и реформ, проведенных в России в царствование Александра II... Незадолго до смерти Александра II в публике распространился слух, что в "высоком месте" заняты выработкой русской конституции... Некто пустил в ход тогда все средства, как, например, подбрасывание монарху писем, с целью ввести его в курс идей, которые якобы господствовали в провинциях империи... [\[44\]](#)

Этому заматерелому мракобесу даже Александр II казался едва ли не карбонарием...

Об Александре III, сыне "царя-освободителя", следует сказать: конституции не дал, науки упразднил, людей вешал, крамолу уничтожал. Запечатлен в известном памятнике Трубецкого, что в Ленинграде против Октябрьского вокзала. Похож на уездного исправника. Подвержен был зелию настолько, что со своими приближенными в залах дворца ложился на пол, на ковры и ловил проходящих за ноги... Более достойно ничем себя не прославил.

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ

В конце октября 1879 г. в Одессе прописался курский мешанин Семен Александров, стал искать работы и вскоре поступил железнодорожным сторожем, поселившись с женой в будке на четырнадцатой версте. Рядом с будкой были свалены груды камней для постройки будущего вокзала. Соседи, рабочие и служащие, видели, как однажды какой-то человек, не то "сродственник", не то приятель сторожа Семена Александрова привез из Одессы в будку незамысловатую мебель. Курский мешанин Семен службу нес исправно, жену не бил, не баловал, отличался обходительностью, водки не пил, жил тихо и благонадежно, но почему-то в сторожах долго не пробыл и в декабре уехал с женой, не дождавшись даже расчета. То, что он не "взял расчета, среди знакомых Семена возбудило толки и недоумение: — Чудак, человек! От своего добра отказывается! — Поговорили, поговорили, да и перешли к своим докучным делишкам,

Про сторожа Семена и про жену его совсем было забыли, но спустя время, так года полтора, — пришлось поневоле вспомнить. Курского мешанина Александрова по какому-то неизвестному случаю жандармы где-то арестовали, пригнали в Одессу и предъявили железнодорожникам. Дорожный мастер сразу узнал русого крепыша. — Да, да, это тот самый Семен. Служил у меня сторожем на четырнадцатой версте. Ушел и даже не взял расчета. — В числе собранных для опознания Семена находился и кум его: Семен с женой крестили у него дочку. Понятно, кум тоже обрадовался крестному своего ребенка. Приятели и знакомые стояли рядом с Семеном, улыбались и ободряли его: — Не беспокойся, дурного ничего про тебя не скажем. Человек ты наш, свойский. Все мы тебя хорошо помним. — Тот самый? — Тот самый, ваше высокоблагородие... Тут и говорить нечего... Наш сторож Семен...

Одесский жандармский полковник Добржицкий весьма любезно предложил Семену подписать бумагу с показаниями простодушных опознавателей. Не к чему больше отрицать, что он проживал здесь сторожем. Зачем лишать куска хлеба этих бедняков? Придется их вызывать в Петербург; примет ли их обратно дорога на службу? Сторож Семен подумал, подумал, взял и подписал бумагу: в самом деле, зачем подводить рабочий народ? Сердобольный полковник остался очень довольным, но сторожа Семена все же обманул: бедняков потом на суд вызвали.

На этом суде обнаружились разные диковинные вещи.

13 ноября 1879 г. из Одессы выехал молодой человек. В Елисаветграде молодого человека арестовали и при нем в чемодане обнаружили 17 килограммов динамита. Молодой человек был доставлен обратно в Одессу. Обнаружилось, зовут его Гольденбергом. За "обработку" арестованного принялся сердечный друг бедняков, вышенареченный полковник Добржинский. Полковник убедил Гольденберга, что в интересах революции ему лучше раскрыть душу. Полковник заметил: Гольденберг очень самомнителен и дал ему понять, что он может сыграть виднейшую роль, стать посредником между правительствам и революционерами, предупредить террор, гибель друзей. Гольденберг признался: он — народоволец, террорист; убил харьковского губернатора Кропоткина, участвовал на Липецком съезде, близок ко многим руководителям революционного движения. Далее, последовали оговоры этих руководителей с раскрытием их подпольных дел. Между прочим, Гольденберг рассказал: под Одессой готовилось покушение на царя. Террористы, получив сведения, что "государь император проследовать изволит" после ливадийских приятственных отдохновений в Петербург через Одессу, послали в Одессу своих людей. Свои люди должны были заложить динамит и взорвать царский поезд. Гольденберг, находясь в то время в Харькове, отделил из динамита, привезенного Баранниковым и Пресняковым, около полутора пудов и послал в Одессу с Татьяной Лебедевой. Погода была дурная, и террористы, предположив, что царь морем и через Одессу не поедет, решили дело перенести в Москву. Поэтому Гольденберг отправился в Одессу за динамитом, который он поручил Лебедевой. Дорогой в Елисаветграде встретил Кибальчича и от него узнал, что тот везет из Одессы проволоку в Александровск, причем Кибальчич прибавил: в Одессе, возможно, мины уже заложены. Гольденберг послал предупреждающую телеграмму, а когда подъезжал к Одессе, около одной будки заметил Татьяну Лебедеву и понял, что сторожем будки является ее, Лебедевой, приятель Фроленко. С Фроленко и с Колодкевичем Гольденберг скоро увиделся. Фроленко обнаружил упорство и от него только после долгих уговоров удалось получить обратно динамит. С этим динамитом, возвращаясь, Гольденберг и подвергнулся аресту.

Вера Николаевна Фигнер сообщает в своих воспоминаниях: на железную дорогу Фроленко она устроила через будущего зятя одесского генерал-губернатора графа Тотлебена, барона Унгерн-Штернберга. любезно выдавшего ей записку к начальнику дистанции. Фроленко-сторожа, далее,

оговорил и опознал вдобавок другой предатель Меркулов. Гольденберг, догадавшись, что жандармы и прокуратура его обманули, впоследствии повесился в тюрьме.

В своих оговорах Гольденберг, между прочим, показал: в Харькове он бывал на собраниях террористов, где при участии Желябова обсуждались планы царевубийства и где Желябов горячо агитировал за террор. Отыскался след Тараса. Таким образом как террорист Желябов делается известным правительству уже в конце 1879 г. С тех пор его усиленно повсюду ищут... Непосредственно Желябов был занят, однако, Б другом предприятии.

В октябре 1879 г. в город Александровск прибыл ярославский купец Черемисов. Купец Черемисов стал хлопотать об отводе ему участка земли для устройства кожевенного завода. Получив разрешение, приезжий наметил себе участок близ полотна железной дороги. В этом участке ему было отказано. Тогда Черемисов купил другой участок у селения Вознесенки, на противоположной стороне, поселившись с женой в доме мещан Бовенко. Купца навещали разные знакомые. Двое даже остались проживать, один на месяц, другой на несколько дней. Ярославский купец Черемисов вел себя несколько странно. Хозяевам Бовенко он все время говорил, что собирается строить кожевенный завод, но "настоящих приготовлений к постройке завода не делал. В половине ноября жена Черемисова неожиданно уехала, а вслед за ней скоро со своими знакомыми уехал и сам Черемисов, при чем были спешно проданы лошадь, упряжь, телега, мебель же квартиранты оставили Бовенко.

Впоследствии обнаружилось: паспорт на имя купца Черемисова — подложный. Через арестованного Гольденберга выяснилось, что Черемисов не кто иной, как Желябов и что Желябов подготавливал под Александровском покушение на царя. Желябову помогали его "жена", Якимова (Баска), Пресняков, Тихонов, Окладский. Последние трое в разные сроки были арестованы. Желябов и Якимова оставались все разысканными. В дом Бовенко были доставлены нигилистами два медных цилиндра с динамитом. К железнодорожному полотну от грунтовой дороги провели проволоку. Цилиндры были заложены в 23 саж. друг от друга. Проволока, проложенная от дороги до обрыва, уходила в овраг, далее шла на насыпь вышиной в 11 саж. и соединялась с цилиндром под шпалами, а от них — с цинковым листом. Этот лист, в свою очередь, сообщался со вторым листом в 7 саж. от проезжей дороги; он был соединен с особым аппаратом, который помещался в момент взрыва на телеге. Две мины были заряжены магниальным динамитом и снабжены электрическими запалами. Место было выбрано удачное. Поезд при взрыве полетел бы под откос с высоты

одиннадцати саженей.

Окладский, участник предприятия, сделавшийся потом долголетним предателем, в своей "Автобиографии", представленной им уже советскому суду, сообщает такие подробности о покушении:

— Перед самым началом работы на насыпи, к нашему несчастью, пошли сильные дожди-ливни, и с окрестных высот вода вся устремилась в овраг... стремительно несшаяся вода несла с собой разный древесный мусор, который засорял проходную трубу, что уже было опасно для насыпи, так как вода, не имея выхода, поднималась выше и выше и своим напором пропитывала насыпь и разжижала ее грунт...

... Каждую ночь железнодорожная охрана раза четыре или пять с фонарями спускалась по насыпи к трубе и осматривала ее. Пришлось работать в промежутках между осмотрами, которые мы хорошо изучили по часам,

Желябов выговорил себе право собственными руками просверлить насыпь, заложить мины и впоследствии соединить провода для взрыва поезда. Поэтому я и Тихонов только охраняли его во время работы на некотором расстоянии... Самым опасным делом была переноска снаряженной мины со вставленными запалами, а также опускание ее на место... Приходилось несколько раз отвозить мину обратно в город на квартиру, за всю ночь не удавалось выбрать удобного момента для опускания: то проводили поезда, то сторож осматривал путь, то, наконец, приходила охрана... Наконец, Желябову удалось заложить первую мину... Желябов ночью почти ничего не видел, он страдал известной болезнью глаз, которая в народе зовется куриной слепотой, и Тихонов его всегда водил на работу и обратно за руку.

При закладке второй мины едва не произошло несчастье. В то время, когда Желябов стал опускать мину, показался сторож... Пришлось (выхватить мину, опуститься пониже на насыпь и залечь на земле...

... Ночи были очень темны, с сильным ветром и дождями и мы, к своему удивлению, начали блудить, заблудились, попадая в разные ямы и мелкие овраги... Желябов с Тихоновым несколько раз не находили дороги и приходили на квартиру страшно измученные.

... В довершение всего нам стало казаться, что за нами следят и хотят нас схватить на месте преступления и; как бы окружают нас, заходя со стороны насыпи. Мы положительно галлюцинировали; смотришь и видишь: действительно, кто-то стоит и смотрит, а когда подползешь по земле поближе, то увидишь, что это стоит безобидный столб с подпоркой. В одну такую ночь, когда лил сильный дождь с ветром, мне казалось, что

какая-то массивная фигура надвигается медленно на меня. Я пополз навстречу и в нескольких шагах прицелился из револьвера, чтобы выстрелить, но в последний момент тихо окликнул; оказалось, что это Желябов, который как-то отошел от Тихонова, заблудился и медленно двигался со стороны насыпи...

... В особенности я стал бояться за Желябова после того, как в одну бурную ночь мы не пошли на работу... В течение ночи я несколько раз просыпался от его крика, когда он вскакивал с кровати, ползал по полу и кричал: "прячь провода!", "прячь провода!"^[45]

Может быть, физические страдания тоже действовали на нервную систему Желябова, так как он положительно дрожал и коченел от холода, лежа в грязи, мокрый до костей во время работы. Как мы его ни уговаривали не ходить с нами на работу, доказывали, что обойдемся без него... уговорить Желябова было невозможно...

В день проезда 18 ноября 1879 г. Желябов, Тихонов и я выехали в телеге, запряженной двумя лошадьми, (а "Баска" еще раньше уехала из Александровска). Желябов чувствовал себя бодрым, хотя имел вид человека измученного, как бы перенесшего тяжкую болезнь... Мы подъехали к оврагу. Я вынул провода из земли, из-под камня, сделал соединение, включил батарею и, когда царский поезд показался в отдалении, привел в действие спираль Румкорфа и сказал Желябову: "Жарь!". Он сомкнул провода, но взрыва не последовало, хотя спираль Румкорфа продолжала работать исправно...

Желябов был в особенно угнетенном состоянии духом и сказал, что в тот же день уезжает в Харьков... Я начал его просить остаться для того, чтобы выяснить причину, почему не произошло взрыва.

— Здесь взрыв не удался, так удастся в другом месте, — ответил Желябов...^[46]

Сам Андрей Иванович на процессе первомартовцев о покушении под Александровском рассказывал:

— В Харькове были сделаны кой-какие подготовительные работы, но предприятие было решено не так, как показывает Гольденберг, а Исполнительным комитетом 26 августа в Петербурге. Для этого решены были железнодорожные предприятия от Симферополя на Харьков, от Харькова на север к Петербургу и, на юго-западных железных дорогах; выбор места и все остальные планы не могли быть решены 25 августа, но распределение лиц было сделано тогда же. Я — южанин, хорошо знаю местные условия, и по некоторым еще другим соображениям, я хотел

действовать на юге и просил, чтобы мне отвели место в южных предприятиях. В них я был участником. Так, в Александровском, когда оказалась невозможность нападения в Крыму, я отметил железнодорожный путь от Симферополя, наметил путь под Александровском и из Харькова, известил об этом Исполнительный комитет, спрашивая, могу ли я рассчитывать на средства и также на участие. Мне отвечали, что участники есть и что я могу, не стесняясь средствами, начинать. Для цели организовать предприятие я отправился в Харьков, где кроме меня находились Колодкевич и еще некоторые другие члены партии, о которых вы услышите на следующем суде^[47].

Мы должны были обсудить предприятие коллегиально. Письмо мое в Петербург было выражением не только моих личных предположений, но также и их. Ответ Исполнительного комитета был обсужден нами также коллективно. Затем Исполнительный комитет ассигновал средства, назначил агентов, и я с ними вместе, также при содействии новых лиц, Исполнительному комитету неизвестных, и привлеченных на мой страх, таковы были Окладский и Яков Тихонов, отправились устраивать покушение под Александровском. До этих пор я в Александровске никогда не был. По получении ответа от Исполнительного комитета, чтобы начинать, я приехал 1 октября в Александровск из Харькова. День был ярмарочный. В дознании есть показания свидетеля Сагайдака, который указывает обстоятельство моего приезда но, вероятно, он не вызывался в суд потому, что это сведение неинтересно, поэтому и я его не, касаюсь, а скажу только, что, явившись в город с предложением устроить кожевенный, либо мыловаренный завод, или макаронную фабрику, я делал это просто как предлог, в действительности же я приехал, чтобы зондировать почву. Из разговора с свидетелем я узнал, что кожевенный завод будет там уместен, и я на другой же день подал в управу заявление о желании устроить завод и просил об отводе под него земли на аренду... Об этом состоялось постановление городской думы. В промежуток этого времени я съездил в Харьков и вместе с остальными участниками, прибывшими туда, устроился в квартире Бовенка. Это было 7 октября. Я выехал оттуда 23 ноября и за все время вел подготовительные работы, и устройство кожевенного завода ничуть не прекращалось. Затем, обстоятельство закладки мины под Александровском фактически изложено совершенно верно в обвинительном акте и я также подтверждаю это... Может быть, для суда важно, чтобы я подтвердил, что утром 18 ноября я вместе с другими участниками выехал на повозке к мосту, где была заложена мина. Это громаднейший овраг, по отвесу 11 саж., по откосу больше; вот в этом месте

было заложено два снаряда по такому расчету, чтобы они охватывали целый поезд. Нам известно было, сколько вагонов должно быть в царском поезде, и обе эти мины захватывали собою поезд определенного количества вагонов. Итак, утром, 18 ноября, получив ранее извещение от Преснякова о том, что царский поезд выедет такого-то числа, или правильнее сказать, не получив извещения, так как по предшествовавшему уговору, неполучение известия должно было означать, что изменений нет, т. е. что поезд выезжает в день, который был известен нам ранее, — это я указываю потому, что мне придется еще сказать, что Преснякова в Александровске не было; так вот, 18 ноября, судя по признакам, мы не сомневались, что поезд проследует в определенный час, и мы стояли на месте, и хотя внешние признаки поезда заставляли сомневаться, чтобы это был поезд царский, тем не менее под поездом были сомкнуты батареи, согласно тому, как изложено в обвинительном акте. Я замкнул батареи, т. е. соединил токи, но взрыва не последовало. Оттуда мы отправились для кое-каких опытов, чтобы распознать причину невзрыва. Спустя некоторое время мы вынули проводники, а снаряды оставили под рельсами, так как наши техники давали ручательство, что по меньшей мере, в продолжение двух лет взрыва не последует. В то время начались уже заморозки, выпал снег, производить раскопку не было возможности, — снаряды же могли нам пригодиться весной — по всему этому мы их и оставили. В обвинительном акте совершенно верно сказано, согласно показанию Бовенко, что раньше уехала моя хозяйка, затем другие участники, наконец, 23 ноября выехал и я из Александровска. Вот все мои отношения к Александровскому предприятию. Больше я ничего не имею сказать...^[48]

Почему не произошло взрыва? Динамит был домашнего приготовления. Его приготовили в динамитной мастерской "Народной Воли". Мастерскую по производству динамита Исполнительный комитет поручил организовать Степану Ширяеву. Ему же, кажется, первому пришла в голову мысль пустить в дело против царя динамит. Ширяев занялся изучением динамита и потом приступил к его изготовлению, сняв для этого квартиру в Петербурге, в Басковом переулке. Хозяевами динамитной мастерской являлись Исаев и Якимова-Баска. Здесь также работали Лубкин, Иохельсон, Гартман. За июль, август и сентябрь 1879 г. было изготовлено кустарным способом 96 кг. Этим динамитом народовольцы и воспользовались при покушении на царя под Александровском, под Одессой и под Москвой. По отзывам экспертов, производивших анализ взрывчатых веществ, взятых у Гольденберга, динамит отличался высокими качествами и принадлежал к разряду очень "сильных динамитов", будучи

приготовлен "умелыми и способными руками, знающими дело и понимающими людьми"[49].

Неудача произошла не от динамита. Это вполне подтвердил и взрыв 19 ноября под Москвой. Вера Николаевна Фигнер со слов Морозова рассказывает, что Исполнительный комитет назначил комиссию в составе Александра Михайлова, Морозова и Ширяева для выяснения причин неудачи. Желябову предложили показать, как он соединил электроды. Желябов соединил их неправильно. Рассказ этот возбуждает сомнения: соединение электродов не представляет трудностей.

На советском суде Иван Окладский утверждал: взрыва не произошло потому, что один из проводов оказался перебитым, видимо, лопатой. Возможно, что перебил провод случайно один из сторожей. Общественный обвинитель, Феликс Кон, сделал предположение, что проволоку перебил сам Окладский, испугавшись последствий взрыва.

Супруги Бовенко на царском суде в рабочем Тетерке узнали человека, который под именем "Митрича" проживал у ярославского купца Черемисова. Тетерка показал, что он познакомился с Желябовым в 1879 г. в Киеве. Приглашенный им в Александровск, выполнял там разные столярные и хозяйственные работы.

Допрошенный 11 апреля 1880 г. александровский извозчик Николай Сагайдачный показал, что Черемисов расспрашивал его, есть ли кожевенный завод в Александровске и брал его осматривать местность. Он очень шустрый, одет он был в черный бурнус, на голове картуз и по внешнему виду похож на купца.

Бовенко со своей стороны сообщил: — Поселившись у меня Черемисов занимался получением разных бумаг и планов на участок земли, ездил с землемером измерять этот участок, а жена его хозяйничала и сама готовила кушать. Спустя некоторое время после своего приезда Черемисов купил у меня повозку и у еврея Шампанского пару лошадей; он говорил постоянно о предполагаемом устройстве кожевенного завода, высказывал намерение до устройства завода открыть в моем доме шорню...

Видимо, Желябов конспирировал со вкусом и обстоятельно. От того приснопамятного времени остались два документа, недавно опубликованные. Первый — заявление Желябова об отводе земли:

"Желая устроить в г. Александровске кожевенный завод (сыромятного, дубильного и иного кожевенного производства), честь имею просить городскую управу: 1) дозволить мне устройство вышеозначенного завода и 2) отвести для сего около крепости 1 200 кв. сажень, на условиях продажи при продолжении аренды. Тимофей Черемисов".

Второй документ: письмо извозчику Сагайдачному из Москвы, уже после отъезда Черемисова: "Многоуважаемый Николай Афанасьевич! Прежде всего посылаю вам с семейством сердечный поклон и пожелание всего лучшего. Получили вы или нет мое письмо из Тамбова. От вас я не имею никакой вести. Как-то вы поживаете и семейство Ваше. Прошлый раз я писал вам, как устроился на зиму до весны. У свояков без меня дело пошло из рук вон плохо. Стали уговаривать, поведем дело говорят вместе. За управление дают мне одну часть, за капитал другую, а я думаю одного из них перетянуть к вам с собой. Что будет впереди увидим, а пока многоуважаемый Николай Афанасьевич прошу вас отнести прилагаемые 12 руб. в управу за землю мною арендованную. Это — за следующее полугодие. Получите расписку и храните у себя. Маша^[50] кланяется вам и целует Лукерью Ивановну бесчисленное число раз. Через полтора месяца ей предстоит разрешиться от бремени и родные думать не хотят чтобы она ехала на чужую сторону теперь. Сказано бабы. Ну, прощайте, будьте здоровы. Пишите прямо в Тамбов на мое имя, У нас знакомый почтальон. Уважающие вас Тимофей и Марья Черемисовы. Передайте наш поклон Тимофею Родионовичу с супругою. Если квартира нанята с мебелью, пусть будет у них или возьмите к себе.

Лишний рубль детям на гостинцы. Пусть нас не забывают"^[51].

Тут все очень любопытно: и подделка под стиль обычного мещанина, и грамматические ошибки; но еще более любопытно, что Желябов, видимо, имеет какие-то замыслы относительно участка земли; не хотел ли он повторить покушения?

Между прочим, по свидетельству Гольденберга, подтвержденного Теллаловым, динамит из Харькова в Александровск доставил сам Желябов.

Он брался за все и все любил делать собственными руками.

19 ноября в одиннадцатом часу вечера ждали в Москве прибытия двух царских поездов. Но настоящий царский поезд, с царем промчался раньше, в десятом часу. Многие из служащих его приняли за пробный. Царский поезд пролетел с бешеной быстротой, окутанный парами. Утверждали, будто он состоял всего из двух-трех вагонов, Следом за ним в назначенное время проследовал второй поезд. На третьей версте Московско-курской дороги: во время следования этого второго поезда раздался сильный взрыв. Поезд потерпел крушение. Два паровоза и багажный вагон оторвались от состава, еще один багажный вагон перевернулся вверх колесами и восемь вагонов сошли с рельс. Из людей от крушения никто не пострадал. Обнаружили: взрыв произведен посредством мины, заложенной под

полотно дороги. Сажень в двадцати от полотна находился дом; из нижнего этажа его к полотну и был проведен подкоп в виде трехгранной галлерей, по бокам обшитой досками. В верхнем этаже нашли гальваническую батарею и спираль Румкорфа. От батареи спускались провода в галлерею к mine, подложенной под рельсы на глубине около двух сажень. В сарае имелось отверстие для наблюдения.

Путем опроса выяснили: в первой половине сентября у мещанина Кононова неким Сухоруковым был куплен дом. Предварительно выселив из него жильцов, Сухоруков поселился в доме с женой. Нижний этаж он наглухо заколотил. Были привезены доски и железные трубы. К Сухорукову приходили знакомые. После взрыва все они скрылись. Известный уже нам Григорий Гольденберг оговорил участников и этого "предприятия": Сухорукова, студента Гартмана, "жену" его Софью Перовскую, Александра Михайлова, Арончика, Исаева, Баранникова, Гартман успел скрыться за границу. Царское правительство с понятной страстью и нетерпением стало охотиться за участниками взрыва и в частности пыталось добиться у французского правительства выдачи Гартмана для чего посылало в Париж небезызвестного впоследствии Николая Муравьева, который, однако, не преуспел. В работе участвовал и Морозов, но он заболел, и, уезжая, взял "на память" камень, вынутый из стены при подкопе. Соединял гальваническую цепь Ширяев, Перовская наблюдала за прохождением поезда и подавала Ширяеву сигналы.

Об этом подкопе впоследствии с замечательной простотой и мастерством рассказал в своих следственных показаниях Александр Михайлов, судившийся по процессу 20 народовольцев в 1882 году:... Работа производилась со свечей. Влезавший внутрь рыл и отправлял землю наружу на железном листе, который вытаскивали толстой веревкой... Двигаться по галлерее можно было только лежа на животе, или приподнявшись немного на четвереньки. Приходилось просиживать за своей очередной работой внутри галлерей от полутора до трех часов. В день, при работе от 7 часов утра до 9 часов вечера успевали вырывать от 2 до 3 аршин. Работа внутри была утомительна и тяжела по неудобному положению тела, недостатку воздуха и сырости почвы, причем приходилось, для большей свободы движений, находиться там только в двух рубахах, в то время, как работы начались только после 1 октября, и холодная сырость давала себя чувствовать... Входили и выходили таинственные землекопы так, что никогда и никто не видал их лица... Жила эта семья-невидимка весело и дружно. В короткие часы послеобеденного отдыха звучала иногда тихая мелодичная песня о заветных думах народа.

К ноябрю выпал значительный снег и лежал несколько дней... Но настала оттепель, пошел дождь, и вода, образовавшаяся из снега, покрыла землю. Однажды утром приходим мы к подполью и не верим своим глазам: на дне его почти на поларшина воды и далее по всей галлерее такое же море. Перед тем всю ночь лил дождь... Стали мы выкачивать воду ведрами, днем выливали на пол в противоположном углу нижнего этажа, а ночью — выносили на двор. Ведер триста или четыреста вылили мы, а все-таки пол галлерей представлял лужу, вершка на два покрытую водой и грязью... Мы ждали очень печальных последствий. Галлерей пересекала дорогу, по которой ездили в наш и несколько соседних домов с сорокаведерной бочкой воды, с возами дров и досок, и не сегодня, так завтра нога лошади или колесо телеги провалится к нам в галлерей, обнаружит план и завалит работающего внутри... В конце галлерей, не сколько более низком, чем начало, невозможно было выкачать скопившейся, жидкой как вода, грязи, делавшей земляную работу чрезвычайно-трудной. Грунт конца галлерей, подошедший уже под насыпь полотна, стал чрезвычайно рыхл, так что нельзя было рыть даже на полчетверти вперед без обвалов сверху и с боков, чему еще более способствовало сильное сотрясение почвы при проходе поезда. Даже крепленные уже досками своды дрожали, как при землетрясении. Сидя в этом месте галлерей, издали по отчетливому гулу слышишь приближение поезда... Все трепещет вокруг тебя, сидящего прислонясь к доскам, из щелей сыплется земля на голову, в уши, в глаза, пламя свечи колеблется, а между тем, приятно бывало встречать эту грозную пролетающую силу.

... Чтобы как-нибудь избавиться от воды и осушить хотя конец галлерей, мы устроили на сажень от конца плотину и переливали воду за нее. Сверх плотины было оставлено отверстие, через которое можно было только просунуться. Это сделало конец галлерей подобным могиле. Несмотря на вентиляцию, свеча стала с трудом и недолго гореть здесь, воздух стал удушливо тяжелым, движения почти невозможными, а хуже всего то, что и от воды мы не избавились, — она просачивалась через плотину и стояла на четверть глубиной. Мы придумали углублять минную галлерей далее земляным буравом вершка в три в диаметре и через образовавшиеся отверстия продвинуть цилиндрическую мину под рельсы. Для работы им мы влезали в образовавшийся в конце склеп и, лежа по грудь в воде, сверлили, упираясь спиной и шеей в плотину, а ногами в грязь. Работа была медленная, неудобная и... но для полной характеристики я не могу приискать слов. Положение работающего там походило на заживо зарытого, употребляющего нечеловеческие усилия в

борьбе со смертью. Здесь я в первый раз в жизни заглянул ей в холодные очи и к удивлению и удовольствию моему остался спокоен...^[52]

Ольга Любатович вспоминает о Перовской, возвратившейся из Москвы в Петербург после взрыва. По обыкновению Перовская была замкнута и сдержанна, но когда осталась одна с женщинами, "взволнованная, торопливо прерывающимся голосом, стоя с намыленными руками перед умывальником, стала рассказывать, как она из-за мелкой заросли высматривала поезд". Она жалела, что динамиту оказалось мало и что его больше не сосредоточили в Москве^[53].

Хотя Андрей Иванович Желябов, будучи занят непосредственно на юге под Александровском, сам не мог принять участия во взрыве и в подкопе, но на суде 20 народовольцев, где в числе иных дел, разбиралось и дело о взрыве в; Москве, дух Желябова витал и над этим "предприятием". Из пески слова не выкинешь. "Песня" же была общая. В обсуждении и в подготовке взрыва идейное, моральное и руководящее участие Желябова несомненно. Гольденберг, оговаривая участников, ссылаясь на Желябова: по соглашению с Желябовым он взял полтора пуда динамита и выехал в Москву.

Царское правительство после московского взрыва усилило борьбу с народовольцами. Ему удалось схватить, между прочим, Квятковского...

ЖЖЕНКА

Новый, восьмидесятый год встречали пирушкой на заговорщицкой квартире.

Пришел сероглазый плечистый русак Андрей Иванович.

Пришел деловой, неутомимый подпольных дел мастер, полный молодости и сил Михайлов. Он заикается при разговоре, но каждое его слово согрето необычайным вниманием и любовью к товарищам. Это о нем впоследствии Г. В. Плеханов писал: — Он не чувствовал ни тяготы, ни напряжения, а шел свободной, уверенной поступью, как человек вполне знающий куда и зачем он идет. — Теперь его вызвали из Москвы в Петербург после ареста Квятковского. За последнее время Александр Дмитриевич вел упорную борьбу с "широкой русской натурой", преследуя неряшливость, распущенность. Ведь любая оплошность, недоглядка вели к эшафоту!

Пришел нервный со смелым и открытым взглядом Исаев. За его быстрой речью иногда трудно было следить. Вместе с Кибальчицем изготавливал он динамит и снаряды и много преуспел в своем опасном деле.

В противоположность Исаеву высокий, худощавый Колодкевич выглядел необыкновенно солидно. И говорил он кратко и сдержанно, все поглаживая большую бороду. Черные его глаза скрывали темные очки. Колодкевич разыскивался правительством за распространение революционных изданий в Харькове, за организацию "тайного сообщества" среди крестьян Чигиринского уезда, за участие в освобождении из харьковского тюремного замка Фомина, за пропаганду в подпольных кружках, за Липецкий съезд. А кроме того, он недавно приехал из Одессы, где вместе с Фроленко и Лебедевой подготовлял взрыв царского поезда. Удивить, впрочем, кого-нибудь здесь трудно: у каждого из собравшихся подобных дел нисколько не меньше. Взять хотя бы Михаила Федоровича Фроленко. Куда как скромнен этот русский крепыш. А между тем, этот скромник втерся в киевскую тюрьму ключником, приобрел отменным усердием по службе доверие тюремного начальства и благополучно вывел на волю боевых друзей: Дейча, Стефановича и Бохановского. Не мало за ним и других "деяний".

Выделялся худобой Морозов с продолговатым лицом, с шелковистой бородой и усами, в очках. Его вид, тихая, медленная и плавная речь

невольно располагали к себе. Во время массовых арестов по делу чайковцев Морозов бежал за границу; возвращаясь был арестован, судился по процессу 193-х, после чего перешел на нелегальное положение.

Был тут и ловкий хозяин квартиры, где помещалась тайная типография, позднее "заведующий" динамитной мастерской Грачевский.

"Прекрасный пол" тоже не уступал мужчинам. Ровно улыбалась Якимова-Баска, небольшого роста, полная блондинка, с Прядью волос, спадающей на глаза. Кто бы мог подумать, на нее глядя, что недавно она проживала с Андреем Ивановичем под Александровском и собиралась пустить под откос царский поезд!

У черноволосой, круглолицей, с далеко расставленными глазами Лебедевой, сдержанной и серьезной, совсем ^маленькие руки. Неужели это они держали и перевозили динамит и батарею в Одессу? В Одессе Лебедева должна была замкнуть гальванический ток батареи при прохождении поезда.

Мария Николаевна Оловенникова-Ошанина, якобинка, сторонница взглядов Ткачева на захват власти, среди собравшихся являлась, пожалуй, самой "эффектной" женщиной. Эта изящная пышная, подвижная, с прекрасными светскими манерами, дворянка, участвовала в необычайно дерзкой попытке освобождения Войнаральского.

По здоровому лицу Софии Львовны Перовской тоже несколько не видно, что совсем недавно она принимала участие в московском взрыве. Много за ней числится "преступных дел"! В ее пристальном взгляде есть что-то неотразимое, как ро". Говорят, она требовательна, беспощадна, сурова. Говорят, она чертовски умеет собой владеть и скрывать свои истинные чувства. Сегодня ничего этого не заметно. Сегодня ее глаза просты и юны, ее розовые щеки напоминают ребенка. Она не может скрыть восхищения перед Андреем. Потому что Андрей — ее поздняя, ее первая и ее последняя любовь. Суетится Гесья Гельфман, некрасивая смуглянка, с необычайно пышными и черными волосами. Недавно окончился ее двухлетний срок заключения. Живая, веселая по натуре Гесья в Литовском замке сделалась сосредоточенной, временами даже мрачной. Теперь она-хозяйка заговорщицкой квартиры, хранит динамит, хранит снаряды. От динамита — тяжелый запах, болит голова, динамит каждый миг может взорваться. Никто так хорошо, как Гесья, не умеет обращаться с дворниками, с домохозяевами, с околотками и городовыми. Она умеет отводить им глаза. Дел у Геси по самое темя. А Гесья успевает еще почитать, усердно посещает лекции. Недостаток образования сильно ее тяготит. Само собой разумеется, никто другой, как именно смуглянка Гесья, является незаменимой хозяйкой

и распорядительницей на новогодней пирушке. Накормить досыта — доотвала голодных, бездомовных гостей нехитрым угощением, состоящим из колбасы, селедки и разных приправ, — на это она мастерица. Скитания, гибель друзей, тюрьма наложили на Гесю свинцовый отпечаток, — но при случае, среди таких товарищей, как Андрей, как Саша Михайлов, и она не прочь подурачиться, заразительно посмеяться, спеть песню и даже поплясать.

— Какая вы славная хлопотунья, какая вы милая, Гесья! Знаете, у меня аппетит, как у голодного крокодила! Ей-ей! Я могу съесть дом!

— Не улещивайте, Андрей! Раньше срока ничего не получите. Не подбирайтесь к пирожным, все равно не дам!...

С Олей Любатович не так давно случилось неприятное происшествие. Соня сообщила Оле, что у Квятковского будет обыск и его надо предупредить. Оля поспешила к Квятковскому, но опоздала, наткнулась на засаду. Ее взяли. В комнатах валялись медные цилиндры, свертки проволоки, номера "Народной Воля". Целый день Оля дурачила охранников, заливалась слезами, притворялась обморочной, оттягивая время и не давая своего адреса: надеялась, что ее сожитель, Морозов, успеет скрыться. Когда дурачить уже было дольше нельзя, Оля сообщила наобум чужой адрес. Повезли; по указанному адресу проживал генерал, его превосходительство. Еле унесли ноги: превосходительство гневаться изволил. Оля объяснила: она очень боится мужа и потому медлила сообщить адрес. Околоток пригрозил тюрьмой. Пришлось открыться. Когда приехали домой, к ужасу Оли двери открыл Морозов.

— Вашу жену арестовали на квартире московских взрывателей, — заявил околоточный и приступил к обыску. Оля рассказала, как она попала на квартиру взрывателей: она искала портниху и ошиблась дверью. Очень просто.

Морозов шепнул ей:

— Не беспокойся: я был предупрежден и нарочно остался...

После обыска Олю и Морозова полицейские простофили подвергли домашнему аресту, оставив под надзором одного единственного городского. Улучив удобный момент, Оля и Морозов скрылись.

Да, удивить этих людей чем-нибудь героическим трудновато. Каждый из них привык глядеть в глаза смерти, каждый терял лучших боевых друзей, прошел тяжкий путь революционного подполья, неоправданных надежд, наивных, юношеских иллюзий.

...Подпольное одиночество! Как жалко и трусливо ведет себя пресловутое "общество": адвокаты, врачи, ученые, художники! С каким

трудом удастся получить явочную квартиру, ночевку, денежные средства, теплые вещи для заключенных!..

Немного верных людей. Все силы на учете. А в последнее время они все убывают и убывают. Взят Степан Ширяев, превосходный техник по изготовлению динамита; взят Квятковский, один из основателей партии. Взяты видные работники: Зунделевич, Кобылянский, Тихонов, Зубковский, Евгения Фигнер. "Предприятия" по приведению в исполнение смертного приговора над царем покуда неудачны. Столица набита сыщиками, провокаторами, агентами. Дворники следят за каждым жильцом. Повсюду усиленная охрана. Удары правительства делаются все более и более меткими.

Но сломить народовольцев тоже нелегко. Подбор людей хоть куда. Правда, все еще очень молоды. Средний возраст 24–26 лет, но есть и ветераны. Ветераном называет себя Андрей Иванович. Скоро ему исполнится 29 лет. Он — самый старый среди собравшихся; он уже восемь лет как участвует в революционном движении. Срок не малый. Обычно революционер работает два-три года, а часто и того меньше...

Сегодня собрались повеселиться, посмеяться, чокнуться чаркой, вспомнить умерших, замученных, казненных товарищей. Андрей Иванович умеет, когда нужно, скинуть бремя забот. Как влажно и свежо блестят ровные, сильные зубы Андрея, как звучен его баритон, как непринужденны и свободны его движения! Есть в нем что-то от древнего витязя: в этой твердой посадке мужественной головы, в густой, темной бороде, во всей мощной его фигуре. А руки у Андрея маленькие, совсем не крестьянские, аристократические. По веселию, по богатейшему запасу сил сравняться с Андреем может только Михайлов. Писал же Михайлов потом, сидя в каземате и ожидая смертной казни: — "с самых ранних дней моей юности над моей головой блистала счастливая звезда". — Что поделаешь с таким человеком! Впрочем, и среди остальных — тоже немало здоровяков. Нет, эти люди совсем не похожи на неврастенических "бесов" Достоевского! Дорого дали бы царские слуги, чтобы накрыть такую пирушку. Еще дороже заплатил бы за нее сам царь. Она и впрямь удивительная. Собиралась ли когда-нибудь подобная пирушка? Ведь эти люди "одеты камнем", одеты саваном. Они думают о смерти, они делают смерть. А вот же — находят в себе силы отдаться веселью!..

"На круглом столе посредине комнаты поставили чашу (суповую), наполненную кусками сахара, лимона и специй, облитых ромом и вином. Когда ром зажгли и потушили свечи, картина получилась волшебная: трепетное пламя, то вспыхивая, то замирая, освещало суровые лица

обступивших его мужчин; ближе всех к чаше стояли Колодкевич и Желябов; Морозов вынул свой кинжал, за ним другой, третий; их положили, скрестив, на чашу и без предупреждения по внезапному порыву грянул напев известной гайдамацкой песни:

— Гой, не дивуйтесь, добрые люди,
Що на Украине повстанье.

Когда жженка была готова, зажгли снова свечи и разлили по стаканам горячий напиток. Наступил 1880 год. Что сулил он собравшимся, что сулил он России? Когда пробило 12 часов, стали чокаться; кто жал соседу руку, кто обменивался товарищеским поцелуем; все пили за свободу, за родину, все желали, чтобы эта чаша была последнею чашей неволи... Кто-то предложил попробовать спиритическое гаданье; в одну минуту со смехом и шутками наготовили большой лист бумаги, с четкими буквами, перевернули на нее блюдечко и сели за стол. Первым был вызван дух императора Николая I, его спросили, какою смертью умрет его сын, Александр II. Блюдечко долго неопределенно блуждало и, наконец, получился странный ответ — от отравы... Этот ответ расколодил всех, показался лишенным всякого вероятия, так как некоторые из присутствующих знали, что готовится дворцовый взрыв, а всем вообще было известно, что яд не был тем оружием, (которое употребляла бы организация Исполнительного комитета "Народной Воли". Гаданье бросили. Кто-то запел опять малороссийскую песню, другие пробовали напевать революционную молитву польскую, — и, наконец, все вместе — французскую марсельезу. Так прошел вечер..."^[54]

Глубока зимняя, синяя петербургская ночь. Окована гранитом, окована льдами широкая Нева. Мрачно, злоеще вонзается в небо шпиль Петропавловской крепости. Еще мрачнее, злоещей оседают низко в воды бастионы крепости. Сыры казематы Алексеевского равелина, темны... Влажный пол, стены покрыты плесенью... Холод... безнадежность. Узника здесь сторожат: цынга, чахотка, ревматизмы, сума-шествие. Многие не выживают здесь больше двух лет. В казематах сидят не заключенные, не пленники, сидят пытаемые. Сухая гильотина.

Нависли каменные громады дворцов, правительств венных зданий, департаментов, министерств, казарм, тюрем. Звонко цокают копытами откормленных лошадей военные и полицейские дозоры. Серебрится пыль на драгунских, на гусарских шинелях... Бородатые дворники и лакеи

низкими поклонами провожают именитых гостей с новогодних встреч... Все прочно, нерушимо... Неужели и в самом деле эти группы отщепенцев серьезно надеются подорвать древний, богом и церковью освященный порядок? Смешные люди! Безумные люди!

Смело, друзья, не теряйте
Бодрость в неравном бою.
Родину-мать вы спасайте,
Честь и свободу свою.

Поют про дикий утес на Волге Степана Тимофеевича, про нищету народную и горе. Вспомнутся эти песни, эти товарищеские пирушки при звоне кандалов, в грязных, вонючих этапках, вспомнутся и в час предсмертной тоски и томления.

Расходились по одиночке, не сразу. И каждый тщательно следил, не привязался ли к нему агент охраны...

Предатель Меркулов на царском суде в угоду живодерам и вешателям лгал:

— ...всеми путями старались привлечь рабочих и простолюдинов к участию в предприятиях партии; с этой целью устраивали пирушки, угощали водкой, давали денег, приглашали женщин...

На это рабочий Тетерка ответил:

— Неправда... Ничего этого не было. Людям, благодаря которым я попал в партию, я, несмотря на грозящую мне ответственность, буду всегда благодарен.

Он не стерпел и ударил Меркулова по щеке.

Прокурор Николай Муравьев, набрасывая своею речью петлю на подсудимых, поднял клевету:

— Пускалось в ход все: и пирушки, и катанья, и всякие угощенья... — Он не постеснялся сказать это, но тут же был вынужден признать:

— Они, надо им отдать справедливость, больше заботятся о будущем своего сообщества, чем о самих себе...

Клевету о попойках, к несчастью, к позору повторили и некоторые наши отечественные писатели высокого художественного ранга (Достоевский, Лесков и др.). Всем им превосходно ответил еще Герцен:

...Наш небольшой кружок собирался часто то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний; каждый

передавал прочитанное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попало бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем. Вот этот характер наших сходов не понимали тупые педанты и тяжелые школяры. Они видели мясы и бутылки, но другого ничего не видали... Мы не были монахи, мы жили во все стороны и, сидя за столом, побольше развились и сделали не меньше, чем эти постные труженики, капающие на заднем дворе науки... Ни вас, друзья мои, ни того ясного, славного времени я не дам в обиду; я об нем вспоминаю больше, чем с любовью, — чуть ли не с завистью... ^[55]

Надо, однако, оговориться: "мясов" и бутылок на пирушках народовольцев было куда меньше, чем на столах Герцена и его друзей.

Есть и еще рассказ о другой народовольческой пирушке:

...Не знаю, кто задумал этот вечер, но Желябов был там главный распорядитель. Приглашенные явились бог знает куда, на край города. Погода стояла убийственная: ветер, метель. Но внутри было шумно. "Господа, сегодня вечер без дел", предупреждали распорядители каждого и, действительно, просто не давали пикнуть о "деле"... Заботливая хозяйка заготовила всякое угощение. Гости тоже приносили — кто бутылку вина, кто пирог, кто еще что-нибудь. Желябов превзошел себя. Он появлялся во всех комнатах, поддерживал разговор, не допускал оставаться задумчивою ни одной физиономии, угощал, затевал песни, танцы, заставлял каждого развертывать свои таланты.

Памятный вечер. Здесь были, между прочим, и Кибальчич, Н. Саблин, С. Перовская и еще десятка полтора лиц. На всех напало какое-то страшное веселье. Многие знали, что наверное не выйдет уже в жизни такого вечера. Господи, как мы только ни дурачились! Н. Саблин, неподражаемый рассказчик, морил нас со смеху своими анекдотами. Стали петь. Давно уже не певали радикалы! Дружно раздалось:

Звучит труба призывная,
С радостью в бой мы идем...

Пели и без тенденции. Потом стали танцевать, пародируя "настоящий" бал. Желябов торжественно открыл бал и затем не пропустил ни одной дамы. Танцы начались кадрилию и лансье, а закончились ужасающим трепаком. Желябов и Саблин оба замечательно танцевали, так что,

несмотря на новый год, несмотря на то, что девять десятых Петербурга было в этот момент пьяно-распьяно, нижние жильцы все-таки пришли узнать, что такое у нас происходит. Веселый ужин с тостами за революцию, за смерть тиранам и т. д. закончил наш вечер и затянулся до белого дня... Никто не веселился в подобных случаях искреннее и беззаветнее Желябова. ("А. И. Желябов").

Было это в новый 1881 год, накануне 1 марта, когда "подготовка" находилась в полном разгаре.

БЛАГОНРАВНЫЙ СЛЕСАРЬ

В октябре 1879 г. в Зимний дворец поступил слесарь Батышков. Поступить во дворец, понятно, было трудно, но Батышков пришелся по нраву немцу, поставщику рабочих для императорского двора. Слесарь был молод, красив, ростом высок, в обращении обходителен, даже застенчив, в ремесле усерден и аккуратен. Держался с людьми слесарь вежливо и почтительно. Вместе с ним, для надзора, в том же подвале, жил старик жандарм. Ему, как и немцу, приглянулся тихий, и добродушный малый. У старика была дочь, и он решил, что не худо бы ее выдать за дельного и работающего слесаря, о чем сперва стороной и туманно, а потом уже и более прямо и прозрачно рачительный папаша заводил с молодым парнем разговоры. Парень, кажется, был и сам не прочь породниться со стариком: лестно ведь простому человеку иметь своим тестем заслуженного жандарма, да еще из дворцовой охраны его величества. Однако с женитьбой он не торопился. В женитьбе лучше поступать по русской пословице: семь раз отмерь, а один раз отрежь. Старик-жандарм от своих видов на слесаря не отказывался, но тут случилось совершенно необыкновенное происшествие. 5 февраля 1880 г., в седьмом часу вечера, во дворце должен был состояться царский обед с участием "его высочества" принца Гессенского. "Его императорское величество изволили проследовать" в парадных одеждах и в соответственных регалиях в малый зал навстречу высокому гостю. И вот в это самое время во дворце раздался немыслимый грохот. Произошел взрыв, коим было разрушено помещение главного караула под столовой; пострадали также и смежные помещения. Пол в столовой, где предполагался торжественный и обильный обед, тоже был затронут взрывом. Из состава главного караула было убито на месте 10 человек и ранено 33 человека, сам же "венценосный вождь" с семьей остался невредим.

Взрыв произошел из подвального помещения. Благонравный и искусный слесарь неизвестно куда скрылся и впоследствии обнаружился, как нигилист, социалист и террорист Степан Халтурин, крестьянин Вятской губернии, по происхождению и слесарь по мастерству. Среди народников и многих рабочих он пользовался уважением и известностью и являлся одним из главных основателей "Северно-русского рабочего союза". Во многом Халтурин перерос народовольцев. Он, например, не

переоценивал крестьянской общины. Плеханов, который, кстати сказать, свел Халтурина с Андреем Ивановичем Желябовым, однажды изложил Степану содержание некоей народнической книги об общинном землепользовании; Халтурин с недоумением заметил: "неужели это так, действительно, важно?"

Он помышлял о создании самостоятельной рабочей партии в России, о всеобщей стачке в Петербурге, но, полагая, что революционной работе среди крестьян и рабочих царизм ставит непреодолимые препятствия, примкнул к народовольцам. Поступив слесарем в Зимний дворец, Халтурин изучил расположение комнат и зал. Сначала, до приезда царя из Крыма, Халтурин сравнительно легко производил разведку. Дворцовое управление было сильно распущено; прислуга пьянствовала, приводила во дворец посторонних лиц. Воровали в открытую, и Халтурину, чтобы не выделиться, тоже приходилось воровать. Порядки эти круто изменились, когда царь возвратился и произошел взрыв поезда под Москвой. Повсюду стали искать взрывателей. Арестовали Квятковского, одного из тройки Распорядительной комиссии исполнительного комитета. У него обнаружили динамит, приспособления для мин и план той части Зимнего дворца, где находилась помянутая столовая. Помещения дворца стали подвергаться тщательным осмотрам. Ввели систему неожиданных обысков. Отлучки строго отмечались. Служащих дворца, когда они возвращались из города, тоже обыскивали. Халтурин проносил динамит понемногу, частями, в кульках, под видом сахара; хранил его под подушкой и в подушке. От динамита исходили ядовитые испарения и у чахоточного и нервного Степана сильно болела голова. Когда динамиту накопилось изрядно, Халтурин стал складывать его в сундук около капитальной стены. Сундук и явился миной. Динамит и запалы приготавливались техником Исаевым. После ареста Квятковского сношения Халтурина с Исполнительным комитетом велись через Андрея Ивановича. Встречались они урывками, в глухих переулках, на площади, в пивных, — торопливо передавали друг другу нужное и расходились. Говорят, что однажды свидетелем их свидания был случайно Достоевский. Дело подвигалось медленно. Обыски мешали ускорению взрыва. Сколько раз Степану грозила опасность быть открытым! Желябов, которого трудно было удивить, даже и он поражался выдержке больного пролетария.

Желябов стремился, чтобы жертв при взрыве было возможно меньше; он говорил, что не надо слишком много закладывать динамиту. Халтурин, наоборот, полагал, что нужно действовать наверняка и динамита не жалеть, но ему пришлось уступать представителю Исполнительного комитета,

Надо было торопиться. Хотя Степана пока еще не заподозривали, но при постоянных обысках помещения могли обнаружить мину.

5 февраля Халтурин, встретившись на явке с Желябовым, обычным тоном произнес: готово! Скоро раздался взрыв. Огни во дворце потухли. На улицах началась паника. Впоследствии Халтурин очень жалел, что восторжествовало мнение Андрея и что динамиту было заложено слишком мало. Он даже заболел от неудачи.

...— Не удалось здесь... удастся в другом месте!..

Взрыв все же имел огромный резонанс. Взрыватели проникли в Зимний дворец! Они живут около самого царя! Что смотрит всесильное III отделение? Что делают сыщики, полиция? Царь поспешил объявить "диктатуру сердца", призвав к власти Лорис-Меликова и наделив его необычайными полномочиями. Для более успешной борьбы с крамолой была учреждена Верховная распорядительная комиссия. Лорис-Меликов начал заигрывать с т. я. "обществом", давая неопределенные либеральные посулы. В то же время он усилил борьбу с революционерами. "Народной Воле" была объявлена война не на живот, а на смерть. Наблюдали за каждым домом, заглядывали в окна. То и дело хватали "подозрительных личностей". Реакционная пресса неистовствовала.

Авторитет "Народной Воли" возрос. Зарубежные газеты впервые стали отзываться о революционной партии в России с уважением, со страхом и ненавистью, с любовью и надеждой. Напряженно следили за неравным единоборством. 18 марта 1882 г. Халтурин вместе с Желваковым предприняли убийство прокурора Стрельникова в Одессе. Защищая Желвакова от преследования, Халтурин был вместе с ним схвачен и казнен.

ВОЛЬНОЕ СЛОВО

Еще в 1877 г. Зунделевич, Аарон Исакович, близкий не столько к народникам, сколько к западно-европейским социал-демократам, контрабандою перевез из-за границы типографские принадлежности и устроил в Петербурге первую подпольную типографию. Зунделевич был пионером вольного слова в России. С тех пор, несмотря ни на какие преследования, правда, с перерывами, вольное слово продолжало звучать; выходили воззвания, заявления, обозрения, листки, журналы. Подпольные печатни существовали теперь не за границей, а по соседству с жандармскими управлениями. Когда возникла "Народная Воля", Исполнительный комитет поспешил открыть свою типографию, и в октябре 1879 г. вышел первый номер "обозрения". До какой степени были обескуражены власти этим выходом, можно судить по тому, что петербургский градоначальник срочно собрал своих приставов и пригрозил: если подпольная типография будет открыта без участия их, то те, у кого в районе ее арестуют, понесут весьма строгое взыскание по службе. Петербург разбили на участки, в каждом из них сидел особый агент. Ходили и прислушивались на улицах к стукам и шумам в домах. А "Народная Воля" продолжала выходить. Третье отделение созвало особую комиссию экспертов из владельцев и заведующих типографиями. Отдав должное мастерству подпольных типографов, комиссия заключила, что бумага заграничная. На самом деле, газета печаталась на обычной, почтовой бумаге, только ее предварительно мочили в воде. Работниками в этой типографии на Саперном переулке были Бух, Цукерман, Иванова, Грязнова, Лубкин (Пташка). Непоседливый, общительный, веселый типографский рабочий Лазарь Цукерман уравнивался молчаливым и сосредоточенным Бухом; Пташка — Абрам отличался необычайной молчаливостью, скромностью и тихим упорством. Грязнова, девушка, лет 24, исполняла обязанности домашней работницы, Иванова, дочь майора, привлекалась по ряду дел.

Порядки в вольной типографии отличались строгостью. Цукерман и Пташка не были прописаны и находились в добровольном заключении. Лишь однажды в неделю, когда приходили полотеры, им разрешалось со всякими предосторожностями выходить на прогулку. Работникам запрещалась всякая переписка с родными и знакомыми, сношения с

посторонними лицами, посещение собраний, концертов, театра. При выходах и возвращениях строжайшим образом надо было следить, не увязался ли шпион. Тяжелые типографские принадлежности прятались в большой стенной шкаф. Комнаты подметались со всей тщательностью, чтобы случайно упавшая свинцовая буква Не навела на след. Работа производилась без шума. Изредка в типографию заходил по делам Кибальчич. Квятковский являлся посредником между типографией и Исполнительным комитетом. После его ареста заходил сюда и Андрей Иванович Желябов, будучи в курсе главных типографских работ.

В ночь с 16 на 17 января 1880 г. по оплошности Квятковского типография подверглась нашествию полиции. Когда раздался ночной звонок и обитатели догадались, что пришли их взять, Иванова крикнула, чтобы охранников задержали, пока не будут уничтожены важные бумаги. Абрам (Пташка) бросился с револьвером в переднюю, одним выстрелом отогнал полицию и со стороны парадного подъезда и со стороны кухни, куда тоже ломились охранники. Пристав Миллер, бежав, отправился в жандармские казармы за подкреплением. Народовольцы разбили стекла в крайнем сигнальном окне, чтобы предупредить товарищей, потом стали поспешно жечь документы. Жгли донесения Клеточникова, паспортные бланки, рукописи. Пылали два костра. Из Литейной части там временем приехали пожарные. Чтобы задержать полицию сделали еще три выстрела. С бумагами успели покончить. Полицейские и дворники, укрывшись, ждали помощи. Когда она подоспела, осаждавшие, вооруженные холодным и горячим оружием и даже поленьями, несмотря на крики: "Сдаемся", — беспрерывно и куда попало стреляя, вломились в помещение, свалили на пол жильцов, связали, били их саблями, каблуками, кулачищами. Молчаливый Абрам, забежав в одну из комнат, выстрелил себе в висок из револьвера, но после первого выстрела не потерял еще сознания; тогда он взял револьвер за конец дула, приложил его опять к виску с раной, и, дав дулу другое направление, выстрелил в себя еще раз^[56].

Так защищали революционное слово эти безвестные тогда люди! За слово платили железом и кровью, железом, кровью и жизнью!..

После ареста пристав Миллер утверждал, будто он первым ворвался в помещение. На самом деле он первым бежал после первого же выстрела.

Любатович, часто бывавшая с Морозовым в типографии, сообщает:

— Судьба спасла нас. О гибели типографии при шел сообщить нам Желябов... Я из окна заметила высокую фигуру Желябова, всматривавшегося почему-то слишком внимательно в наш знак. Я подошла к окну, чтобы рассеять его сомнения, и он вошел к нам. Он был, видимо,

взволнован. Горе наше было велико, когда мы узнали об участии типографии "Народной Воли", об аресте всех, о вооруженном сопротивлении и о смерти Пташки. Желябов с опаской шел к нам, думая, не проследили ли и нас...^[57]

Без промедлений Исполнительный комитет организовал другую типографию на Подольской улице, в доме № 11. Здесь хозяевами были Кибальчич и П. С. Ивановская под фамилией Агаческуловых. Проживала с ними также Людмила Терентьева, помогали Исаев, Грачевский, Баранников, Михайлов.

Типография, как и в Саперном переулке, не отличалась сложностью. Станок — стальная рама с цинковым дном. Гранки вдвигались в этот станок и закреплялись винтами. Краску накладывали на грифельную доску и растирали валиком. Валик прокатывали по шрифту. На смазанный шрифт накладывался лист бумаги, по ней проводили другим валиком, более тяжелым, покрытым сукном. Вот и все. За час успевали сделать 50–60 листов.

Набирали мятежные статьи и призывы. Списки арестованных, заключенных, повешенных, расстрелянных. Набирали слова "прекрасные, горькие и жестокие", слова возмездия и отмщения, слова новой правды, новой благой вести.

Работали с револьвером в кармане, с кинжалом за поясом, охраняемые метательными снарядами.

П. С. Ивановская, послужившая немало тайной народовольческой печатне, рассказывает:

... Всегда освежающим душем в промежутке между только что оконченной и началом новой работы было вечернее, немножко таинственное, осторожное посещение квартиры С. Л. Перовской. Они с Желябовым жили недалеко от нашей резиденции, поэтому принимались разные хитрости, чтобы не оставить каких-нибудь следов этих посещений. С. Л. встречала нас всегда ласково, приветливо, как будто не она нам, а мы ей принесли освежающие мысли и новости. С большим вниманием и искренней непринужденностью она помогала нам разбираться в повседневной сложной путанице и шатании общественного настроения. Рассказывала она и про работу и занятия среди рабочих, и о кружках и организациях. Говорила С. Л. спокойно, без малейшей сентиментальности^[58].

Несмотря на усталость, на перегруженность боевыми, организационными, пропагандистскими делами, Андрей Иванович улучал

время заглянуть в подпольную типографию, принимал близкое участие в ее работе и в жизни своеобразных печатников, исполнял относящиеся к типографии поручения Исполнительного комитета, поддерживал дружеские отношения поборниками вольного слова. Та же П. С. Ивановская сообщает:

— Каждый приход в нашу типографию А. И. Желябова, с которым Лилочка (Л. Терентьева — А. В.) была хорошо знакома еще в Одессе, она настойчиво просила его дать ей место среди "действующих"... Проводив А. И. Желябова, она, молчаливая, долго ходила по комнате, тихо, напевая одну из любимых своих песенок, и потом, закинув руки на голову, думала вслух: — Я бы хотела с ними вместе умереть... [\[59\]](#)

Желябов придавал огромное значение революционной печати. Будучи одним из главных организаторов "Рабочей газеты", он оборудовал для нее особую типографию. Сотрудникам "Рабочей газеты" Франжоли, Коковскому и другим Андрей Иванович давал советы, что надо писать общедоступно, простым, понятным языком.

"Рабочая газета" вышла в количестве трех номеров.

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Весной 1880 г. Софья Львовна Перовская появилась в Одессе вместе с Саблиным. В Одессе в то время работала Вера Николаевна Фигнер, занятая подготовкой покушения на графа Тотлебена. Следом за Перовской и Саблиным приехали Якимова-Баска и Исаев, прибывшие нашли рабочего Меркулова и Льва Златопольского, Перовская и Саблин, уманьские мещане по паспортам, сняли на Итальянской улице, № 47, лавку, в которой открыли бакалейную торговлю. В лавке вырыли яму. Были получены сведения, что царь скоро через Одессу "проследует" в Крым. Заговорщики рассчитали: по прибытии в Одессу Александр II всего вероятнее от вокзала поедет к паровой пристани именно по Итальянской улице. Златопольский приобрел бурав и несколько водопроводных труб. Земляные работы с самого начала пошли неудачно. Работать можно было только ночью, днем в лавку заходили покупатели. Бурав забивался глиной, потом едва не вылез наружу. Технику Исаеву во время химических работ оторвало при случайном взрыве три пальца, он должен был лечь в больницу. Землю носили в кулях, в узлах, в корзинах на квартиру Веры Николаевны^[60].

Обнаружилось, что царь уже прибыл в Одессу и за короткий срок провести подкоп и заложить мину не удастся. Колодезь в лавке засыпали, бурав и другие орудия по производству земляных работ спрятали, участники предприятия разъехались.

Следы Желябова были и здесь. Софья Львовна приехала в Одессу с письмом Желябова к рабочему Меркулову. Меркулова привлек в партию Андрей Иванович. Впоследствии арестованный Меркулов стал оговаривать и предавать всех, кого знал. В частности, по его указанию в 1883 г. на улице была взята и Вера Фигнер. Этот Меркулов, утверждая, что его "увлек Желябов", раскрыл дело о подкопе на Итальянской улице.

Он сообщил также властям о другом, более позднем "предприятии", в котором Андрей Иванович принимал уже главное участие. Катаясь летом на лодке по Неве вместе с Желябовым, Пресняковым, Грачевским, Баранниковым, Александром Михайловым и Тетеркой, он, Василий Меркулов, узнал, что под одним из петербургских мостов "злоумышленники" намереваются подложить мину "с целью посягнуть на жизнь государя императора". Спустя несколько дней на явке близ Михайловского сада Меркулов встретил Александра Михайлова. К

явочному месту прибыли на лодке Желябов, Тетерка и Баранников. Баранников вручил Меркулову два пятилапных якоря. Тетерка сказал Меркулову, что они извлекли динамит из-под моста по Гороховой улице.

Далее "дознанием" выяснилось: действительно, летом предполагалось взорвать Каменный мост во время проезда царя. Рабочий Тетерка, тоже привлеченный в партию Андреем Ивановичем, однажды от "неизвестного" ему человека получил корзину и в ней завернутую в рогожу гуттаперчевую подушку весом около 2 пудов. Тетерка свез "подушку" в Петровский парк; там его ожидали Желябов и Пресняков. Усевшись в лодку, они проплыли в Екатерининский канал. На дне лодки лежала другая гуттаперчевая подушка. Под Каменным мостом таинственные подушки были связаны веревками, проволокой и погружены в воду; проволоки проводников прикрепили к плотам, где прачки полоскали белье. "По состоявшемуся между участниками преступления соглашению" "подушки" предполагал взорвать Желябов с помощью Тетерки, когда "царь-освободитель" будет проезжать через мост. В означенное время Тетерка и Желябов с картофелем в корзине должны были сойти к плоту, где они раньше прикрепили провода; под видом промывки картофеля Желябов намеревался соединить провода с батареей. Но Тетерка во время не явился: он опоздал потому, что у него не оказалось часов, а царь в тот же день уехал в Крым, в Ливадию.

Нечего и говорить, насколько это было наглое "злоумышление": "злодей" Желябов и его сподручные закладывали мины в центре столицы, среди бела дня, на виду у всех, нисколько не обращая внимания, что повсюду шныряли шпионы и были расставлены пешие и конные городовые, жандармы, околотки, коим вменялось в строжайшую обязанность глядеть в оба и пресекать крамолу даже в малейших ее проявлениях. Поведение Желябова и его друзей являлось прямым вызовом и издевкой над верными слугами царю, отечеству и церкви.

На суде Василий Меркулов доносил:

— Кроме мины под Каменным мостом, это предприятие должно было быть обставлено еще и метальщиками, которые с заготовленными снарядами должны были находиться возле моста, на случай неудачи главного взрыва под мостом. Таких метальщиков, сколько я помню, должно было быть четыре, и Михайлову предназначалось заведывание ими и размещение их на назначенных постах. У него самого снаряд должен был быть вделан в высокую шляпу, так, чтобы он взорвался, когда Михайлов при проезде государя бросил бы вверх шляпу... [\[61\]](#)

Этих сведений Александр Михайлов не подтвердил, заявив, что непосредственного участия в деле не принимал, но о приготовлениях ко

взрыву был осведомлен.

Спустя несколько дней после отъезда в Крым царя Желябов с товарищами отправились ночью извлекать из канала "подушки", но это им не удалось: кошки-якоря не захватывали "подушек" лапами, и только 4 и 6 июня 1881 г. их нашли жандармы. Подушек оказалось четыре, начиненных черным динамитом; весили они около 7 пудов. Обнаружили их с большим трудом: "подушки" отнесло далеко течением. По отзывам экспертов приготовлены мины были тщательно; динамит, несмотря на долгое пребывание в воде, превосходно сохранился. Неизвестным, передававшим динамит Тетерке, оказался "привлеченный к настоящему делу" Григорий Исаев, динамитный техник "Народной Воли". Правительственные похвалы должны быть отнесены к нему и к Кибальчичу.

Не в добрый час Андрей Иванович привлек Меркулова в партию. Еще одно "предприятие" раскрыл властям этот предатель.

Дело было в декабре 1880 г. В Кишиневе во флигеле, близ губернского казначейства, поселились супруги Мироненко. Они повели скромный и уединенный образ жизни, чем и обратили внимание на себя полиции. В качестве домашней работницы у супругов Мироненко проживала женщина, совсем не прописанная. "Паспорта Мироненко были осмотрены полицией". Супруги, очевидно, почуяв недоброе, скрылись, хотя квартира ими была снята на целый год. После их отъезда, при осмотре, обнаружили: в одной из комнат квартиры пол был подрезан и был уже начат подкоп под казначейство, засыпанный свежей землей. На февральском суде народовольцев в 1882 г. власти окончательно выяснили, что супругами Мироненко именовались Михаил Фроленко и Татьяна Лебедева, домашней работницей у них была "Ганька", Антонина Лисовская. По этому делу Меркулов далее показал: в декабре 1880 г. он по поручению Желябова отправился с Фроленко и Лебедевой в Кишинев, где и принял участие в подкопе под казначейство. Прокурор Муравьев твердил на суде со страхом, хотя Андрей Иванович был уже казнен: — Главный деятель — Желябов... Дух Андрея Ивановича продолжал тревожить будущего министра юстиции, "заработавшего" себе повышение удушением народовольцев.

НЕЧАЕВ И ЖЕЛЯБОВ

Некоторые события тех незапамятных времен звучат легендой, до того они на первый взгляд неправдоподобны.

В 1871 г., как уже упоминалось, прогремел нечаевский процесс. Нечаев выступил среди молодежи представителем комитета "Народной Расправы".

"Народной Расправы" в действительности не существовало. Нечаев мистифицировал товарищей, проповедывал, что в недалеком будущем произойдет сокрушительная революция и что для ее приближения надо самым широким образом применить террор. Благодаря необычайной энергии, умению подчинять себе окружающих Нечаеву удалось составить значительный для того времени кружок, куда, между прочим, вошел Иванов, студент Петровской академии. В конце 1869 г. Иванов по настоянию Нечаева был убит за то, что отказался ему подчиниться и намеревался выйти из организации. Это убийство раскрыло организацию. Арестованные нечаевцы были приговорены к каторжным работам. Сам Нечаев бежал в Швейцарию, был выдан царскому правительству в качестве уголовного преступника, осужден на 20 лет и помещен в Алексеевский равелин.

Прошло около 10 лет. О судьбе Нечаева в революционной среде ничего не знали: где он, жив ли он. В начале 1881 г. Исполнительный комитет неожиданно получил от Нечаева из равелина письмо. Без лишних слов Нечаев просил Исполнительный комитет освободить его. Завязалась переписка. Нечаев подробно рассказал о днях своего заключения. Жизнь его была необычайна. Нечаева поместили в полутемную и сырую камеру. Он выдержал. На третий год заключения его посетил шеф жандармов Потапов, предложил сделаться предателем. Нечаев ответил пощечиной. Его избили, опутали цепями по рукам и ногам и сверх того приковали к стене. Это сообщили народовольцам служащие равелина. За обращение к царю Нечаев был лишен письменных принадлежностей и книг. Он выдержал. С самого начала заключения Нечаева поместили рядом с "таинственным узником", сумасшедшим Шевичем-Бейдеманом. И днем и ночью Нечаев слышал дикие вопли и крики несчастного. Пища заключенных была очень скудная, лишенная свежей растительности. Он и это выдержал. Наконец, цепи сняли, надзор ослабили, стали немного лучше питать. И вот

заключенный мало-помалу начинает сходиться с тюремной стражей. Тюремщикам строго-настрого запрещалось вступать с узниками в разговоры, даже отвечать на самые простые, житейские вопросы. Нечаев заставил слушать себя, заставил отвечать. Он говорил о страданиях в тюрьме, будил совесть, ум. Он рассказывал, что такое российское самовластие, разъяснял сущность современных порядков, входил в бытовые, в семейные мелочи жизни тюремщиков. Ему удалось обзавестись надежными и преданными людьми. Он не стеснялся мистифицировать и их, уверяя, что принадлежит к партии наследника, которая добивается и непременно добьется свержения Александра II. Тюремная стража верила каждому слову Нечаева; его называли — "наш орел". Нечаев сплотил около себя до 40 с лишним человек. Когда в ноябре 1880 г. в Алексеевский равелин заключили народовольца Степана Ширяева, Нечаев с его помощью, пользуясь своими верными людьми, вступил в переписку с Исполнительным комитетом. Он добивался не только своего освобождения. Планы Нечаева были грандиозны: он хотел захватить царя. Царская Фамилия иногда посещала Петропавловский собор. Нечаев предлагал овладеть крепостью, арестовать царя, возвести на престол наследника. Он думал, опираясь на свою стражу и на Исполнительный комитет, увлечь за собою гарнизон крепости. Таков был этот удивительный человек, страстный заговорщик, нигде никогда не терявший надежды на захват власти, сумевший подчинить себе стражу Петропавловской крепости.

Между прочим, Нечаев имел в виду выпустить подложный царский манифест; в нем царь "признает за благо" возратить крестьян помещикам, увеличить срок службы солдатам и так далее. В то же время предполагалось разослать духовенству секретный указ святейшего синода:

"Всемогущему богу угодно было послать России тяжелое испытание: новый император Александр III заболел недугом помешательства и впал в неразумие". — Далее Нечаев считал необходимым от имени Великого земского собора издать особое обращение с призывом приступить к немедленному переделу земли и освободить солдат от службы. Помещиков и представителей, власти, которые всему этому будут противиться, а также полицейских предписывалось "немедленно предавать смерти".

Десять лет Алексеевского равелина ни в чем "не исправили" неутомимого заговорщика.

Исполнительный комитет "плана" не одобрил, но решил попытаться освободить Нечаева и других заключенных в крепости. Переговоры с Нечаевым велись через Андрея Ивановича. Кроме него, в переписке принимали участие Перовская, Франжоли, Арончик.

Освобождение Нечаева и других товарищей осложнялось тем, что силы Комитета были брошены на исполнение, приговора над царем.

"Вестник Народной Воли" утверждает: "Нечаеву и Ширяеву было предоставлено самим решить, какое из двух предприятий ставить на первую очередь, и они подали свои голоса за покушение на царя, несмотря на то, что Желябов уже лично осмотрел рavelин и признал побег, при хорошей помощи извне, не только осуществимым, но даже не особенно трудным. Отказываясь от свободы, Нечаев имел деликатность в обоих письмах сохранить самый веселый тон и усиленно доказывал, что дело их, заключенных, ничего не проиграет от отсрочки, хотя сам Желябов был уверен в противном и нет сомнения, что такой ловкий человек, как Нечаев, должен был прекрасно понимать всю справедливость опасений Желябова"^[62].

"Вестник" сообщает далее, что Нечаев особо ценил Желябова и выдвигал его на пост революционного диктатора, несомненно обнаруживая в этом замечательную прозорливость, Редакция "Былого" к этому сообщению сделала примечание: "лицо очень близко знавшее тогдашние дела Исполнительного комитета, с уверенностью передавало нам, что Желябов видел даже Нечаева и лично говорил с ним". Под очень близким лицом редакция подразумевала Льва Тихомирова, автора заметок о Нечаеве в "Вестнике". Очень хотелось бы поверить в это свидание двух исключительных заговорщиков. Воображение невольно создает картины, как с помощью тюремщиков Желябов пробирается в рavelин, как ведут между собой беседу эти неугомонные, бесстрашные, на все готовые подпольщики. К сожалению, против свидетельства Тихомирова имеются возражения. В. Н. Фигнер утверждает, что все это — выдумка: Исполнительный комитет не мог предоставить Нечаеву и Ширяеву права решить, довести ли до конца тираноборство, или заняться освобождением заключенных из крепости. Желябова тоже не могли уполномочить отдаться освобождению Нечаева: он был занят подкопом на Садовой, и предполагалось, что он явится одним из непосредственных участников цареубийства. По словам В. Н. Фигнер, Корба-Прибылева, Якимова, Фроленко, члены Исполнительного комитета, тоже не подтверждают рассказа Льва Тихомирова. На это исследователь-историк П. Е. Щеголев, со своей стороны, считает нужным заметить, что возражение Веры Николаевны — от формальной логики, а не от фактической действительности, полной иногда невероятных противоречий^[63].

По этому поводу следует сказать, что Лев Тихомиров состоял членом

Распорядительной комиссии, верховной тройки, и был в курсе самых заговорщицких предприятий. Проникнуть в крепость, понятно, дело исключительной трудности, но дело возможное, если возможны были такие люди, как Желябов и Нечаев, — если возможно было Нечаеву привлечь на свою сторону тюремную стражу крепости. Однако во избежание неточностей вопрос лучше оставить открытым. Пусть рассказ о личном свидании Желябова с Нечаевым — легенда. По-своему это легенда тоже чрезвычайно показательна для той поры. Во всяком случае, Желябов и Нечаев находились в деятельной переписке.

Нечаев был старше Желябова только на четыре года. Почти одновременно начали они свою революционную деятельность.

Оба — заговорщики. Для обоих революция — высший закон.

Но Нечаев остался кружковцем, Желябов — партиец. Нечаев — заговорщик кружка, Желябов — заговорщик партии.

Нечаев — бунтарь, Желябов — политический деятель. Нечаев — одиночка. Он всегда считает себя *над* другими; Желябов — первый среди равных.

Нечаев — за "все дозволено". Он готов на любой обман: лишь бы восторжествовала революция. Желябов, как первый среди равных, как член партии, а не подобранного верховодом кружка, не может допустить что все позволено внутри партии. Обман, шантаж, мистификация среди *своих* в конечном счете только вредят революционному делу, вселяют недоверие, подозрительность, разделяют партийцев на обыкновенных людей и на сверхчеловеков, уничтожают демократизм.

По Нечаеву удачный заговор все. Поэтому внимание Нечаева сосредоточено на подборе бунтовщиков, на строжайшей конспирации. Народ не способен на захват власти. Народ стихийно устраивает бунт и стихийно организует справедливую жизнь. Желябов тоже надеется на удачный заговор, но за его плечами годы пропаганды, хождения в народ, он уже не верю в бунтарскую народную стихию, которая только ждет толчка; но в то же время работа в народе убедила его и в том, что без активного участия крестьян, рабочих, военных в революции победа невозможна; поэтому Желябову отнюдь не чужды заботы сплотить вокруг партии радикальную интеллигенцию, молодежь и т. д. Устройство справедливого общества ему мыслится, как некий процесс.

Нечаев по-прежнему смотрит на себя, как на уполномоченного несуществующей Народной расправы; между тем, Желябов и его друзья эту Народную расправу уже создали.

Впоследствии, при аресте, жандармы обнаружили у Желябова

шифрованное письмо. Вот что они расшифровали в нем:

— От вас вчера, в четверг, получено: один лист шифра, пятый лист "Воли" и 25 руб. Сообщение об ротных ершах вам было сделано еще в декабре; повторяю его вкратце: в бога они не верят, царя считают извергом и причиной всего зла, ожидают бунта, который истребит все начальство и богачей и установит народное счастье всеобщего равенства и свободу.

— Дьякон всех умнее, молодец, всех преданнее и скромнее (секрет сохранить свято); Пила — парень ловкий, но задорный и больше других любит выпить. Притом Пила был часто на замечании, его заподозрили и удалили из равелина ранее других в роту за частые отлучки по ночам.

— Молоток и Пила — порядочные сапожники; следовательно, если вы намерены нанять для них квартиру, то они могут для вида заниматься починками сапогов рабочих где-нибудь на краю Питера близ заводов и фабрик. В их квартире могут проживать под видом рабочих и другие лица, к ним же могут ходить и здешние ерши из роты.

— Дьякона можно сделать целовальником в небольшом кабачке, который слыл бы притоном революционеров в рабочем квартале на окраине Питера. Дьякон был бы очень способен на такую роль, но необходимо, чтобы им руководил человек с сильным характером, который бы мог при случае за неисправность сильно распечь и вообще умел бы держать в страхе, по их выражению, как их держал Трепов. Главное, не оставляйте их без дела в праздности: они непременно запьянствуют. Обременяйте их поручениями, поддерживайте в них сознание, что они приносят пользу великому делу. Платите исправно скромное жалованье, никак не более 25 руб., и делайте подарки за ловкость, но требуйте и исправность и удачность. Тот, кто приобретает на них влияние, может вести их куда хочет; они будут хорошими помощниками в самых отважных предприятиях, и если вначале дело с ними пойдет хорошо, то количество и их может быть увеличиваемо по мере надобности. К ним же надо присоединить и Пахома, который первый с вами познакомился. Рекомендую разжалованного унтера Штыклова"^[64].

Записка принадлежала Нечаеву. Она подтверждал деятельные сношения его с Желябовым. Поражает в ней заботливость, с какой десятилетний узник самого мрачного равелина дает точные, даже мелочные советы друзьям на волю.

Власти не догадались, кто был автором шифра, хотя в письме содержались прямые указания. Не догадались жандармы и тогда, когда была взята другая шифрованная записка Нечаева у Перовской.

Нечаев настолько прочно и крепко держал в своих руках тюремную

стражу, что среди них не нашлось ни одного предателя. Нечаева предал сосед по заточению, Мирский. За покушение на шефа жандармов Дрентельна Мирский был приговорен к смертной казни, которую ему заменили пожизненной каторгой. Нечаев поделился с ним планами и рассказал об успехах среди тюремщиков. Мирский предал Нечаева за мелкие житейские поблажки. Впоследствии Мирский в 1906 г. был вновь арестован в Сибири карательной экспедицией Ренненкамппа, судим и опять приговорен к смертной казни, замененной вторичной каторгой... По доносам Мирского среди тюремщиков были произведены аресты. Многие из солдат царский суд осудил в дисциплинарные батальоны. Солдаты о Нечаеве и потом вспоминали с благоговением. Нечаев был совершенно изолирован. Его лишили книг, письменных принадлежностей, прогулок, поместили в одну из самых мрачных и сырых камер. "Орел" умер от чахотки в ночь с 8 на 9 мая 1883 года.

После 1 марта Суханов от имени Исполнительного комитета передал морскому кружку предложение освободить Нечаева, Ширяева и других узников крепости. Кружок дал согласие, но к тому времени нечаевская группа была раскрыта.

ВОЕННЫЕ КРУЖКИ

Еще в бытность свою в Одессе Андрей Иванович поддерживал деятельное знакомство с офицерами, с преподавателями Артиллерийской академии, любил присутствовать при опытах со взрывчатыми веществами и брал у военных уроки. По неосторожности однажды даже подвергнулся ранению. П. Семенюта вспоминает:

— Его очень любили, но как-то побаивались; он слыл здесь за "нигилиста", хотя специальных черт этого тургеневского типа у него не было. Покойный лейтенант Рождественский (не надо смешивать с Цусимским героем) раза два брал его на свой миноносец, на котором делал разные экскурсии по Черному морю. А другой офицер П. постоянно говорил на артиллерийские темы. В гавани почти ежедневно матросы занимались рыбной ловлей, что служило хорошим подспорьем к матросскому пайку. Обыкновенно на паровом катере они ездили верст за 10–12 от города к Большому Фонтану и, заметя стаю рыб, бросали в нее шашкой пироксилина на проволоке, замыкая то же время ток. Взрыв, и масса оглушенной рыб всплывала на поверхность. Эффект каждый раз превосходил ожидания Андрея Ивановича. У него раздувались ноздри, глаза готовы были выскочить орбит, весь он дрожал от удовольствия...^[65]

Бесспорно, такой сильный, здоровый, подвижной и жадный до жизни человек, каким был Андрей Иванович, любил морские прогулки, глушение рыбы, не одной этой любовью следует объяснять его интерес к взрывчатым веществам и его тяга к военным. Правда, в Одессе Желябов был "чистым народником", но уже тогда, надо полагать, он считал для революционера отнюдь не бесполезными некоторые опыты со взрывчатыми веществами и прохождение курса практического электричества. Он даже будто бы готовился в монтеры. Понимал также и то Андрей Иванович, что военная среда в борьбе с самодержавием имеет первостепенное значение. М. Ю. Ашенбреннер, один из виднейших членов военно-революционной организации "Народной Воли", рассказывает, что на юге он сблизился с народниками, в том числе и с Желябовым. Когда Ашенбреннер задумал уйти в народ, Желябов предложил ему остаться в полку.

— В вашем чине в полку вы принесете больше пользы делу. — От военных Желябов ожидал пополнения партии и создания военной организации, с целью мятежа^[66].

Вплотную созданием военной организации Андрей Иванович занялся в Петербурге со второй половины 1879 г. Прежде всего, он обратил внимание на морских офицеров. Начиная с шестидесятых годов, разночинцы все сильнее проникали и в армию. К ним по своим воззрениям и образу жизни были близки и дети обедневших дворян. Неудачи турецкой кампании, николаевские порядки, муштра, смотры, привлечение воинских частей к подавлению крестьянских бунтов, польского и окраинных восстаний, несение полицейской службы, радикальные веяния, Фейербах, Чернышевский, Писарев, Добролюбов, Некрасов, нелегальная литература — толкали чутких офицеров в революционную среду. Морское офицерство, наиболее образованное, часто к тому же находилось в заграничных плаваниях и наблюдало, как живут в других странах. Низшие чины тоже порою были уже подготовлены к восприятию революционных идей. Это подтверждает опыт Нечаева в крепости; если же Исполнительный комитет обратился прежде всего к офицерскому составу, то к этому его понуждали обстоятельства. Офицерская среда была ближе народникам-интеллигентам, чем солдаты. Она являлась наиболее благоприятной для заговора: чувство товарищества, замкнутость, дисциплина, привычка спокойно глядеть в глаза смерти, умение обращаться с оружием, все это было крайне необходимо для тогдашнего подполья. Участники народовольческой военно-революционной организации неоднократно рассказывали, с какой гадливостью офицеры, даже патриотически настроенные, относились к предателям и доносчикам. Случалось, противники революционного движения из чувства кастовой солидарности предупреждали товарищей об обысках, арестах и засадах. К офицерству, в особенности к морскому офицерству, Исполнительный комитет должен был обращаться в первую очередь еще и потому, что здесь скорее всего можно было получить динамит, запалы, специалистов.

Андрей Иванович, не оставляя работы по непосредственной подготовке покушений на царя, со всей страстностью и упорством отдался созданию военной организации. Участник морского кружка, Серебряков, превосходно изобразил Желябова-пропагандиста среди морских офицеров, и хотя воспоминания эти неоднократно приводились, обойтись без них и сейчас трудно. По рассказу Серебрякова Н. Суханов однажды пригласил его в числе других товарищей к себе на собрание.

— У него мы застали большую компанию офицеров и двух штатских, которых Николай Евгеньевич представил нам, назвав одного Андреем, долгого Глебом.

Сначала разговор шел об общих предметах, мало интересных. В

разговоре я не принимал почти никакого участия, а все свое внимание сосредоточил на присутствовавших штатских, желая разгадать, кто из них интересующий меня член Исполнительного комитета. Назвавшийся Андреем был замечательно красив: высокого роста, с темно-русыми бородой и волосами; серые глаза его, казавшиеся темными, были замечательно живы и выразительны. Другой — невысокого роста, с лицом, почти совсем закрытым густой черной бородой, с пронизательными черными, как уголь, глазами...

Разговор продолжался недолго. Немного времени спустя после нашего прихода Суханов прервал разговор и, обратившись к присутствующим, сказал:

— Господа, эта комната имеет две капитальные стены; две другие ведут в мою квартиру; мой вестовой — татарин, почти ни слова не понимающий по-русски; а потому нескромных ушей нам бояться нечего, и мы должны приступить к делу. Потом повернувшись к высокому штатскому, прибавил: — Ну, Андрей, начинай!

Тогда штатский, назвавшийся Андреем, встал и, обращаясь к офицерам, произнес с большим энтузиазмом длинную, горячую речь.

— Так как Николай Евгеньевич передал мне, — начал он, — что вы, господа, интересуетесь программой и деятельностью нашей партии, борющейся с правительством, то я постараюсь познакомить вас с той и другой, как умею; мы, террористы — революционеры, требуем следующего...

Трудно передать впечатление, произведенное на присутствующую публику этой речью. Все, бывшие в этот вечер у Николая Евгеньевича, за исключением нас, не были подготовлены услышать подобную смелую речь. Все они привыкли говорить о правительстве, особенно же о революционных партиях, только в своих тесных кружках и то в известной форме. Никому из них Николай Евгеньевич не сказал, кто у него будет; и они даже не подозревали, с кем имеют дело. Суханов всех, кто ему нравился, приглашал к себе по одному и тому же способу: "приходите ко мне тогда-то, у меня хороший человек будет", — говорил он и больше объяснений никаких не давал.

Когда Андрей произнес слова "мы, террористы-революционеры", все как бы вздрогнули и в недоумении посмотрели друг на друга. Но потом, под влиянием увлекательного красноречия оратора, начали слушать с напряженным вниманием. Интересно было видеть перемену, происшедшую в настроении всего общества. — Беззаботная, довольная, веселая компания офицеров, как бы по мановению волшебного жезла, стала

похожа на группу заговорщиков. Лица понемногу бледнели, глаза разгорались, все как бы притаили дыхание, и среди мертвой тишины раздавался звучный приятный голос оратора, призывавший окружающих его офицеров на борьбу с правительством. Кто знал Желябова, тот, вероятно, помнит, как увлекательно он говорил. Эта же речь была одной из самых удачных, по его же собственному признанию.

Андрей кончил... под влиянием его речи начались оживленные разговоры, строились всевозможные планы самого революционного характера. И если бы в это время вошел посторонний человек, он был бы уверен, что попал на сходку самых революционных заговорщиков-революционеров... Он не поверил бы, что за час до этого все эти люди частью почти совсем не думали о политике, частью даже относились отрицательно к революционерам. Ему и в голову не пришло бы, что завтра же большая часть из этих революционеров будет с ужасом вспоминать об этом вечере. Первый раз мне пришлось увидеть, что может сделать талантливый оратор со своими слушателями. Позови в этот вечер Желябов все присутствующее офицерство на какое угодно предприятие — все пошли бы.

Но на некоторых из офицеров, в том числе на моих товарищей и на меня, этот вечер произвел неизгладимое впечатление. Мы и ранее были более чем оппозиционно настроены, и многое из того, что говорил оратор, отвечало нашему настроению и было известно нам. На нас произвела особенно сильное впечатление личность говорившего, его вера и убежденность, главным образом ясное и точное понимание и последовательное, логическое изложение плана и способа борьбы с господствовавшим в России режимом и их возможность и осуществимость. Ранее, как я уже упоминал, у нас было недоверие к революционным партиям и революционной борьбе, главным образом потому, что мы не верили в силу партий, будучи убеждены, что они не имеют ясных определенных программ и состоят главным образом из зеленой молодежи и энтузиастов. В этом убеждении поддерживало нас и то обстоятельство, что, сталкиваясь в последние годы с революционерами, мы встречали лиц, которые не могли нам ясно показать, чего они хотят и каким образом могут добиться, своей цели. После же встречи с Желябовым и Колодкевичем наше мнение о революционерах резко изменилось. В них мы встретили не только умных, но сильных людей с ясным политическим пониманием. Такой же переворот в наших взглядах произвели программы партии "Народной Воли". В ней вопросы учредительного собрания и национализации земли были поставлены ясно и точно, что вполне

соответствовало нашему мировоззрению, и не будь в программе террора, мы немедленно бы примкнули к партии.

Свидания наши у Суханова с Желябовым и другими продолжались до марта 1880 г., но ни разу уже не собиралось так много офицеров, как в первый раз. Мы заявили Суханову и Желябов нас поддержал, что невозможно ходить на эти свидания, если Николай Евгеньевич сохранит прежний запорожский способ приглашения людей. Суханов с трудом на это согласился...^[67]

...Была составлена центральная военная группа.

В нее вошли Суханов, барон Штромберг, Рогачев и со стороны Наполнительного комитета Желябов и Колодкевич. Группа опиралась на три кружка: морской, артиллерийский, пехотный. С сочувствующими насчитывалось 50–60 человек. Суханов настаивал, чтобы привлеченных военных прежде всего использовали для боевой деятельности; наоборот, Андрей Иванович обнаружил большую осторожность и дальновидность, утверждая, что не следует с самого начала отпугивать новичков и возлагать на них слишком тяжелые обязательства. При непосредственном участии Желябова была выработана программа военно-революционной организации и устав центрального кружка. Уставу придавалось особо важное значение; его не решились даже отпечатать. Единственный его экземпляр был взят жандармами при аресте Колодкевича.

Разделяя целиком программу "Народной Воли", центральный военный кружок полагал своей задачей "организовать в войске силу для активной борьбы с правительством и парализовать остальную часть войска, почему-либо неспособную к активной борьбе"... "Выход члена Центрального кружка безусловно воспрещается"^[68].

Были предприняты поездки по России, возникли новые военные кружки: Одесский, Николаевский, Киевский, Тифлисский. Правительственное дознание впоследствии со слов арестованного Карабановича утверждало, что на одном из заседаний в Петербурге выступал Желябов и сообщил, что в военно-революционную организацию входит много гвардейских офицеров, академиков, батальонных и полковых командиров.

Вероятно, это сообщение следует отнести к измышлениям, но бесспорно одно: Исполнительному комитету и его представителю, Андрею Ивановичу, удалось сплотить замечательных военных революционеров. Одни из них были казнены: Суханова расстреляли, барона Штромберга и Рогачева повесили, Ашенбреннера и Похитонова заточили в

Шлиссельбургскую крепость, Папина сослали на каторгу. Список этот легко увеличить. Народнолюбцы-военные показали себя вполне достойными Исполнительного комитета и дел, на которые пошли, следуя лучшим заветам декабристов, но далеко опередив их политически.

Андрей Иванович вполне подошел к военной среде. Он сумел сделаться среди них своим человеком, другом, товарищем и в то же время самым авторитетным руководителем. За ним шли безоговорочно. "Нигилист", взрыватель, бомбист, заговорщик, он нашел ключ к их умам и сердцам, учел своеобразие их психологии. Несмотря на проникновение в армию разночинцев и их идей, военное сословие тогдашнего времени все же оставалось необычайно косным, опутанным самыми нелепыми политическими и бытовыми предрассудками. Желябов и Колодкевич проникли в эту среду и превратили поручиков, лейтенантов, штабс-капитан в преданных революционных ратоборцев, противопоставив их гигантскому государственному аппарату с вековыми его традициями, с присягой, со слепым повиновением, со всеми механическими, материальными силами.

СРЕДИ РАБОЧИХ

Этот непоседливый, нестигаемый заговорщик являлся, по проверенным отзывам его друзей-современников, одним из самых главных создателей народовольческих рабочих кружков в Петербурге.

Желябов "б" видел в рабочих самостоятельной классовой силы. Несмотря на неудачи хождения в народ, Андрей Иванович отождествлял народ только с крестьянством. Социализм Желябова тоже был крестьянский: свободные от гнета крупного капитала и чиновников федеральные общины. Фундаментом являлся крестьянский мир, а не наемный рабочий. Рабочим нет нужды составлять свою отдельную партию; вместе с крестьянством и революционной интеллигенцией они входят в "Народную Волю" и действуют прежде всего во имя крестьянства и его идеалов. Рабочие не руководят революционной борьбой. Их роль, хотя и почетная, но подчиненная.

Однако уже в те годы рабочие с гораздо большей готовностью, чем крестьяне, отзывались на революционную пропаганду народovolьцев; выделяли стойких борцов, устраивали стачки, а Северный союз русских рабочих показал, что на фабриках и заводах уже зреет мысль о самостоятельной классовой организации. Народовольцы не поняли и не учли этой тяги, не сумели соединить социализм с рабочим движением, но они увидели, что рабочие с успехом могут пополнить ряды их партии и дать боевиков-террористов.

Желябов революционную работу среди рабочих вел еще на Юге. Рабочий Тетерка, террорист, говорил на суде: "В Киеве я познакомился с Желябовым. Он... обучал меня, давал читать книги. Потом я уже принял участие в различных делах партии". — Меркулов на том же суде утверждал: "Меня увлек Желябов. Я был недоволен и хозяином и полицией, а такому рабочему нетрудно доказать, что виноват во всем этот не хозяин, а государь".

В Петербурге Желябов деятельно посещал рабочие окраины, вел в кружках занятия, поддерживал, укреплял и расширял с рабочими связи. Среди них он был известен под кличкой Тараса. Тараса любили и ценили. Его вдохновенные речи крепко и надолго запоминались. Он умел подчинять, укреплять веру в революционное дело. Исполнительный комитет через Желябова и Перовскую направил в среду рабочих больше 20

пропагандистов. Они обслуживали в кружках не менее 300 рабочих. Прежде всего кружки возникли на крупных предприятиях: на Семянниковском, Обуховском, Чугунном, Балтийском заводах, у Нобеля, Лесснера. Отсюда народовольцы распространяли влияние и на мелкие предприятия. Кружки были повышенного и пониженного типа. Царские шпионы шныряли по окраинам, на фабриках и заводах, но кружки были хорошо законспирированы: члены данного кружка знали только друг друга; с другими кружками связь поддерживалась организаторами и агитаторами, на то особо уполномоченными партией. Читали "Капитал" Маркса, Лассалья, сочинения Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Бокля, Флеровского. Из художественной литературы в ходу были: "Что делать", Глеб Иванович Успенский, Наумов, Златовратский. "История одного крестьянина" Эркмана-Шатриана, "Спартак" Джиованниоли, "Эмма" Швейцара. Иногда происходили страстные споры между чернопередельцами и народовольцами.

Чернопередельцы доказывали, что политическая борьба и, в особенности, терроризм отпугивают пролетариев, что надо вести работу, имея в виду непосредственные нужды, что основная задача — пропаганда в массах, что фабричный и аграрный террор обычно только вредят. О чернопередельцах Андрей Иванович — он с ними в кружках встречался нередко — отзывался иронически: убеждают работать среди крестьян, а сами сидят в больших городах. Получается болтовня. Он был неправ: Чернопередельцы в городах сложа руки не сидели, многие из них вели пропаганду также и среди крестьян.

При самом деятельном участии Желябова была выработана "Программа рабочих членов партии "Народной Воли". В этой программе говорится, что рабочие должны "приступить к выполнению переворота", для чего должны сплотиться в тайные кружки.

"Пользуясь уважением и любовью рабочих, члены кружка поддерживают бунтовский дух в рабочей среде, устраивают, где нужно, стачки против фабрикантов и готовятся к борьбе с полицейскими и правительственными войсками, всегда стоящими за фабриканта... Если бы правительство из боязни общего бунта решилось сделать обществу кое-какие уступки, т. е. дать конституцию, то деятельность рабочие должна от этого изменяться. Они должны заявить себя силой, должны требовать себе крупных уступок, должны вводить своих представителей в парламент и, в случае надобности, поддерживать эти требования массовыми заявлениями и возмущениями"...

В программе нет указания, что рабочим надо организоваться в

самостоятельную партию и бороться за свои классовые цели; тем не менее для той поры она являлась крупным шагом вперед. Программа ясно указывала на социализм, правда, в крестьянской форме, как на конечную цель, программа призывала к политической борьбе, к свержению самодержавия путем политического переворота. Есть в ней также намеки на программу-максимум и на программу-минимум. Не трудно вообще заметить, что в программе нашли выражение основные взгляды, которые не уставал разбивать Желябов.

Желябов прекрасно понимал, что настоящей политической партии нельзя ограничиваться среди рабочих одной кружковой деятельностью, что нужна массовая пропаганда. Этой цели и должна была послужить "Рабочая газета", кровное детище Андрея Ивановича. Тяжелый на подъем к литературному труду, он на этот раз удосужился для первого номера написать передовую статью. Желябов писал:

— Испокон веков не любили цари правды и всегда гнали ее нещадно. Награждали лесть да коварство, а за слово разумное, правдивое — терзали тело и душу. Но не удавалось им задушить правду в сердце человека; всегда находились смелые люди, для которых истина и справедливость были всего дороже. Не страшили их в старину царские тюрьмы, пытки и костры, не страшат их ныне и виселицы. Правдивое, смелое слово их становится слышнее и грознее, и не унять его царской своре. Печатались и расходились запрещенные книжки и газеты по всей земле русской и больно тревожили они царя с его сворой, потому — правда глаза колет. Но вот третий год, как основана в Петербурге тайная типография (книгопечатня)...

Передовую, говоря по правде, нельзя назвать удачной. Рассуждения о смелых и правдивых людях, действовавших "всегда", — отвлеченны и неопределенны даже и для восьмидесятых годов. Нельзя признать удачными и попытки стилизовать русскую народную речь; но выход "Рабочей газеты" все же был крупным политическим событием.

Среди рабочих Андрей Иванович искал людей, готовых пойти в террор. Им был сформирован террористический отдел рабочей организации. В отдел Желябов привлек Тетерку, Тимофея Михайлова, интеллигентов Емельянова, Гриневицкого и некоторых других. Котельщик Михайлов хорошо был известен среди рабочих своею преданностью революции и честностью. По заявлению Рысакова состав боевой группы был невелик, не больше 20 человек. На самом деле, группа была и того меньше. В своих оговорах Рысаков то я дело возвращается к деятельности Желябова среди рабочих.

...— Я познакомился с Желябовым, обещавшим мне через содействие

партии самую широкую деятельность среди рабочих... Желябов мне сразу понравился; я видел в нем крупного деятеля и вследствие своеобразного представления о террористах решил, что он не террорист, потому что агитирует среди рабочих. Желябов говорил как-то особенно увлекательно, уничтожая всякую возможность отнестись к нему критически и в то же время составить себе определенное понятие о сказанном. Оставалось впечатление чего-то блестящего, но и только... Я под его влиянием понял то мирозерцание, которое въелось в партию и которое террористических фактов не позволяет относить к области преступления...

...Прибавьте еще неотразимое впечатление от речей Желябова, и моя наэлектризованность в данном случае понятна. Я не считал покушения даже убийством, т. е. мне ни разу не нарисовывались в голове кровь, страдания раненых и т. д., но покушение рисовалось каким-то светлым фактом, переносящим! общество в новую жизнь. Под влиянием речей Желябова я чувствовал себя участником в достижении этого блага и был даже счастлив, принося себя в жертву... Желябов даже мог развить во мне партийность, чего "е мог сделать никто из прочих лиц, сталкивающихся со мной, потому что он смотрел шире партии и за ней видел свет... [\[69\]](#)

К заявлениям Рысакова следует относиться с величайшей осторожностью. Рысаков старается представить себя невольной жертвой "неотразимого" Желябова; однако отзыв его на этот раз совпадает с отзывами и других современников Андрея Ивановича.

Работа народовольцев среди петербургских рабочих нашла отклик и в провинции. В Москве, в Одессе, в Киеве, в Харькове, в Ростове тоже возникли рабочие кружки. Они сохранялись иногда и после разгрома народовольцев, хотя тоже сильно страдали от арестов и предателей. Из них вышло потом немало марксистов, борцов за рабочее дело.

Словом, значение Андрея Ивановича в русском рабочем движении значительно. Пропаганда его и агитация сбивались на общие рассуждения о смелых людях, о правде и справедливости. Он был далек от идей Коммунистического манифеста, не сумел соединять рабочее движение с социализмом и оценить это движение с точки зрения борьбы классов. Желябов преувеличивал значение террора и цареубийства. Все это было. Но рабочие не забудут, что народовольцы, и среди них в первую очередь Андрей Иванович, дали рабочему делу в России ощутительный толчок. Желябов учил рабочих политической борьбе с самодержавием, расправе над помещиками, заражал их революционной отвагой, укреплял веру в окончательную победу социализма.

Недаром, когда были взяты первомартовцы и судились, среди

петербургских рабочих, знавших Желябова, Перовскую, Михайлова, бродили мысли насильственным путем освободить их.

Тогда рабочим не удалось отплатить, как следует, палачам своего Тараса. Они это сделали позднее.

КЛЕТОЧНИКОВ. "МЕЛКИЕ ДЕЛА"

Николай Васильевич Клеточников, скромный судейский чиновник, чахоточный, тихий, робкий Б движениях, приехав в столицу из Крыма, предложил себя Исполнительному комитету для работы в терроре. Александр Михайлов уговорил Клеточникова вместо террора проникнуть в Третье отделение и, получив согласие, свел его с некоей акушеркой Кутузовой, которую подозревали в связи с тайным политическим сыском. Клеточников поселился у Кутузовой, стал проигрывать ей мелкие денежные суммы, расположив ее к себе вдобавок и скромным своим поведением. Кутузова призналась Клеточникову, что она, действительно, услужает жандармам, и помогла ему устроиться старшим делопроизводителем в Третье отделение. Через Клеточникова проходили распоряжения об арестах и обысках, шпионские донесения, тайные циркуляры, розыски и т. п. В продолжение двух лет Клеточников предупреждал партию о провокаторах и мерах, предпринимаемых охранниками. Михайлов строжайше охранял Клеточникова, распустил слухи, будто Клеточников уехал из Петербурга, вел с ним сношения самолично либо через Ошанину, члена Исполнительного комитета.

Клеточников преклонялся перед Михайловым. По службе Николай Васильевич отличался отменным усердием, начальство вполне ему доверяло. Когда Михайлов по своей личной оплошности был арестован, Клеточников стал видаться с Баранниковым. На его квартире он и был взят засадой, тоже случайно: арест Баранникова произвело градоначальство, о действиях которого Клеточников сведений не имел. На другой день после ареста Клеточникова на его имя пришло письмо, в нем он приглашался на свидание с неизвестным человеком на Невский проспект. По сличению почерка этого письма с почерком казенного государственного преступника Желябова, знакомство и сношения с которым Клеточниковым отрицались, эксперт пришел к заключению, что упомянутое письмо написано Желябовым. Так утверждал обвинительный акт по делу 20 народовольцев^[70].

О себе Клеточников рассказал на суде: — До 30 лет я жил в глухой провинции среди чиновников, занимавшихся дразгами, попойками, вообще ведущих самую пустую бессодержательную жизнь. Среди такой жизни я чувствовал какую-то неудовлетворенность, мне хотелось чего-то лучшего.

Наконец, я попал в Петербург, но и здесь нравственный уровень общества не был выше. Я... нашел, что есть одно отвратительное учреждение, которое развращает общество. которое заглушает все лучшие стороны человеческой натуры и вызывает к жизни все ее пошлые, темные черты. Таким учреждением было III отделение... Я очутился в III отделении. Вы не можете себе представить, что это за люди! Они готовы за деньги отца родного продать, выдумать на человека какую угодно небылицу, лишь бы написать донос и получить награду. Меня просто поразило громадное число ложных доносов...

Клеточников погиб в Алексеевском равелине. Надо полагать, что этот страж партии связь свою с Андреем Ивановичем отрицал по обычным тактическим соображениям...

...Деятельно занимаясь подготовкой цареубийства, Желябов находил время и для работы среди учащейся молодежи. В частности 8 февраля 1881 г., т. е. за три недели до нового, решающего покушения, в университете состоялся торжественный годичный акт. Студенты давно уже были взбудоражены ложными посулами министра Сабурова относительно разных льгот и вольностей. Среди молодежи действовал тайный центральный университетский (кружок; одним из его главных организаторов по поручению Исполнительного комитета являлся Андрей Иванович. Центральный кружок узнал, что верноподданное студенчество решило устроить овацию начальству, и со своей стороны предпринял меры, чтобы этого не случилось. 8 февраля в университет на акт собралось много народу. Когда проф. Градовский прочитал отчет, раздались рукоплескания. Но в это же время с хор выступил оратор Коган-Бернштейн. Он заявил, что требования студентов остаются без внимания.

— Мы не позволим, — крикнул он — издеваться над собой. Лживый и подлый Сабуров найдет в рядах интеллигенции своего мстителя! Поднялся оглушительный рев, с хор полетели прокламации. Из толпы выделился студент первого курса Папий Подбельский; протиснувшись к Сабурову, он нанес ему пощечину, за что потом был сослан в Сибирь.

Об этом дне В. Дмитриева в, своих воспоминаниях рассказывает:

— Когда мы вышли из университета, я была словно: в угаре и теперь (совершенно не могу припомнить, как и почему мы очутились в зале какого-то ресторана на Васильевском острове. Большая полутемная, с низким сводчатым потолком, зала была почти пуста, и только несколько поодаль от нашего стола, тоже за чайными стаканами, сидели двое. Один ко мне спиной, лица его я не видела, другой бросался в глаза чрезвычайно выразительной физиономией с большой темной бородой и длинными

густыми волосами, откинутыми назад над высоким белым лбом, Вскоре отворилась дверь, и к ним подошел третий, очень молодой человек, блондин, с нежным, почти девичьим цветом лица и ярким румянцем на щеках. Склонившись с к сидящим, он, улыбаясь и блестя глазами сказал что-то им, и вслед затем все трое поднялись и вышли. Мужчина с бородой был Желябов, а румяный блондин — Коган-Бернштейн... [\[71\]](#)

Не трудно догадаться, что Коган-Бернштейн пришел на явку дать отчет о событиях представителю Исполнительного комитета, руководившему движением. Андрей Иванович не гнушался и самой обыденной, "черной" работой. Люстиг, у которого собирались члены Исполнительного комитета и который оказывал партии разные услуги, впоследствии на суде отмечал, что по просьбе Желябова он получал деньги, пожертвования разных лиц, передавал средства Желябову, а также выполнял и другие поручения.

— Однажды Желябов попросил меня принять на время со станции железной дороги ящики с печатным станком... Я сначала не хотел на это согласиться и даже говорил Желябову, что это не совсем удобно, т. к. за моей квартирой, невидимому, следят, но Желябов сказал, что другой квартиры нет никакой. Поэтому я согласился, Желябов сказал, что за ящиком он сам пришлет...

О Желябове Люстиг отзывался с любовью: — "Тарас (Желябов) заинтересовал меня, как уроженец юга, мой земляк, но, (впрочем, и вообще он был весьма симпатичен".

Андрей Иванович сам распространял литературу, передавал паспорта, адреса явочных квартир, ведал перевозкой печатных станков, переносил и перевозил динамитные трубки. Следователи и обвинители, встречались повсюду со следами кипучей деятельности Желябова и не однажды удивлялись ему.

Желябов был смертельно опасен врагам народа!..

ПОРТРЕТ

Знавшие и видевшие Андрея Ивановича в один голос утверждают, что нет ни одного портрета, который давал бы верное представление о нем. Фотографическим снимкам не располагал и департамент полиции. Очень любопытны карандашные наброски, сделанные известным художником Конст. Маковским во время судебного процесса. Маковский осень 1880 г. провел в Ливадии, где писал портреты царя, его молодой жены Долгорукой и их детей. Художник преклонялся перед Александром II и был крайне возмущен цареубийством. На суд первомартовцев он выхлопотал себе входной билет. Ек. Л. сообщает:

— Маковский шел в суд, преисполненный чувством негодования против "злодеев" и, конечно, весь на стороне "благородных" судей. А на бумаге получилось совсем иное: беспощадное изображение старых отживших сановников, хищный прокурор, неумолимый жандарм, красавец со стеклянными глазами, с одной стороны, и простой, русский человек — с другой.

Особенно захватил его Желябов — и не столько внешним обликом, сколько сложной своей психикой. Маковский говорил о нем, старался понять его и не мог стряхнуть с себя его обаяния. На словах он называл его "злодеем", считая, что он был главным руководителем события первого марта, а на рисунках у него Желябов не злодей, а герой. Из нескольких набросков видно, как мучило его это лицо, как он чего-то искал в нем. Он рисовал его и в профиль, и en face, проходил дома пером; все время возвращался к нему. И рядом с этим портреты сановников (все хорошие знакомые Маковского) вышли у него до жути символичны. Никакой преднамеренности тут заподозрить нельзя...^[72]

Вера Николаевна Фигнер находит, что Желябов изображен Маковским превосходно, но в момент страдания; во всяком случае, рассчитывать на портретную точность эти наброски не могут. Другой рисунок, помещенный в журнале "Былое" за 1906 г., 3, сделан защитником Спасовичем, Корба-Прибылева и Фигнер утверждают, что рисунок не дает никакого представления о Желябове. Как бы то ни было, фотографического снимка Желябова времен народовольчества у нас нет. В свое время нелегально распространялся карандашный рисунок, написанный по личным воспоминаниям Андржиковичем, лишь отдаленно напоминающий

Желябова.

Каким представляется Андрей Иванович по отзывам и по описаниям его современников? О нем писали многие: Фигнер, Корба-Прибылева, Якимова, Фроленко, Дейч, Плеханов, Попов, Любатович, Ошанина, Семенюта, Белоконский, Ивановская, Тихомиров, Тырков, Иванов, Дмитриева, фон-Пфайль, барон Фукс, генерал Шебеко, лейбгвардеец Плансон, Окладский.

Одни считали Желябова по наружности привлекательным, другие — симпатичным, третьи — красивым, даже необычайно красивым, прекрасным.

Андрей Иванович был высокого роста, сильного телосложения, широкий в плечах. Во всем его облике было много крестьянского. Он обладал большой головой, черты его крупного, несколько скуластого лица отличались пропорциональностью, темнорусый шатен, он носил большую, окладистую, курчавую бороду; небольшие усы опускались концами вниз. Лоб имел белый, высокий, чистый, брови четкие, темноватые; к переносью они твердо сходились, Нос короткий, прямой. На щеках играл смуглый, здоровый румянец. Руки — крепкие, небольшие, изящные. О физической силе Андрея Ивановича, помимо случая с быком, Фроленко рассказывает: будучи в Липецке, участники съезда однажды перебрались через реку и направились в лес. Дорогой Желябов поспорил, что сможет поднять пролетку за заднюю ось. Тут же он подбежал к экипажу и приподнял его сзади с седоком. — Ну и сильный, — вырвалось невольно у одного извозчика... При разговоре, при смехе у Андрея Ивановича влажно и весело сверкали два ряда сильных и ровных зубов. Лицо и вся фигура Желябова носили отпечаток повелительности, силы, упорства, умеряемых, впрочем, открытой жизнерадостностью, ощущением избытка сил, чувствами содружества и самого неподдельного расположения к своим единомышленникам. Это же отражали и его прекрасные, небольшие серые глаза, иногда казавшиеся темными, очевидно, от окраски волос. Голову он держал несколько откинутой назад и приподнятой. Ходил Андрей Иванович по улице быстрой походкой, задумавшись, стискивая зубы, с силой сжимая руки, грудь держал широко распахнутой и выдвинутой вперед, как бы готовый к прямым и боевым встречам с врагом. Зимой носил длинное пальто и шапку, в них походил порою на купца. Недаром он так хорошо изображал в Александровске Черемисова. Андрей Иванович любил повеселиться, побалагурить, подурачиться, заразительно смеялся, пел заволжские и украинские песни; обладал даром превосходного рассказчика. С большой охотой повествовал он о своих студенческих

похождениях, о схватках с полицией, с уличными забияками... Он обладал могучей натурой, в которой было много крови, физической силы, мускулов, просвечивающих сквозь кожу, плоти, земной, жадной до жизни, до всего, что она дарует. Но все это сочеталось у него с возвышенным духом, с мудрым самообладанием, с непреклонной волей и самоотверженностью. Впечатление от Желябова, точно от картин Рубенса, и бесспорно, рука великого художника невольно потянулась бы к кисти, если бы привелось ему увидеть необыкновенного террориста. В жизни, во всей фигуре его, как у Рубенса — преобладание алого цвета, свежести, лучистости, свободных, широких мазков, трепета, изобилия жизни, порой бурной страсти, порой неистовых жестов, сверкания, густоты, необычайного великолепия, звучности и яркости, однако, не нагроможденных, легких, соразмерных, тонких, одухотворенных, даже романтических, строгих, подчиненных высшему вдохновенному идеалу...

Он охотно вступал в спор, но спорил обычно скорее благодушно, внимательно выслушивая противника.

Дейч пишет:

— В спорах Желябов никогда не прибегал к резкостям и не становился на личную почву. Несомненно, он был искренне убежденным человеком, не боявшимся нареканий в отступлении от социализма. В то время нужно было обладать значительнейшей долей смелости, чтобы проповедывать необходимость борьбы за политическую свободу. Если в течение всего нескольких месяцев довольно резко изменились взгляды значительной части тогдашней революционной молодежи, то в этом, (кроме внешних условий, главную роль сыграл, несомненно, Желябов^[73].

Иногда он отвечал, впрочем, с иронией, даже с раздражением, хотя вообще превосходно владел собой и в обращении был мягок и покладист.

Когда Андрей Иванович выступал оратором, брови его приподнимались, слова были звучны, выразительны и энергичны. Его баритон раздавался уверенно. В биографии, изданной Исполнительным комитетом, сообщается:

— Желябов говорил, действительно, хорошо. У него, собственно, была не совсем хорошая манера, какая-то книжная, профессорская. Отчеканивая ясно и отдельно слова, стараясь, чтобы всякое окончание, все падежи были сказаны самым отчетливым образом, Желябов не пропускал ни одной запятой, ни одного двоеточия и часто употреблял причастия и деепричастия. В частном разговоре эта манера производила нехорошее впечатление, но в большой аудитории оказывалась очень выгодной. Сверх того книжность оборотов речи совершенно стушевывалась и исчезала,

когда Желябов воодушевлялся. Он обладал также хорошим, звучным, ясным голосом и неутомимой грудью. Несомненно, что при нужде он сумел бы говорить целый день. Мысль у него развивалась чрезвычайно логически, в возражениях он был очень находчив, подчас крайне ядовит и остроумен.

Он был народным трибуном. Он говорил о себе: — Я рожден демагогом. Мое настоящее место на улице, в толпе рабочих.

Присутствие большой аудитории зажигало его, он тогда чувствовал себя в родной стихии. Он охотно посещал кружки, выступал на собраниях.

Некоторые из его современников отмечают у Желябова некоторую театральность, эффектность. Другие наличие этих черт в нем отрицают. Во всяком случае, в разговорах, в поступках, в обращениях с людьми, судя по воспоминаниям, Желябов обычно прост, радушен. Его поведение на суде, речь его лишены всякой наигранности. Впечатления от первых встреч с ним тоже не свидетельствуют, что он был склонен к внешним эффектам, а ведь именно при этих встречах прежде всего обнаруживаются подобные свойства, если они имеются.

То, что считают у Желябова театральностью, было, невидимому, выражением его страстности, его наклонностей трибуна, которому нужны были многолюдные собрания. В обычной обстановке, среди товарищей и друзей, Желябов держался непринужденно, но его силы переклестывали в нем. Следует отметить характеристику, данную генералом Шебеко в его официальном отчете:

— В среде партии Желябов пользовался репутацией террориста, весьма преданного делу; это был человек даровитый и, действительно, обладавший организаторским талантом. Смелый, очень красноречивый, представительной наружности, он умел заставить по винтоваться себе, не отступал ни перед каким препятствием и часто даже фигурировал, как влиятельная личность, которая вела других к точной и определенной цели. Освобожденный указом 19 февраля 1861 г. от крепостной зависимости, он признавал только глубокую ненависть к правительству, не веря в чистоту его намерений, Желябов и Александр Михайлов, быть может, были самыми даровитыми анархистами в мире социальной 'революции в России. Желябов представлял тип, гораздо более резко выраженный (чем у других революционеров) и потому значительно более опасный, это был бунтарь до цинизма, фантазированный террористической программой настолько, что стал скорее грозным бандитом, чем смелым революционером. Преступная деятельность охватила все его существо, и он не был уже способен ни к каким иным чувствам, ни к каким иным стремлениям. Он поступал во

всем, как учитель, и рассматривал свои обязанности, как призвание, а свою деятельность — как святой долг. Он безусловно требовал, чтобы каждый разделял его точку зрения. Когда во время подготовительных работ для александровского покушения один из заговорщиков заснул, утомленный ночной работой рытья мины, Желябов собирался убить его из револьвера, он его рассматривал, как провинившегося часового, которому вверена была охрана драгоценного склада и который заснул вместо того, чтобы бодрствовать. (Преувеличение — А.В.). Имя великого организатора стало популярным: то был страшный Желябов, великий организатор новых покушений в местностях и условиях самых разнообразных и неслыханных. Он обладал удивительной силой деятельности и не принадлежал к числу дрожащих и молчащих. Невозможно допустить, чтобы хоть тень раскаяния коснулась его сердца...

— Он никогда не терял мужества в часы наибольших неудач, которые испытывала партия, он ограничивался лишь словами: — Что же делать. Примемся за исполнение следующей задачи, — и начинал свою работу с удвоенной энергией. Его активность была такова, что он не знал почти сна и иногда падал в обморок, хотя природа его наградила очень крепким организмом.

— Для потомства не пришлось закрепить его внешность, потому что в заключении он ни за что не соглашался дать фотографировать себя и делал ужасные гримасы, когда на него наводили аппарат. Сохранился всего один лишь маленький медальон, появившийся в "Календаре Народной Воли" за 1883 г.; этот медальон сделан на основании карандашного рисунка, набросанного для памяти одним из его приверженцев. — Эскиз представляет всего лишь заурядный профиль с большой бородой; он совсем не напоминает оригинал, с физиономией живой, энергичной, грубой и зверской; с головой, привыкшей к распоряжениям, с телосложением могучим и сильным; со смехом, открывающим два ряда блестящих зубов; с видом бандита-террориста, мало-помалу сложившегося в такого в целом ряде преступлений...^[74]

Образ Желябова у генерала двоятся: бандит-террорист зверского вида не вяжется с "учителем революции", для которого его обязанности, призвание есть "святой долг". Заметно также, что официальный историк не может подавить в себе чувства глубокого уважения, удивления и преклонения перед Андреем Ивановичем. Шебеко, между прочим, ошибается, утверждая, будто Желябов был фанатик. Поистине, ничто человеческое не было ему чуждо. Он обладал широким политическим кругозором, редким для своего времени, умел учитывать обстоятельства.

Заговорщик и террорист, он с энтузиазмом отдавался пропаганде и агитации. Никогда террор не являлся для него самодовлеющим средством. И не мстил он также ради одной мести. Он говорил, что террор поможет захватить власть партии, но с тем, чтобы передать ее в руки народа, и не его вина, что логика террористической борьбы в то время и в тех условиях заводила лучших людей в тупик. Но то правда, что он умел доводить свои мысли до конца, делать цельные, неурезанные выводы; обладал чудесным упорством в достижении положенных целей, шел к ним без колебаний, не сгибаясь и не впадая в уныние от неудач, даже самых тяжких. Он, с неиссякаемыми жизненными силами, с сердцем, открытым всем радостям, сумел воспитать в себе презрение к смерти. В разговорах с друзьями он часто со всеми подробностями изображал свою вероятную смерть. Когда его убеждали обрить бороду, он в шутку говаривал: его могут повесить, но с бородой он не расстанется. Он жил для великого революционного дела и не знал отклонений.

Он сумел быть грозным для врагов. Располагая лишь незначительной группой молодых, неопытных юношей, Желябов превратил царский дворец в тюремный замок, заключив в него "самодержца всея Руси", "царя-освободителя", всполошил и держал в трепете огромный кадр жандармов, полицейских и следственных властей. Несмотря на предательства, на оговоры, на аресты, на казни, на неудачи, он уверенно и твердо вел дело к неизбежному концу. Над царевым гнездом он кружился подобно коршуну, все суживая круги, и все неотвратимее падала тень от его могучих крыльев на намеченную жертву. Глаз его был острый и быстрый. И царь и его приближенные чувствовали: кольцо суживается, смыкается; какая-то, не знающая сомнений смертоносная сила готова свершить свой суд и непременно свершит. От горсти людей, вооруженных дешевыми револьверами, самодельными снарядами, оказалось, некуда укрыться не ограниченному ничем и никем деспоту. Отголосок этих страхов отразил в своем отзыве и жандармский генерал Шебеко.

Желябов придал террору характер постоянно действующего боевого орудия. По свидетельству С. Иванова, Андрей Иванович рассуждал о терроре:

— Это средство исключительное, героическое, но зато и самое действительное, лишь бы только борьба эта велась последовательно без перерывов. Партизанские эпизоды, растягиваемые на продолжительное время, действуют лишь на воображение публики, но не устрашают правительство. Все значение этого орудия борьбы и все шансы на успех заключаются в последовательности и непрерывности действий, направлять

которые необходимо на определенный намеченный пункт. Под ударами систематического террора самодержавие уже дает трещины^[75].

Вот почему он спешил организовать одно покушение за другим без промедлений.

Желябов не был теоретиком. Обладая здравым смыслом и чутьем, в знаниях, в способности логически развивать свои мысли, в глубине, в эрудиции он бесспорно и решительно уступал своему блестящему современнику и противнику-другу Георгию Валентиновичу Плеханову, превосходя его подвижностью, неутомимостью. К сожалению, неизвестно, что предпочитал читать Желябов в зрелом возрасте. Книги, взятые в его квартире, случайны. Но он очень любил читать, много читал и жаловался, что работа не позволяет отдаться книге. В биографии, изданной "Народной Волей", рассказывается:

— Раз он с одним товарищем был на крайне важной сходке, далеко от Петербурга. Проговоривши несколько часов, измороженный и усталый, Желябов отправился в Петербург поздно ночью. На утро явился и его товарищ, думавший застать Желябова крепко спящим. Каково же было его изумление, когда он застал Желябова глубоко погруженным в чтение "Тараса Бульбы". Оказалось, что, легши в постель, он снял машинально книгу с полки и зачитался до самого дня. Да и потом, оторванный от книги, он еще целый час не мог говорить ни о чем, кроме Тараса... Природа для него была полна чарующей прелести, и он каждую свободную минуту готов был забраться куда-нибудь на Неву, на взморье, на широкий, безграничный простор. Музыку Желябов любил до страсти...

Мы, к сожалению, почти ничего не знаем о внутренней жизни Андрея Ивановича. Неизвестно, в какой мере и насколько привлекали его к себе "проклятые" вопросы мироздания; любил ли он заниматься философией, психологией, историей, естественными науками или решительно предпочитал социологию, политическую экономию, правоведение. Он был народником. Этим сказано многое: права народа, его нужды, запросы были для него суверенны, "о остается еще огромная область проблем, сомнений, вопросов нерешенных, только поставленных, остается своеобразный, Личный подход к ним — и здесь жизнь Желябова для нас закрыта. Можно с уверенностью сказать: мировоззрение Желябова, как и его соратников, складывалось под влиянием естественно-научного материализма французских энциклопедистов, Фейербаха, Чернышевского, субъективной социологии Лаврова, Михайловского, историософии Бокля и т. п. Этими указаниями и приходится поневоле ограничиваться.

Литературными наклонностями Желябов, видимо, не обладал и

страсти к перу не обнаруживал, предпочитая живых людей и живое дело. Он был практик в лучшем смысле, ловец человеческих душ, организатор, трибун, с огромной, выразительной силой. В нем не было и тени гамлетизма; слово и дело жили у него в кровной и всегдашней дружбе. Дебагорий-Мокриевич сообщает:

— Передавая о своих дебатах с Желябовым, приезжавшим в Москву зимой в декабре или в январе 1880—81 гг., чернопередельцы мне рассказывали, что во время одной сходки, на которой собралось их человек до сорока, "Борис" (под этим именем был тогда Желябов) среди споров обратился к ним с такими словами: мы все только теоретизируем; а мне бы хотелось поставить несколько практических вопросов; но для того, чтобы рассуждать о практических делах, я хотел бы сначала знать, кто из вас, здесь присутствующих, жил в народе. И когда такового не нашлось среди них, то он вдруг объявил, что ему не о чем с ними и разговаривать. ^[76]

Желябов "разбрасывается". Товарищ его по работе, С. Иванов, рассказывает: однажды он выразил Андрею Ивановичу удивление, каким образом тот поспевает повсюду, уделяя время мелочам. Желябов рассмеялся.

— Далеко не все мелочи, что порою кажется мелочами. Из них-то часто и комбинируется то, что потом оказывается крупным. Право, добрая половина нашей работы складывается из таких якобы мелочей. А разбрасываться приходится поневоле. Бывают моменты, когда необходимо мобилизовать не только все наличные силы партии, но и силы каждого отдельного человека. Впрочем, и натура моя такая: меня тянет всюду и везде и я более всего полагаюсь на свои собственные впечатления...

Кто работал длительно в подполье, тот знает, насколько прав Желябов, утверждая, что в такой работе часто поневоле приходится вникать во все мелочи. Малейшая неосторожность, оплошность сплошь и рядом грозят гибелью дела, друзей-соратников. Надо также иметь в виду, что навыки заговорщиков тогда, как правило, не отличались изощренностью. Работники скрывались под кличками, но клички скоро узнавались. Самые видные члены Исполнительного комитета носили при себе, либо держали у себя на квартире нелегальную литературу, планы, шифры, переписку. В этом, кстати сказать, повинен был и сам Андрей Иванович. Однако он держал себя осторожнее других. Вместе с лучшим конспиратором партии, Александром Михайловым, уступая ему в изобретении заговорщицких приемов, Желябов обучал, создавал и укреплял кадры подпольщиков, содействуя воспитанию особого сорта людей, профессиональных революционеров. Впоследствии, под руководством Ленина, в иных

условиях и на иной основе "профессионалы" составили замечательный, несокрушимый костяк большевистской партии.

Узким заговорщиком Желябов не мог быть по своей натуре. Его всегда тянуло к народу, к крестьянам. В недавно опубликованных новых воспоминаниях о Желябове Корбы-Прибылевой содержится поучительный рассказ. Это было в самый разгар террористической работы.

1880 год был несчастным для всей почти России в отношении урожая. Засуха, а вслед за тем вредители всех родов, включая даже саранчу, в конце лета во многих местах истребили хлеб на корню почти дотла. Уже к августу в разных губерниях настал настоящий голод в сопровождении эпидемий, огромной смертности и безысходности страданий крестьянства.

Из членов Комитета, мне кажется, никто так сильно не переживал тогдашнее народное бедствие, как Желябов. Он иногда заходил на комитетскую квартиру, где Ланганс и я были хозяевами и где 'всегда кто-нибудь был налицо, заходил специально, чтобы поделиться вновь узнанным фактом из жизни деревни, и по его взволнованному лицу видно было, как мучительно он воспринимал известия о народных страданиях.

В связи с этими обстоятельствами произошло событие в среде Исполнительного комитета "Народной Воли", о котором до сих пор никто не говорил в своих воспоминаниях, но которое должно быть отмечено, потому что оно раскрывает в полном объеме в Желябове все свойства народного вождя.

Желябов созвал членов Исполнительного комитета на заседание. Оно произошло на квартире, о которой я только что упомянула. На собрании, кроме Желябова, присутствовали Баранников, Колоткевич, Перовская, Исаев, С. Златопольский, Ланганс и из теперь еще живущих А. В. Якимова и я. Вера Николаевна Фигнер к тому времени еще не возвращалась из Одессы; что же касается Михаила Федоровича Фроленко, то память мне изменяет, и я не могу определенно сказать, был ли он на собрании или нет.

Когда все собрались, Желябов произнес маленькую речь, в которой упомянул о тяжелом положении крестьян, скрываемом от глаза всего света повелителем и самовластным хозяином русского народа, отказывающимся ныне, в самый критический момент его жизни, помочь ему. "Если мы останемся в стороне, — продолжал Желябов, — в теперешнее время и не поможем народу свергнуть власть, которая его душит и не дает ему даже возможности жить, то мы потеряем всякое значение в глазах народа и никогда вновь его не приобретем. Крестьянство должно понять, что тот, кто самодержавно правит страной, ответственен за жизнь и за благосостояние населения, а отсюда вытекает Право народа на восстание, если

правительство, не будучи в состоянии его предохранить от голода, еще вдобавок отказывается помочь народу средствами государственной казны. Я сам отправляюсь в приволжские губернии и встану во главе крестьянского восстания, — говорил Желябов, — я чувствую в себе достаточно сил для такой задачи и надеюсь достигнуть того, что права народа на безбедное существование будут признаны правительством.

Я знаю, что вы поставите мне вопрос: а как быть с новым покушением, отказаться ли от него? И я вам отвечу: нет, ни в коем случае. Я только прошу у вас отсрочки".

На это мы ему ответили, что об отсрочке не может быть и речи. "Мы должны или воспользоваться благоприятными обстоятельствами теперешнего момента, или расстаться с мыслью о возможности снять голову с монархии, существующей только для угнетения и устрашения народа", — отвечали члены Комитета Желябову. Было также указано на то, что нельзя ручаться, что через полгода все здесь собравшиеся будут целы и невредимы, а следовательно, мы не можем быть уверены, что наш план будет выполнен. С этим согласились все, слышавшие речь Желябова, и это сильно подействовало на него. Он не захотел, чтобы вопрос о его отъезде был поставлен на баллотировку, т. к. предвидел отрицательный ответ.

На этом кончилось заседание, оставившее в сердцах всех присутствующих впечатление неизгладимой грусти, т. к. все чувствовали, что собрание подрезало крылья одному из самых выдающихся своих членов." Желябов, несомненно, был человеком трагическим. Но его трагедия была не узко личная, а общественная, трагедия целого революционного поколения. Желябов чутко воспринял деревенское разорение, злосчастье и измывательства над крестьянином со стороны чиновничества, духовенства, дворянства. Сын крепостной деревни, он не забыл ее. Природный агитатор и организатор, он по-настоящему находил себя только в трудовой массе. Но оттого, что общественные отношения тогда страдали крайней отсталостью, оттого, что наш крестьянин был еще заражен многими патриархальными предрассудками, Желябов глядел на эту массу глазами утописта-народника. Он не видел, что крестьянин-труженик в то же время есть и мелкий собственник и что идти к социализму он может только под руководством класса пролетариев. Разуверившись, что путем пропаганды при тогдашнем сыске, при народной темноте я забитости можно рассчитывать на победоносную мужицкую стихию, Желябов ушел в героический террор. Но уйдя в него, он продолжал тяготеть своими помыслами к крестьянину, к рабочему. Недаром Андрей Иванович говорил: — Я покажу, что "Народная Воля",

занятая борьбой с правительством, будет работать и в народе. — Показать это ему не удалось; показать это при терроризме, не связанном массовой борьбой, было невозможно. Отсюда трагическое раздвоение. Сознал или не сознал трагичность своей позиции Желябов? По некоторым признакам, надо думать, он ее превосходно сознал. Об этом свидетельствуют воспоминания Ошаниной-Оловенниковой; их коснемся мы позже. Об этом говорят слова Андрея Ивановича на суде о розовой юности; они прозвучали как долго сдержанный стон, единственный во всех его судебных выступлениях. В сущности об этом говорят и приведенные воспоминания Корбы-Прибылевой. Желябов был рожден народным вождем. Заславский, биограф Желябова, прав, когда писал, что если бы тогда, хоть временно победила революция, то во главе революционного правительства встал бы непременно Андрей Иванович. Дейч то же утверждал. Он обладал почти всеми данными для крупного политического деятеля... К сожалению, время и условия, при которых пришлось жить этому выдающемуся человеку, не дали ему возможности развернуться шире. Желябов вступил в сражение с могущественным деспотическим аппаратом, руководя небольшой группой конспираторов, ему пришлось пойти 'в бой без массы, пережив ряд крушений. Но свою трагедию Желябов пронес через жизнь мужественно, ибо он принадлежал к великому прометееву племени...

... Соратник Желябова, а впоследствии предатель, Окладский, привлеченный к советскому суду, следователю Игельстрему говорил о Желябове:

— Вы его не знали и вам он кажется героем, а я с ним спал чуть ли не на одном столе и знаю его будничную ежедневную жизнь. У него, конечно, были свои достоинства, он был незаурядный организатор и пропагандист, но у него было очень много недостатков, а еще больше тщеславия^[77].

Враждебный отзыв о Желябове в устах Окладского вполне понятен. Вероятно у Желябова, как у всякого человека, были свои недостатки, но праздным тщеславием он не страдал. Возможно, он был честолюбив. Семенюта о Желябове в бытность его в Одессе повествует:

— У него сделалось какое-то органическое отвращение ко всему, что так или иначе носит следы, или имеет какое-нибудь отдаленное сходство с аристократизмом. Вероятно, поэтому он так старательно уклонялся от свидания с Осинским.

"Ты знаешь, не люблю этих белоручек".

Быть может, играли известную роль большое самолюбие и честолюбие Желябова: на вторую роль он не согласился бы, ну, а первая едва ли бы

далась ему рядом с Осинским. Желябов был непобедим среди толпы, а в обществе, среди интеллигенции, Осинскому принадлежала пальма первенства^[78].

Судить, кому принадлежит пальма первенства среди интеллигенции, Осинскому или Желябову, нам, понятно, не приходится, но ничего дурного в революционном честолюбии видеть нельзя. Сущность революционного честолюбия заключается в стремлении выделиться своею преданностью революции, трудовому народу. Что же худого в таком стремлении? Андрей Иванович имел все права быть честолюбивым; он обладал богатейшими способностями, не жалел себя. В конце концов, он стремился опередить других на путях, которые вели к эшафоту...

У боевого друга его, А. Тыркова, есть в воспоминаниях одно очень любопытное замечание:

— Желябов вел себя совершение как равный с равными, как товарищ. Несмотря на его такт, в нем была, однако, какая-то жестокость силы, которая сама неудержимо стремится вперед и толкает перед собой других...

Это вполне возможно и даже весьма вероятно. Такой "жестокостью" страдают все люди, высоко одаренные. От богатства сил своих они предъявляют к окружающим большие требования; многое им кажется простым, естественным и легким только потому, что у них самих это выходит просто, естественно и легко.

Желябов сам не знал покоя и отдыха и от своих товарищей требовал неутомимости.

Фигнер утверждает, в Желябове "не было решительно ничего утонченного, это был прекрасный мужик, переработанный образованием и культурой". В Желябове, действительно, не было той упадочной утонченности, какую мы наблюдали, скажем, в известных кругах интеллигенции накануне революции; но вместе с тем этот "прекрасный мужик" был способен на переживания и замечания очень глубокого и тонкого свойства. Например, он сказал о Михайлове:

— Михайлова многие считают человеком холодным, с умом математическим, с душою, чуждою всего, что не касается принципа. Это совершенно неверно. Я теперь хорошо узнал Михайлова. Это — поэт, положительно поэт в душе. Он любит людей и природу одинаково (конкретно, и для него весь мир проникнут какою-то чисто человеческою, личной прелестью. Он даже формалистом в организации сделался именно как поэт; организация для него — это такая же личность, такой же дорогой для него "человек", делающий притом великое дело. Он заботился о "ней" с такою же страстной, внимательной до мелочей преданностью, с какой

другие заботятся о счастье "любимой женщины".

Совершенную правильность оказанного подтвердил впоследствии сам Михайлов своими автобиографическими записками, а еще больше своими предсмертными письмами. В них заядлый заговорщик действительно — Настоящий поэт. Но в этих словах Желябов сам раскрывается с новой и неожиданной стороны; такие замечания способен делать только человек сложной духовной организации. Следует пожалеть, что до нас дошли лишь смутные обрывки подобных высказываний,

Об интимной жизни Андрея Ивановича сведения тоже чрезвычайно скудны. Семенюта упоминает о некоей "барышне", привязанность к которой Желябов питал с молодости целые десять лет, причем он требовал якобы и от других преклонения перед своей возлюбленной. Жену свою Ольгу Семеновну Желябов любил, но люди они, как уже отмечалось, были разные, и когда Андрей Иванович вступил в ряды террористов, он потребовал развода. Ольга Семеновна, тоже по-своему очень любившая мужа, долгое время от развода отказывалась, но потом вынуждена была на него согласиться. По отзывам современников Желябов легко увлекался женщинами, и про него можно сказать, что сказал Степняк-Кравчинский про Валерьяна Осинского: он любил женщин и был любим ими.

Вступив в террористическую организацию, Желябов сошелся с Софьей Львовной Перовской. Еще на Липецком съезде Андрей Иванович "восхищал" Перовскую, хотя она тогда не соглашалась с ним и была завзятой народницей, отрицавшей "политику". Лев Тихомиров, утверждавший в своих воспоминаниях, что одно время он, Тихомиров, считался женихом Перовской, сообщает: самолюбивая, властная, с резко выраженной женской натурой, Софья Львовна всей душой полюбила Желябова и даже "стала его рабой и находилась в полном порабощении". Отзыв Тихомирова справедлив только в одном: Перовская, действительно, всем сердцем полюбила Андрея Ивановича.

Что известно об этой любви? Почти ничего. Не осталось никакой переписки; воспоминания современников сдержанны, скудны; такими они и должны быть о личной жизни у этих людей. Тут нечем поживиться повествователям и романистам. Все сокровенно, похоронено навеки, навсегда.

Ашешев называет Перовскую мужененавистницей; будто бы она считала женщин выше мужчин и щепетильно-ревниво относилась к достоинству женщины. Сердце ее было "забронировано от страстных увлечений, свойственных вообще людям". Желябов, однако, подчинил себе эту "мужененавистницу".

Прежде всего, очень сомнительно, чтобы Софья Львовна являлась мужененавистницей. Перовская, — это отмечает и Ашешев, — из последних сил, не жалея жизни, стремилась освободить товарищей-мужчин из каторжного заключения; неудачи переживались ею очень тяжело. Она была также в высшей степени заботлива к нуждам своих товарищей. Словом, незачем приписывать Андрею Ивановичу, будто только он помирил Софью Львовну с "сильным полом". Все это обывательские домыслы. Можно, однако, с уверенностью сказать, что, помимо всего прочего, Желябова и Перовскую сильно сближала их общая тяга к пропаганде в народе; недаром они деятельно занимались в рабочих кружках я вместе хлопотали над "Рабочем газетой".

Это была сильная и горькая любовь. Перовская любила Желябова первой любовью, но и последней. Последней любовью любил Перовскую и Желябов. Оба были обречены, оба знали, что жить осталось, самое большее, месяцы. Оба каждый день, каждую ночь ждали развязки. Он приходил к ней пропахнувший динамитом. Она отдавала ему отчет в наблюдениях за выездами царя. Они глядели друг на друга и видели, как на очи спускалась тень смерти. Они были бестрепетны, они были бесстрашны, но кому ведомо, во что обходилось это бесстрашие, что было передумано и пережито в минуты скорби и усталости. Эта, на вид крестьянская девушка, розовощекая, с русой косой, со светло-серыми глазами, с розовыми пальцами, скрытная, сдержанно-страстная, умела быть женственной и мягкой. Не случайно в ее облике так много детского, в этих нежных, припухлых щеках, в слабо и неопределенно очерченном подбородке, в ясном и чистом взгляде. Но ведь и он порой напоминал собою ребенка; так просто и заразительно он смеялся, как любил он подшучивать, похвалиться своей силой. Она отдавала террору свою любовь, отдавала мужа, возлюбленного, отца будущих детей, товарища, вожака партии. Он терял в ней жену, сестру, боевого, бесценного и нежно-сурового друга! У людей их закала, их эпохи любовь никогда не превращалась во всепоглощающее чувство; они не распускали павлиньи перья; не значит ли это, что им легко было бросить свою любовь палачам на расправу?! И. И. Попов сообщает:

— В конце 1880 г. на одной вечеринке я видел Желябова и Перовскую. Софья Львовна скромно сидела за чайным столом и тихо разговаривала с соседями по столу. Желябов, с темнорусой бородой, с длинными, густыми волосами, зачесанными назад, в вышитой украинской рубашке под пиджаком, принимал деятельное участие в танцах (плясали русскую) и пении. Я конечно, не знал их настоящих имен, но по отношению к ним

окружающих чувствовал, что и Желябов и Перовская в партийной иерархии занимают высокие места... С Желябовым было связано представление, как о вожде... (И. И. Попов. — Минувшее и пережитое. Изд. "Академия", 1933 г.).

Он умел распоряжаться, приказывать, повелевать. Он посылал людей на смерть. Но он и сам умел подчиняться. Он шел навстречу смерти, рыл землю, проводил подкопы, соединял батареи, переносил типографские станки, шрифт. Он был — полководцем, готовым в любую минуту стать рядовым солдатом. Он соединял слово и дело, приказ и исполнение.

... Он крепко верил, что партия не умрет. Он говорил:

— Чего нам бояться? Не станет нас, найдутся на наше место другие.

Он верил в скорую победу над самодержавием. В письме к Драгоманову он писал:

— Правительству стало ясным положение его; все считают дни его сочтенными; нравственной поддержки ему не от кого ждать; только трусость, своекорыстие и неспособность к солидарному действию — в одних, да расхождение в понимании — ближайших задач между другими удерживают правительство от падения. Своевременно уступить под благовидным предлогом — таково требование политики; но не того хочет властолюбивый старик и, по слухам, его сын. Отсюда двойственность, колебание во внутренней политике. Б рас чете лишить революцию поддержки Лорис родит упования; но бессильный удовлетворить их, приведет лишь к пущему разочарованию. Какой удобный момент для подведения итогов! А между тем, все молчат; молчат, когда активное участие к делу резолюции всего обязательнее, к о г да д в а — т р и толчка, при общей поддержке, и правительство рухнет. От общества всегда дряблого много требовать нельзя; но русские революционеры, какой процент из них борется активно?...

Интересно услышать и узнать о нем обычное, совсем житейское. Н. К. Михайловский однажды рассказал о свадьбе Льва Тихомирова. Михайловский был приглашен в шаферы, надел даже фрак, взятый напрокат. Венчание происходило на Царицыном лугу в полковой церкви. Кроме Михайловского шаферами были Желябов, Ланганс, Иванчин-Писарев.

Ни писем, ни книг собственных, ни статей. Судебные показания, речь на суде, отрывок о детстве, одна передовая, одна записка — вот и все литературное наследство Желябова.

Нет ни одного воспоминания, написанного кем-нибудь тогда, до 1 марта, при жизни. Вспомнили спустя 25–30—40 лет; поневоле вспоминали

сжато, скупое; Многое безвозвратно ушло, забылось.

Собираешь, соединяешь прочитанное, услышанное в нем в цельный образ, стараешься проникнуть в него не только умом, но и воображением — и вот что-то ускользает, что-то не удается в нем схватить, запечатлеть, освоить, сделать до конца понятным и близким. Есть в Желябове нечто сокровенное, что не поддается раскрытию. Это есть во всяком человеке, но в нем больше, ощутимее. И начинаешь понимать художника Маковского, который мучительно искал чего-то в лице Желябова, что-то хотел уловить в нем и не находил и не мог уловить... И потому все вновь и вновь возвращаешься к нему...

Говорят: если исторический деятель не сумел внести в свою жизнь, в то, что он совершал, обаяния прекрасного, его неминуемо забывают, несмотря на великие подвиги, ибо люди — так утверждают многие — ценят только прекрасное.

Жизнь Андрея Желябова была благородна и прекрасна.

В Желябове чувствовалось львиное дыхание грядущей победоносной революции.

СОРАТНИКИ

Какой блестящий, преданный круг друзей!.. Александра Михайлова недаром называют охранителем и пестуном "Народной Воли". Предоставим о нем слово Льву Тихомирову, вместе с ним входившему в тройку Распорядительной комиссии Исполнительного комитета. Вот что писал Тихомиров о Михайлове, уже будучи ренегатом и монархистом.

— Теперь прошло с тех пор 20 лет, у меня нет иллюзий и я совершенно хладнокровно и убежденно говорю, что Михайлов мог бы при иной обстановке быть великим министром, мог бы совершить великие дела для своей родины...

Нравственная основа была очень хороша у Александра Михайлова. Личность в основе необычайно чистая и искренняя. Уверовавши в революцию для блага родины и народа, он отдался этой революции совершенно, без остатка, весь целиком жил революцией, не как принципом, не сухо, не мрачно, не по долгу, а всем своим существом. Это был здоровый, крепкий парень, веселый, жизнерадостный... каждый успех дела радовал его чисто лично... Когда он стал заниматься городскими заговорами да "террором", он решил, что тут нужно беречь силу. И с этого времени Михайлов вел такой режим, что всякий врач залюбовался бы него. Никакого ни в чем излишества... Никогда, ложась спать, Михайлов не забывал завесить окна чем-нибудь плотным, чтобы утром свет не портил глаз. Глаза особенно нужны заговорщику и "нелегальному". Нужно видеть далеко и отчетливо, все и всех на улице. И уж насчет "слежения" за собой (как и за другими) Михайлов мог поспорить с самым гениальным сыщиком. Он видел на улице все, среди сотен физиономий моментально различал знакомых или "подозрительных" и умел устроить так, что его самого трудно было заметить. Для этого у него всегда был целый запас заранее замеченных магазинов, проходных дворов, лестниц, выходящих на разные улицы. И в каждом новом городе, знакомясь с людьми и делами, немедленно знакомился и с этой своего рода заговорщицко-шпионской "топографией". В знакомом большом городе, как Москва или Петербург, он был буквально неуловим, как зверь в лесу. Он всегда умел куда-то мгновенно исчезнуть, как сквозь землю провалиться. Точно так же он никогда не забывал узнавать возможно полнее весь персонал тайной полиции. Стоило ему услыхать от кого-нибудь о сыщике, — он немедленно

записывал имя, адрес, приметы, старался лично посмотреть этого сыщика и знал их, действительно, множество, оставаясь им неизвестен и постоянно меняя физиономию и костюмы. Кто-нибудь скажет: "Достоинства ловкого сыщика". Да, но ими владел и Мацини. Не из любви к сыществу выработал себя и этом отношении Михайлов, а потому что это нужно. Он был редким организатором. Не видел я человека, который умел бы в такой степени группировали людей не только вместе, но и направляя их, хотя бы помимо их воли, именно туда, куда, по его мнению, нужно было. Он умел властвовать, но умел и играть роль подчиняющегося, умел уступать видимость первого места самолюбивому; конкуренту, не имел ни самолюбия, ни тщеславия, не требуя ничего для себя, лишь бы дело шло куда нужно. Всякий талант, всякая способность в других радовала его. Я не знаю, был ли он о себе высокого мнения, но во всяком случае не гордился и, конечно, просто не интересовался этим вопросом. А между тем, он был истинной душой и творцом той организации, которая зародилась в сердце кружка "Земли и Воли" и потом превратилась в "Народную Волю", где десяток человек "Исполнительного комитета" умел держать около себя в разных кружках, в конце концов, около 500 человек готовых исполнять распоряжения "Комитета". Этот "Исполнительный комитет" создан Михайловым и развивался и рос, пока был Михайлов... [79]

Желябов увлекал людей своей могучей натурой народного трибуна, красочным, цветистым словом; он определял политическую практику "Народной Воли", давал "философию" террора. Михайлов заикался, в общении был скромнее, иногда даже педантичен; он "по кирпичику" создавал подпольный аппарат, обучал товарищей заговорщиков навыкам, следил за ними, оберегал их. Это он устроил Клеточникова в Третье отделение и в течение двух лет был осведомлен о всех главнейших предприятиях жандармов. Он превосходно, внутренним чутьем понимал человека, строжайше преследовал распушенность, руссопьяство, неряшливость, обломовщину; товарищей он проверял иногда со стороны совершенно неожиданной. — У вас народу, — говорил он одному, — столько бывает, а ход всего один. — Другому: — Вашего знака не видно. — О третьем он записывал: — Обязать носить очки такого-то номера.

Он не был теоретиком. Г. В. Плеханов легко одолевал Михайлова в спорах. "Вы — вы — вы всег-да-да-а так, — упрекал он Плеханова, — предста-вите друго-ого в смешно-ом виде... Какой невозможный спорщик Жорж!" Михайлов был организатор по призванию с замечательным чувством меры, с поразительной выносливостью, с неисчерпаемым упорством. Происходя на мелкопоместных дворян, типичный великоросс,

Михайлов любил крестьянство и всегда стремился к нему. Он тоже пережил пору хождения в народ и одно время находился в Поволжье среди старообрядцев, с необыкновенной методичностью подчиняясь их стеснительному для него укладу. Арестованный в конце ноября 1880 г., Михайлов судился по процессу двадцати народовольцев в 1882 г., был приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Он умер в Алексеевской равелине спустя два года, 28 лет от роду. Этот на редкость здоровый, веселый и подвижный человек был замучен в сыром, холодном каземате. Сохранилась от него замечательная автобиография, необычайно интересные свидетельские показания, а когда 40 лет спустя открылись тайники архивов департамента полиции, были обнаружены его письма к родным и товарищам, не доставленные по адресатам жандармами. Письма писались Михайловым в ожидании смертной казни. Некоторые из них являются шедеврами. Умирая, Михайлов оставил товарищам завещание, редчайший документ той поры.

— Завещаю вам, братья, не расходовать сил для нас, но беречь их от всякой бесплодной гибели и употреблять их только в прямом стремлении к цели.

Завещаю вам, братья, не посылайте слитком моле дых людей в борьбу на смерть. Давайте окрепнуть им характером, давайте время развить все их духовные силы...

Завещаю вам, братья, установить единообразную форму дачи показаний до суда, причем рекомендую вам отказаться от всяких объяснений на дознании, как бы ясны оговоры или сыскные сведения ни были. Это избавит вас от многих ошибок...

Кажется, нет предприятия, в котором он, подобно Андрею Ивановичу, не принял бы участия, и жизнь его ждет еще своего вдохновенного биографа.

Иным человеком по своему складу являлся Николай Иванович Кибальчич, "заведующий" динамитной мастерской "Народной Воли", изобретатель метательных снарядов. В добавление к тому, что давно известно о Кибальчиче, сверстник его, Сильчевский, недавно поделился своими воспоминаниями о юности Николая Ивановича. Кибальчич, сын священника, уже с детства отличался замечательно выдающимися способностями, в частности по арифметике, а впоследствии в гимназии по математике и физике, а также по языкам. Он обладал непреодолимой страстью к чтению.

— До сих пор живо помню, с каким восторгом читали мы "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Тараса Бульбу" Гоголя. Затем перешли к

Пушкину, причем Николаю больше всего, помню, понравилась "Капитанская дочка" и "Повести Белкина". Стихов же он не любил и поэзия Пушкина не производила на него никакого впечатления... Позже читали с захватывающим интересом "Айвенго", "Роб-Роя", потом Сервантеса и Диккенса, "Пиквикский клуб" и "Давида Копперфильда"... В последний год своего пребывания в гимназии, т. е. в седьмом классе, Кибальчич почему-то заинтересовался химией, добывал и выписывал популярные книжки по химии... Читали также Добролюбова, Писарева, Чернышевского. Была нелегальная библиотека; она хранилась у Кибальчича^[80].

Выглядел Кибальчич сухим, сдержанным человеком, даже вялым, очень молчаливым. Тонкие и правильные черты его лица казались безжизненными и равнодушными. Но это так казалось только с первого взгляда. Этот, якобы созерцательный человек иногда говорил, что у него появляется по временам желание бросить зажженную спичку у пороховой бочки^[81].

Кибальчича привлек в партию Александр Михайлов. Изготовлением динамита и бомб Николай Иванович принимал участие в главнейших террористических предприятиях "Народной Воли".

По наклонностям, по характеру Кибальчич был ученым, чрезвычайно одаренным, может быть, гениальным. Генерал Тотлебен о нем и о Желябове однажды заметил:

— Что бы там ни было, чтобы они ни совершили, но таких людей нельзя вешать. А Кибальчича я бы засадил, крепко-накрепко до конца его дней, но при этом предоставил бы ему полную возможность работать над своими техническими изобретениями...

Кибальчич был ученый, но он не фетишизировал науки, не занимался наукой ради науки, не отгораживался ею от людей и от жизни. Свои познания он отдал трудовому человечеству, неразрывно соединив свою судьбу с судьбой отважных людей, от которых тогдашний мир ученых отшатывался в страхе и которых считал либо преступниками, либо безумцами-фантастами.

Николай Иванович вместе с Исаевым научил народовольцев домашним способом изготавливать динамит высокого качества; изобрел метательные снаряды точной и сокрушительной силы. Вот какой разговор произошел на суде первомайцев между обвинителем Муравьевым и ученым-экспертом Федоровым:

Вопрос. Известен ли вам в науке такой тип метательных, взрывчатых

снарядов, или это совершение новый тип, которого до сих пор вы еще не видели и о котором не читали в научных сочинениях?

Ответ. Эти трубочки с серною кислотой и соединение их с смесью бертолетовой соли, антимония и сахара употребляются на практике и известно, что от разрыва трубочки с серной кислотой эта смесь воспламеняется. Но собственно о таком аппарате, где сделано такое приспособление, что от гремучей ртути взрывается пироксилин, пропитанный нитроглицерином и затем гремучий студень с камфорой — я еще не слышал.

Вопрос. Все эти приспособления, сделанные в снаряде, достаточно ли обеспечивали взрыв?

Ответ...Самое соединение было такого рода, что оно обеспечивало взрыв^[82].

На суде Кибальчич держался с удивительным хладнокровием. Говорят, он был спокойнее всех. "Первоприсутствующий" Фукс настолько поразился им, что считал его главным лицом в процессе. Некоторую горячность Кибальчич обнаружил лишь тогда, когда зашла речь, насколько далеко действовали его метательные снаряды и динамит. Кибальчич избегал человеческих жертв и, приготовляя снаряды, заряжая мины, всеми способами старался ограничить их действие необходимым местом. По этому вопросу он вступал неоднократно в спор с экспертами. Его защитник Герард рассказал на суде:

— Когда я явился к Кибальчичу, как назначенный ему защитник, меня прежде всего поразило, что он был занят совершенно иным делом, ничуть не касающимся настоящего процесса. Он был погружен в изыскание, которое он делал о каком-то воздухоплавательном снаряде; он жаждал, чтобы ему дали возможность написать свои математические изыскания об этом изобретении. Он их написал и представил по начальству. Вот с. каким человеком вы имеете дело...^[83]

Этот соратник Желябова воскресил легенду об Архимеде и доказал ее правдоподобие.

Ничего почти неизвестно о личной жизни Кибальчича. Он жил уединенно. Одиноким он в известном смысле чувствовал себя и среди единомышленников, потому что был занят не только заговором, но и своими научными изысканиями.

Проект его воздухоплавательного аппарата оценивается в наше время чрезвычайно высоко, И как это вообще замечательно и символично, что революционер, разрешал, идя на эшафот, проблему воздухоплавания!

Пусть человечество неустанно стремится все выше и выше!

Софья Львовна Перовская была аристократкой по происхождению. Дед ее — министр просвещения отец — петербургский генерал-губернатор, дядя — "покоритель" Средней Азии.

Еще совсем юной Софья Львовна бежала из дому от отцовского гнета. Входила в кружок Чайковского, работала оспопрививательницей в деревнях Самарской губернии, вела пропаганду среди петербургских рабочих, ведала сношениями с заключенными в Третьем отделении. Говорили, что из Третьего отделения ей приносили подкупленные жандармы не только записки, но и следственные дела арестованных, — что по ее желанию к ним ее даже подсаживали. Скорее всего это — легенды, но легенды показательные.

Софье Львовне исполнилось 18 лет, когда последовал арест и освобождение до суда. Затем — процесс 193-х. Перовскую оправдывают, но назначают к административной высылке на Север. Бегство. "Земля и Воля". Попытки освободить Войнаральского. Перовская выслеживает жандармов. Конспиративная квартира. Неудача! Облава. На вокзале, замешавшись в толпу, Софья Львовна наблюдает за отъездом товарищей, которых повсюду ищут охранники. Поездка в Крым с целью повидаться с матерью. Арест. Бегство с дороги на станции Чудово. Погоня, лес. кустарники. Попытка вырвать заключенных из Харьковского каторжного централа. Споры о деревенщиках и террорристах — политиках. Съезд в Воронеже. "Народная Воля". Желябов. Покушение на царя под Москвой. Подготовка цареубийства весной 1880 г, в Одессе. Петербургские рабочие кружки. Новая подготовка к цареубийству; Наблюдение за царскими выездами. Арест Желябова. Заместительница Желябова. 1 марта. Арест. Суд. Эшафот на 28-м году жизни. Одна из ее подруг сообщает:

— Я жила с Перовской в одной комнате, когда (в ноябре) получилось известие, что в Петербурге многие из членов "Земли и Воли" арестованы. Трудно изобразить, какое горе причинило ей это известие. Как человек чрезвычайно скрытный, она ни перед кем не изливала его и казалась даже спокойной и не особенно убитой, но зато по ночам, когда она была уверена, что я сплю и никто не слышит ее, она давала волю своему горю. Помню, как Перовская провела первые три ночи после получения известия. Что это были за ночи!.. Я вынуждена была притворяться спящей из боязни своим присутствием или участием только стеснить ее... [\[84\]](#)

Пожалуй, никто из народовольцев с такой страстностью, с таким упорством, упрямством и горячностью не стремился освободить заключенных, как это делала на протяжении своей жизни Перовская. Она,

как сестра, покупала для них теплые вещи, сыр, лимоны, яблоки, книги, налаживала переписку. Известно также, она самозабвенно любила, свою мать и каждое свидание с нею было для Софьи Львовны праздником. Во всем этом много женственного, матерински чуткого и нежного.

Вместе с тем она умела быть не только деловитой и строгой, но и безоговорочно требовательной и беспощадной. Когда не удалось освободить Войнаральского, Перовская осыпала товарищей жестокими упреками, называя неудачу "позорной и постыдной для революции". — Зачем давали промахи? Зачем не гнались дальше? — Она забыла, что нападение на конвой среди бела дня, погоня почти до самой станции были верхом героизма даже в те героические времена. По поводу неудачных попыток освободить Мышкина Тихомиров сообщает: — Перовская была буквально бешеная и осыпала меня такими ядовитыми словами, на которые столь изобретательны женщины: — и проворонили, и неизвестно, зачем ездили. — Тихомиров утверждает, что Перовская была сильная женская натура со всеми недостатками, обычными для женщины^[85].

Однако она возбуждала в окружающих преклонение к себе и не как к женщине, а прежде всего как к боевому товарищу. Она умела соединять в себе женственность, материнство с боевой непреклонностью; она умела собой превосходно владеть. Никто никогда не слыхал от нее ни одной жалобы, ни одного стона. Она уходила, не тратя никогда часов и вечеров для одного только удовольствия быть в обществе приятных людей (Степняк-Кравчинский). Она умела влиять на людей, подчинять их революционной идее, заражать людей преданностью и непоколебимостью. Аккуратность и точность ее были безупречны. Недаром ей поручались наблюдения за выездами, работа, требующая выдержки, внимания, методичности, острого глаза. Перовская долго колебалась, пойти ли ей в террор, потому что ей нелегко было отказаться от работы в народе. Было в ней нечто от "простонародья", от крестьянки, у этой родовой аристократки; она прекрасно изображала горничных, кухарок, когда того требовали условия заговорщицкой работы.

Она любила Желябова. Как она любила его, дает представление такой рассказ:

После убийства царя Перовская зашла к подруге узнать о процессе. Она не теряла надежды, что Желябова не повесят. Подруга сообщила, что она повидается со знакомым генералом, близким к самым высоким сферам. Она увиделась с ним, узнала, что участь Желябова решена, и в условленное время встретилась с Перовской.

Я передала ей, что знала. Я не видела ее лица, потому что смотрела в

землю. Когда я подняла глаза, то увидела, что она дрожит всем телом. Потом она схватила меня за руки, стала нагибать голову ниже и ниже и упала ничком, уткнувшись лицом в мои колени. Так оставалась она несколько минут. Потом она поднялась и села, стараясь оправиться, но снова судорожным движением схватила меня за руки и стала сжимать их до боли. — Когда подруга сказала, что генерал удивлен, почему Желябов подал заявление. Перовская ответила: — иначе нельзя было. Процесс против одного Рысакова вышел бы слишком бледный.

Генерал сообщил мне многие подробности относительно гордого и благородного поведения Желябова. Глаза ее загорелись и краска вернулась было на ее щеки...

Перовская не умела прощать, но никогда не просила и себе снисхождения. Наша прекрасная литература дала Татьяну, Лизу, Соню Мармеладову, Грушеньку, Наташу Ростову, Анну Каренину, но не сумела запечатлеть породу Перовской. И, понятно, что дело тут далеко не в одних цензурных стеснениях; причины глубже. Она была достойной подругой Желябова. Не одну женщину-революционерку, не одного мужчину-революционера ее тень проводила впоследствии на эшафот или к месту расстрела; не одного бойца укрепляла она в самые тяжелые и тягостные моменты боевой деятельности.

Нет места рассказать о других славных сподвижниках Андрея Ивановича Желябова. А очень хотелось бы о них рассказать. Хотелось бы рассказать о Квятковском, Колоткевиче, о Фроленко, об Исаеве, о Морозове, о Ширяеве, о Грачевском, о Преснякове, Баске-Якимовой, об Ошаниной, о Любатович, о Гесе Гельфман, о Михайлове, о Гриневицком, об Ивановской, о Корбе-Прибылевой, о том, как героически, из последних сил старалась после мартовских дней восстановить Исполнительный комитет Вера Николаевна Фигнер. И о многих других надо бы рассказать, об их великих подвигах и отважном их духе. Когда-то Генрик Ибсен с завистью заметил, что в деспотической России выделилась плеяда героев, поразивших весь мир. Плеяда этих людей, в самом деле, удивительна.

Это были крепкие, здоровые люди, общительные, жизнерадостные, веселые, простые, нисколько не похожие ни на психопатов Достоевского, ни на нигилистов Лескова, ни на "гамлетов" Тургенева. Отличались они и от позднейших террористов, соратников Савинкова. У народовольцев-террористов были крепче связи с жизнью, с народом, с товарищеской средой, у них было больше непосредственности и воли к жизни. Каляевы — люди героические, они умели героически помирать, но уже не умели жить. И не случайно Ропшин-Савинков свое время и своих современников-

террористов и в своих воспоминаниях, и в "Коне бледном", и в романе "То, чего не было" изобразил упадочно. О Желябове, о Перовской, о Михайлове, о Кибальчиче такие повести и романы можно написать, только впадая в чудовищные преувеличения.

ПОЕДИНОК

Надо было торопиться
Удары врага делались все более меткими
В Саперном переулке охранники с боем захватили типографию.
Млодецкий по личному умыслу неудачно стрелял в Лорис-Меликова.
Его публично казнили.

В Киеве суды и казни.
Исполнительный Комитет вынужден закрыть типографию на Подольской улице и динамитную мастерскую на Подъяческой: жандармы открыли их. "Хозяевам удастся скрыться".

Пресняков, убивший предателя Жаркова, при аресте, отстреливаясь, ранит околоточного надзирателя и швейцара.

Суд над шестнадцатью народовольцами. Квятковский и Пресняков повешены; Степан Ширяев, Зунделевич, Бух и другие заточены пожизненно в казематы.

Взят Александр Михайлов. Взят Николай Колоткевич, взят Фридман.

Удары учащаются. Враг громит Исполнительный комитет, самые боевые учреждения захватывает лучших, главарей. Может быть, провалы незаконномерны? Бесспорно, арест Александра Михайлова — несчастная случайность. Он получал в фотографическом кабинете карточки казненных товарищей и при выходе был схвачен по предварительному доносу фотографа. Оплотности бывают и с такими людьми, как Михайлов. Но уж никак нельзя назвать случайной целую систему арестов; никак нельзя считать случайными удары в самую голову, в самое сердце "Народной Воли". Еще совсем недавно Клеточников вовремя предупреждал нападения жандармов, раскрывал их замыслы, и партия крепла, партия росла. Исполнительный комитет был неуловим. Положение теперь резко изменилось; правительство оправилось, уверенной рукой наносит оно удары. Кто-то предает партию. Кто-то предает партию, зная ее вожakov, зная работу и замыслы. Процесс шестнадцати открыл предатели Гольденберга; по его указаниям власти усиленно ищут Желябова, Перовскую, Якимову и других. Но почему обнаружены квартиры на Подольской и на Подъяческой улицах? Гольденберг о них не знал. Почему больше не помогают самые тщательные предосторожности? Враг перешел в решительное наступление. Лорис-Мелкиов распустил Верховную

комиссию, подчинил себе корпус жандармов, обратился к "русскому обществу" с либеральными призывами. "Русское общество" развесило уши, а тем временем хитрый Лорис неистово истреблял революционеров.

Желябов превосходно понимал эту тактику. Он не уставал твердить, что, прикрываясь либеральной болтовней, Лорис ведет борьбу с революционерами даже более беспощадно, чем его предшественники. Желябов рассчитывал устроить правительство систематическим террором, но террористические предприятия не удавались; правительство само перешло к систематическому белому террору. Правда, царь и его приближенные все еще были очень напуганы. При выездах царь охранялся конвоем, сворой шпионов, жандармов. Царь, как будто, даже был готов пойти на кое-какие уступки "обществу"; разрабатывались либеральные проекты. Но все же надо было торопиться; незначительное промедление могло повести к крушению всего предприятия. И вот происходит беспримерный поединок. Окруженный полицией, сыщиками, имея осведомителей внутри партии, при всеобщей трусости "общества", при рабстве и забитости, наполовину разгромленный Исполнительный комитет в центре столицы, около самого дворца, по прямому соседству с карательными и следственными органами после Шестой неудачи организует новое, седьмое покушение. Теперь Желябов и его товарищи решили действовать наверняка. Желябову поручается найти дом по одной из улиц, где царь проезжает из дворца в манеж. В доме графа Менгдена по Малой Садовой в подвальном помещении открывается лавка сыров. Помещение это Андрей Иванович сначала снимал под магазин осветительных материалов. Хозяева лавки — Юрий Николаевич Богданович и Якимова-Баска под фамилией Кобозевых. Лавка приспособляется для подкопа. Наружная стена заделывается досками. Вот как Якимова-Баска описывает работу по подкопу:

— Подкоп велся под окном нашей комнаты ночью, для чего окно тщательно завешивалось, чтобы с улицы нельзя было видеть света; окна же магазина были открыты, и с улицы, при слабом освещении от лампадки перед иконой Георгия Победоносца, на белом коне, можно было видеть кое-что в магазине. Перед началом работы деревянная обшивка стены снималась. Она была так приспособлена, что легко выдвигалась, когда было нужно, и после работы так же легко ставилась на место, но в закрытом состоянии, при нажиме снаружи, была неподвижна; на месте соединения обшивки обои каждый раз подправлялись незаметным образом, разное трудное было пробить без шума цементированную стену, вслед же затем дело пошло более или менее быстро, пока работающие не наткнулись

на железную водопроводную трубу, но и тут они довольно скоро обошли ее, немного изменив направление, т. к. водопроводные трубы были довольно тонкими; затем, вскоре, через 3-сажени от начала подкопа наткнулись на водосточную деревянную трубу, ширина и вышина которой была приблизительно 1 аршин X 1 аршин. Это представило серьезное препятствие и вызвало задержку в виду того, что обойти трубу снизу нельзя было без риска погрузиться в воду, потому что подпочвенная вода находилась очень близко, а подняться вверх нельзя было, т. к. мог произойти обвал мостовой. В виду этого, удостоверившись в том, что труба наполнена только на половину своей вместимости, работающие решили в ней сделать вырезку для прохода бурава и для продвижения сосудов с динамитом при закладке мины. Как только прорезали трубу, распространилось такое ужасное зловоние, что работающие при всяких предохранительных средствах, даже надевая респираторы с ватой, пропитанной марганцем, могли пробыть там лишь самое короткое время, не рискуя упасть в обморок. После необходимой вырезки в трубе она была тщательно заделана.

И потом уже до конца, до середины улицы, работа шли без всякой задержки. Приходилось только все время производить работу наивозможно без шума, т. к. очень близко был пост городского, а в моменты, когда звуки неминуемо усиливались, приходилось следить за городским и ждать, когда он отойдет подальше... Работали в подкопе: Колоткевич, Желябов, Суханов, Баранников, Исаев, Саблин, Ланганс, Фроленко, Дегаев и Меркулов... [\[86\]](#)

Работали в две смены. Желябов приходил на ночную смену.

За улицей усиленно следили шпионы и полиция: по ней ездил царь. Приходилось соблюдать особую осторожность. Работники были люди молодые; это тоже могло показаться подозрительным.

При выездах царь менял направление. Желябов предпочитал подкопу метательные снаряды. По поручению Исполнительного комитета он организовал группу метальщиков и наблюдателей, главным образом из боевой рабочей дружины. Дружина состояла отчасти из рабочих, отчасти из интеллигентов — народовольцев. Боевая дружина стремилась к устранению шпионов в рабочей среде, к подбору и воспитанию террористов, к поддержке инсurreкции. Нужно было правильно наладить наблюдение. В наблюдательный отряд вошли: Перовская, Гриневецкий, Рысаков, Оловенникова, Тырков, Тычинин. Наблюдатели разделялись на пары, которые должны были чередоваться, чтобы не броситься в глаза. Наблюдатели часто собирались; на собраниях обычно присутствовал и

Желябов. Начальником наблюдательного отряда была Перовская. Наблюдение началось с Зимнего дворца. Узнали, что царь во втором часу выезжает в Летний сад, а по воскресеньям бывает на разводе в Михайловском манеже, следуя по Невскому и по Малой Садовой. Путь охранялся сыщиками, одетыми в штатское. Царь ездил очень быстро. Из манежа он возвращался по Екатерининскому каналу. Перовская заметила: на повороте от Михайловского театра на Екатерининский канал кучер обычно задерживает лошадей. Она нашла это место удобным для покушения.^[87]

Было решено: если царь не поедет по Малой Садовой, где была лавка Кобозева, то на Екатерининском канале на него нападут метальщики. Круг для царя замыкался.

Желябов рыл подземную галлерею, подбирал боевую дружину, выступал среди рабочих, военных, среди студентов, посещал и работал в динамитной мастерской. В середине февраля в Парголове производилась проба метательных снарядов; Желябов на ней присутствовал вместе с Кибальчичем и с боевиками. Даже его, воистину богатырский организм стал сдавать. Он выглядел очень утомленным. Он превосходно понимал: поставлена ставка на самое существование партии. "Ведя террористическую борьбу, — говорил Желябов, — "Народная Воля" проживает свой капитал". Террору отдавались лучшие люди. Революция создавала их десятилетиями — в крови, в пытках, в казнях, в каторжных мучениях. М. Н. Оловенникова, член Исполнительного комитета, рассказывает:

— Он чувствовал, что большинство выбудет из строя, и, говоря со мною, в этот раз, признавал, как и раньше, пагубную сторону террора, затягивающего помимо их воли людей. Я хорошо помню этот разговор потому, что он продолжался и на другой день.

Что будет после покушения, удачного или неудачного? Ни на какие серьезные перемены в политическом строе Желябов не рассчитывал. Максимум, что он и другие ждали, это, что нам будет легче продолжать свою деятельность: укрепить организацию и раскинуть ее сети во всех сферах общества. Но и это при условии, что уцелеет хоть часть людей, способных и привыкших вести дело общей организации. Желябов боялся, что и этого может не быть. Поэтому-то он и придавал такое значение Москве, думая, что там кроется та ячейка, из которой выработается новый комитет в случае гибели старого... Я уехала из Петербурга а в очень тяжелом настроении. Фраза Желябова: — Помни, если твоя Москва не выручит, будет плохо, — показывала ясно, насколько положение шатко...

Из этих замечаний Ашешев в своей книге о Желябове вывел заключение не только о физическом недомогании, но о моральном кризисе Андрея Ивановича. Выводы чересчур поспешные. Не такова была неукротимая натура Желябова, чтобы притти в отчаяние и стремиться к самоубийству. Очень любопытно с рассуждениями Ашешева сопоставить некоторые следственные показания Рысакова. Эти показания выделены и приобщены к позднему делу двадцати народовольцев и опубликованы сравнительно недавно.

— Мне помнится, — сообщает Рысаков, — что каким-то революционным изданием указывалось на исключительность настоящего года, на голод, язву на скот и т. д.... партия надеялась на восстание не позже этого года — весны и лета, потому что слышал от Желябова, что среди студенчества и интеллигенции проводится мысль о баррикадах, — те же мысли за последнее время агитировались и среди рабочих... Желябов, кажется, сказал, что упустить подобный год было бы для партии непростительной глупостью, не сделав всего возможного от нее, ведущего к восстанию... Последний факт покушения должен быть удачен во что бы то ни стало...

Более опытные революционеры, например, Желябов, утверждали, что одного удара недостаточно, необходим целый ряд их... Для меня теперь вполне ясна мысль, выраженная на квартире Перовской, что после папаши нужно приняться за сына... [89]

Вспомним также приведенный выше рассказ Прибылевой о том, как собирался Андрей Иванович возглавлять предполагаемое восстание в Поволжье в связи с голодом. Рассказ этот совпадает с сообщением Рысакова. Желябов не думал, что убийство царя непосредственно приведет к восстанию, но он рассчитывал, что год исключительный, голодный; ряд боевых ударов по правительству, агитация в массах могут сильно пошатнуть положение правительства. Так думали и другие члены Исполнительного комитета. Желябов ошибался. Об ошибках, о неудачах, о преувеличенных ожиданиях легко говорить, оглядываясь назад. Во всяком случае, Желябов шел на поединок с полной верой в дело "Народной Воли". Но, несомненно, пагубную сторону террора он сознавал остро и гибель товарищей его очень тревожила.

— Враг продолжал громить испытанные, закаленные кадры. Взят член Исполнительного комитета А. Баранников. Взят член Исполнительного комитета Колоткевич. Взят на границе член Исполнительного комитета Морозов. Взят Клеточников, согладаясь партии в Третьем отделении. Взят

Лев Златопольский. Взят рабочий Тетерка.

Это — разгром. Опричники действуют метко. "Народная Воля" несет неслыханные потери. Кто-то предает ее. Кто-то изменил ей коварно и подло. Исполнительный комитет обсуждает вопрос, не попытаться ли вызвать восстание, когда царь будет убит. Подсчитывают силы. С сочувствующими набирается до 500 человек. В открытый бой с ними идти безрассудно. Подкоп продолжают вести. В лавке сыров работают уже третий месяц. Люди задыхаются в подземелье. Земля заполняет подвал. Ее покрывают сеном, заваливают каменным углем. Подступает вода.

Богданович и Якимова сделали все, чтобы выглядеть настоящими торговцами, но, видимо, это им не вполне удавалось. Новиков, долголетний содержатель молочной, "из любопытства" зашел к своему конкуренту, купил полукруг сыру. Кобозев показался Новикову "ни то, ни се". У себя в лавке он сказал своим: — ну, господа, в том торговце сомневаться нечего, потому он моей торговле вредить не может. — Впоследствии околоточный надзиратель Дмитриев и пристав Теглов утверждали, что за лавкой Кобозева было учреждено негласное наблюдение. В таких условиях велся подкоп. Андрей Иванович продолжал ходить на ночные работы, хранил дома динамит и другие взрывчатые вещества. Мину снаряжали у него. Одновременно он продолжал готовить группу метальщиков. Позже Желябов показал:

"Последовал ряд собраний для обсуждения плана нападения, места, времени, средств нападения, распределения сил и т. д. Вызванные из разных дружин, члены данной группы должны были ознакомиться между собой, сблизиться, возыметь доверие друг к другу. На это, впрочем, требовалось немного времени; больше времени уходило на ознакомление группы со средствами нападения, в частности, с метательными снарядами. С этой целью на собраниях являлся техник; он подробно разбирал разные системы снарядов: указывал все за и против каждой системы; знакомил с условиями пользования ими. На некоторых из таковых собраний был я. Боевую группу Желябов сформировал из добровольцев. В группу вошли: тихвинский мещанин Рысаков, 19 лет, студент, рабочий-котельщик Тимофей Михайлов, 21 года, студент Гриневицкий, 24 лет, сын псаломщика Емельянов, 19 лет, сын крестьянский Желябов, дворянка Перовская, словом, были представлены все сословия. Предполагалось: если не удадутся взрыв на Садовой и метание бомб, Желябов с кинжалом бросится и умертвит царя.

Но разве не поступили ошибочно Исполнительный комитет и Андрей Иванович, привлекая к такому делу, как цареубийство, девятнадцати-

двадцатилетних юношей? Последующие события показали, что в этом была допущена ошибка. Недаром Александр Михайлов в своем завещании просил товарищей не посылать слишком молодых людей "в борьбу на смерть". Желябов, хотя и умел разбираться в людях и определять им цену, отличался, однако, порою и большой доверчивостью. Он слишком поверил Рысакову, который "рвался" в дело. Разумеется, Желябов нашел бы и более преданных и возмужалых народовольцев, чем Рысаков и Емельянов; но Исполнительный комитет уже отдал для царубийства таких людей, как Перовскую, Богдановича, Якимову, Фигнер, Фроленко, Суханова. Нельзя было бросать всех видных работников в дело.

Именно по этим соображениям Андрей Иванович отвел Желвакова, который тоже просился в метальщика. Предполагалось, что под руководством опытных и испытанных боевиков юные революционеры сумеют достойно выполнить поручение. Стойкость и мужество их предварительно проверялись. Например, в конце 1880 г. были получены типографские принадлежности. Предстояло взять их с почты, что было сопряжено со значительным риском. Опасный груз предложили оставить на конспиративную квартиру Рысакову. Рысаков удачно справился с поручением. Спустя некоторое время ему дали вторую накладную, он и на этот аз не оплошал. Наконец, Рысаков был намечен только третьим метальщиком.

Что представляли собою метательные снаряды? Кибальчич на суде о них рассказывал:

— Я предлагал несколько типов, метательных снарядов, отличавшихся между собой по приспособлению для получения огня, сообщающего взрыв динамиту, и только в последнее время придумал данную форму снаряда. Огонь по стопину передается моментально и, следовательно, взрыв должен произойти в то мгновение, как только снаряд ударится о препятствие... (Из показаний Н. И. Кибальчича).

О днях, проведенных Желябовым перед 1 марта, мы таем мало. Суханов впоследствии на суде показал: и двадцатых числа февраля он, по предложению Желябова, стал ходить в лавку Кобозева и там работать. 24 февраля Андрей Иванович приводит в лавку для работы своего друга Тригони.

26 февраля у Желябова был Меркулов и по его получению отвез в лавку несколько холщевых мешков. Желябов и этим занимался.

27 февраля Меркулов встретился с Желябовым у Тригони. Тригони говорил Желябову, что в лавке работа встречает затруднения.

— Пожалуй, еще не успеет,

Меркулов получил от Желябова большую бутыл, фунтов 10 весом, завязанную в мешок; бутыл надо было доставить в лавку сыров.

По этим отрывочным сведениям можно судить, на сколько разнообразна была в эти дни деятельность Андрея Ивановича.

Нет, он отнюдь не чувствовал себя в тупике.

АРЕСТ

В конце января в Петербург приехал член Исполнительного комитета М. Тригони, сверстник и друг Желябова еще с гимназической скамьи. Тригони заметил за собой наблюдение. Он знал, что его ищут и Крыму, но мер нужных не принял, надеясь на звание помощника присяжного поверенного. Наблюдение потом как-будто прекратилось, но 25 февраля Тригони обратил внимание на своего соседа, отставного капитана во флотской форме. Капитан юлил перед Тригони, был необычайно и подозрительно предупредительным. 27 февраля Тригони в половине седьмого вечера возвратился домой от Суханова. Спустя полчаса вошел Желябов.

— У тебя в квартире, — сказал он, — кажется, полиция... Тригони вышел в коридор, был схвачен и отведен в пустой номер^[90].

Желябов тоже был арестован. Он не сопротивлялся, отдал револьвер жандармам, но назвать себя отказался. Генерал Шебеко утверждал: Желябов не пустил в дело оружие, будучи убежден, что организация покушения закончена и арест его, Желябова, только ускорит развязку. Все это очень сомнительно. Скорее всего Андрей Иванович либо не успел взяться за оружие, либо просто не видел в том смысла. При обыске у Тригони полиция обнаружила около двухсот номеров "Народной Воли" и рукопись "О провинциальных революционных организациях и отношении их к центральной организации". Осторожностью Тригони, видимо, не отличался.

Так обстояло дело по словам Тригони. Жандармская и газетная версия иная: во время ареста Милорда-Тригони неизвестный, "Петр Иванов", "человек с чрезвычайно красивым, выдающимся лицом и длинной черной бородой, сообразив случившееся, выскочил из комнаты арестованного и быстрыми шагами направился к выходной двери; но, как и следовало ожидать, дверь оказалась запертой, и Петр Иванов, подобно Милорду, очутился в руках полиции. Во время ареста Петр Иванов опустил руку в карман и быстро вынул револьвер, но оружие было моментально отобрано у арестованного. — Я — цареубийца из Александровска, — рекомендовался Петр Иванов, а затем удивился, как это могло случиться, что он допустил себя арестовать.

Измышления: я — цареубийца и т. д. вполне очевидны. Полиция

романтизировала арест, чтобы похвалиться своею доблестью, тем, как она геройски разоружила Желябова.

Тригони и Желябов, разобщенные, были незамедлительно доставлены в канцелярию градоначальства. Вместе с градоначальником Федоровым там находился и Добржинский, товарищ прокурора. Когда Желябова вели в канцелярию, Добржинский встретил его радостным восклицанием:

— Желябов, да это вы!.. "Петр Иванов" ответил:

— Ваш покорнейший слуга... Но это вам не поможет...

Добржинский знал Желябова по процессу 193-х.

Арестованных отправили в Дом предварительного заключения...

Неосмотрительность Тригони удивила и прокурора Добржинского — Он оказал Тригони:

— Как вы могли проживать под своим именем в то время, когда мы вас давно разыскиваем?

Неосторожно и то было, что Желябов продолжал навещать Тригони, когда тот уже заметил за собой

В тот же день, но несколько раньше, был взят и Меркулов. Об этих арестах Федоров на другой день доложил Лорису, а тот в свою очередь царю.

— Всеподданнейшим долгом считаю довести до сведения вашего императорского величества, что вчерашнего числа вечером арестованы: Тригони (он же Милорд) и сопровождавшее его и не желающее до настоящего времени назвать себя другое лицо; при сем последнем найден в кармане заряженный большого калибра револьвер; хотя по всем приметам, в личности этой можно предполагать Желябова, но до окончательного выяснения не беру на себя смелость утверждать это...

Жандармам еще не верилось, что им удалось захватить Желябова. Кстати, Лорис-Меликов мимоходом опровергает полицейское измышление, будто Желябов пытался отстреливаться и будто власти "моментально" его обезоружили: револьвер был найден в кармане.

Обращает внимание и полная осведомленность цари о революционных деятелях.

Весть об аресте Желябова быстро облетела "сферы". Государственный секретарь Перетц 28 февраля записывает в дневник:...Арестован один из главных вожаков социалистической партии, Желябов, участвовавший в различных покушениях на жизнь государя. Аресту этому придают весьма важное значение^[91].

В этот же день от Комарова, начальника Петербургского жандармского управления, поступило новое отношение. В нем Комаров сообщает:

крестьянин Андрей Желябов назвал себя и признал, что он организовал покушение на "священную особу государя императора под городом Александровском и сам смыкал цепь".

Желябов, действительно, еще 27 февраля дал собственноручное показание, отказавшись назвать свою квартиру, а равно и знакомых. Вот это первое показание полностью:

— Зовут меня Андрей Иванович Желябов, от роду 30 лет, вероисповедания...^[92] крестьянин Таврической губернии, Феодосийского уезда, села Николаевки; служу для освобождения родины; из родных имею отца, мать, сестер, брата (Александр, Марию, Ольгу, Михайла); все живут в том же Феодосийском уезде; женат, имею сына; где находится семейство, не знаю; полагаю, у тестя моего Яхненко, в Тираспольском уезде. Херсонской губернии.

Был судим по процессу 193-х и оправдан. Жил на средства из фонда для освобождения народа. Жил под многими именами; называть их считаю неуместным. Признаю свою принадлежность к партии "Народной Воли". Признаю, что организовал александровское покушение и смыкал батарею, т. е. покушение взорвать императорский поезд 17 ноября 1879 г. под Александровском, где жил тогда под фамилией Черемисова. Настоящей квартиры моей в Петербурге, а равно и знакомых, назвать не желаю. При задержании меня взят при мне заряженный револьвер системы Смит и Вессона и несколько патронов, а также в запечатанном конверте два листа, написанные шифром, открыть который, понятно, не желаю. Всему зачеркнутому прошу верить. Взят также ключ. Андрей Желябов. Отдельного корпуса жандармов подполковник Никольский, тов. прокурора Судебной палаты Добржинский...^[93]

Обстоятельства ареста Желябова долгое время оставались во многом неясными. Завеса была приподнята после революции, когда открылись архивы департамента полиции. Усилиями Н. Е. Щеголева, Тютчева и других удалось многое обнаружить. Действительно, следить за квартирой Тригопи начали уже 24 февраля. Редакция "Былого" опубликовала записки сыщика. По-видимому, они принадлежали "капитану в отставке". Записи велись 24, 25, 26 февраля. Сыщик старательно отмечает, куда ходил Милорд, кто у него бывал, причем автор чистосердечно признается, что Милорд "в толпе, при движении вагонов потерян из виду". Понятно, такие агенты могли играть только подсобную роль. Но в то время правительство уже располагало для уловления народовольцев людьми и более крупными.

Таким человеком был Окладский. Окладский, рабочий,

электромеханик, соучастник Желябова по покушению под Александровском и по другим делам, был арестован, судим по делу шестнадцати народовольцев в конце октября 1880 г. и приговорен к смертной казни, которую ему заменили каторгой. С начала ноября Окладский стал выдавать товарищей. Ко времени ареста Желябова Окладский являлся самым главным и самым злостным предателем. Тригони был секретно через приоткрытую дверь показан Окладскому и им опознан. Истинная роль Окладского выяснилась уже при советской власти, когда он, разоблаченный, предстал в 1925 г. перед пролетарским судом. Суд, между прочим занялся и подробным выяснением обстоятельств, сопровождавших арест Желябова и Тригони. Пролетарский суд считает установленным:

...Окладский выдал и лично указал две конспиративные квартиры партии "Народной Воли" на Подольской и Большой Подъяческой улицах, из которых в одной была типография, а в другой — заготавливался динамит, хотя в тот момент квартиры оказались незанятыми, но указание их послужило причиной ареста сначала Фриденсона, а затем — Баранникова, Колоткевича, Клеточникова и Златопольского. При дальнейших розысках охраны, при содействии Окладского 27 февраля был произведен в квартире Тригони арест как самого Тригони, так и Желябова. Одновременно Окладский принимал участие в опознании, как по карточкам, так и лично, предъявленных ему террористов — Тригони, Фроленко, Морозова и других...^[94]

За эти и за другие предательства царское правительство заменило Окладскому бессрочную каторгу сначала ссылкой в Восточную Сибирь, а затем ссылкой на Кавказ, где (Он тоже "помогал" жандармскому управлению. В 1889 г. Окладского вызвали в Петербург; здесь, по договору с Дурново он сделался негласным сотрудником Департамента полиции с жалованьем 150 руб. в месяц, в каком качестве он пребывал до самой Февральской революции...

...Спустя 45 лет Окладский на суде революции встретился со своими бывшими товарищами, с современниками Желябова. Он предавал их; каторжными мучениями их он купил себе довольство и волю. Против него на суде сидели: Якимов-Баска, Прибылен, Фроленко, Швецов, Христина Гринберг. Вот какие неправдоподобные новеллы рассказывает революция!

Пролетарский суд приговорил Окладского к десятилетнему заключению. Окладский держался на суде спокойно. Тени Желябова, Перовской, Кибальчика его не тревожили. По делу ареста Желябова Окладский держался тактики отрицания. Однако обстоятельства ареста

были очень красноречивы. Почему стали следить за квартирой Тригони? Жандармы тщательно скрывали обстановку ареста и даже прибегали к замаскировке. В газетах печатались инспирированные статьи, будто Тригони был арестован по сведениям, полученным из-за границы. Подобные сведения имели в виду отвлечь внимание от действительности. Огромные провалы начались с обнаружения конспиративных квартир на Подольской и Подъяческой улицах; квартиры были выданы Окладским, в чем он признался. Жандармы так и писали: — Мы нашли начало — это Подольская ул., № 41, отсюда мы нашли Фриденсона. — Затем следуют аресты 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января. За этими арестами следует арест 27 февраля. Желябов посещал и Подольскую улицу и другие квартиры товарищей-народовольцев, откуда его легко было проследить. Если все это сопоставить с тем, что Окладский предавал, кого только мог, что ему многое было известно, в том числе и из жизни Желябова, что ему предъявляли Тригони, то можно с уверенностью заключить: в аресте Желябова повинен прежде всего Окладский. Желябова хотели предъявить Окладскому. Об этом есть указание Лорис-Меликова в докладе царю. Неизвестно, состоялось или нет это предъявление. Надобности в нем особой уже не было: Желябов открылся. Об участии Желябова в покушении под Александровском помимо Окладского власти знали еще раньше от Гольденберга. Запираться не имело смысла.

Было обнаружено местожительство Желябова по Первой роте Измайловского полка, в доме № 31–18, кв. 23. Желябов проживал там под именем Николая Ивановича Слатвинского с Лидией Антоновной Воиновой-Перовской. Перовскую успели предупредить об аресте Желябова. Она скрылась. Квартиру очистили; однако остались разные принадлежности для производства химических опытов и, между прочим, четыре жестянки из-под конфет, одна из-под сахара, с остатками черного вещества, а также две каучуковых красных трубки. Эксперты определили: "означенное вещество" есть черный динамит, а каучуковые трубки похожи на те, которые были употреблены при устройстве метательных снарядов.

По подпольным правилам Желябов и Перовская "означенных веществ" и трубок хранить у себя не должны были. Хранение их — несомненная оплошность. Но такие оплошности допускали тогда почти все видные народовольцы. Объяснялось это, невидимому, тем, что террористы, будучи чрезвычайно нравственно-щепетильными, избегали подвергать опасностям других, в особенности сочувствующих, предпочитая брать ответственность за боевое дело только на себя; тем более, что хранение трубок и веществ угрожало казнями, угрожало взрывами. Ответственность и опасности были

величайшие. Нужно и то принять во внимание, что в те времена конспиративные правила только вырабатывались, и многое, позже казавшееся вполне очевидным, тогда таким далеко еще не представлялось. Бесспорно также и то, что в подпольных квартирах ощущался большой недостаток.

Из показаний дворников и других свидетелей выяснилось: жили Слатвинский и Воинова весьма уединенно, гостей не принимали, писем не получали. Прислуги не держали. Воинова сама покупала продукты и сама готовила кушанье. Жили бедно. Из книг обнаружили: роман Жорж Занд, "Отечественные записки", "Дневник писателя" Антоновича, "Исследование о Гайдамачине" Лукьянова, какие-то "Самоохранительные вздохи", "Деревенскую общину" Кутейникова.

Царь, получив известие об аресте Желябова, вечером поделился радостью с молодой женой... 28 февраля он записал в дневник: "в 11 часов, доклады Милютина, Гирса и Лориса. Три важных ареста: в том числе и Желябов".

Желябов арестован, опознан, а за ним еще охотятся, о нем ведется деятельная переписка. Начальник Киевского губернского жандармского управления Новицкий 4 марта сообщает директору департамента полиции свои соображения — как лучше и скорее поймать Желябова. Лучше всего организовать "последовательные систематические наблюдения за женой Желябова, Ольгой Яхненко, жительствующей на ферме Касаговка, Тираспольского уезда, Херсонской губернии".

Правда, этот район Новицкому не подвластен, но все же он считает нужным обнаружить свою неукоснительность.

— Наблюдение на ферме Касагавка, — изоцряется голубой ревнитель, — должно быть, по моему мнению строго и осторожно, умело, через особо доверенного, практичного и опытного жандарма, которому предоставить право жить в Касаговке в качестве частного лица по найму и который должен войти в семейную обстановку Ольги Желябовой, приобрести доверие... и при выезде Желябовой следить за нею. — Новицкий убежден, что нелегальный Желябов видится с женой и с сыном. Следует также установить проверку писем и депеш. При этом надо стараться "не дать ошибки и ни разу не спугнуть Желябова"^[95].

О чем думалось жандармским начальникам, когда им не спалось... Думалось им о Желябове.

Торжество среди полицейских и жандармских чинов по случаю изъятия важных "преступников" было необычайное. Полицейместер Дворжицкий рассказывает, что градоначальник Федоров 1 марта утром

собрал у себя в квартире полицеймейстеров и приставов и объявил: все идет превосходно: главные деятели анархистов Желябов и Тригони арестованы, государь полицией очень доволен.

ПЕРВОЕ МАРТА

28 февраля Исполнительный комитет собирается на чрезвычайное заседание. Что делать дальше? Ответ единодушный: продолжать дело Желябова. Немедленно заложить мину на Малой Садовой, немедленно зарядить метательные снаряды. Завтра — воскресенье, царь выезжает на развод в манеж. Во что бы то ни стало довести дело до конца.

Руководство боевыми силами переходит к Софье Перовской. Она измучена работой, потрясена арестом Желябова, но она не отступает. Желябов страшен своей неукротимой отвагой, упорством, но и женщины-народоволки могут быть тоже не менее страшны царям. Недаром Кибальчич однажды о них обмолвился в разговоре с Тырковым: — Заметили вы, что наши женщины жестче нас, мужчин?..

Медлить нельзя. Правительство напало на новые следы. В лавку сыров явился пристав с нарядом полиции и с инженером генералом Мровинским для "санитарного осмотра". "Осмотр" закончился благополучно, хотя Мровинский ворошил сено и уголь, под которыми лежала свежая земля, обследовал деревянную обшивку, кадки и подоконник.

Ночью Исаев заложил мину.

За пороховыми погребами Кибальчич в присутствии четырех металликов производит испытание снарядов. Испытание дает положительные результаты.

Всю ночь на 1 марта в квартире Исаева и Веры Фигнер готовят метательные снаряды Кибальчич, Суханов, Грачевский, Перовская. Фигнер рассказывает:

— Уговорив измученную Софью Львоану прилечь, чтобы собраться с силами для завтрашнего дня, я принялась за помощь работающим там, где им была нужна рука, хотя бы и неопытная: то отливала грузы с Кибальчицем, то обрезывала с Сухановым купленные мною жестянки из-под керосина, служившие оболочками снарядов. Всю ночь напролет у нас горели лампы и пылал камин. В 2 часа я оставила товарищей, потому что мои услуги не были более нужны. Когда в 8 часов утра Перовская и я встали, мужчины все еще продолжали работать, но два снаряда были готовы, и их унесла Перовская на квартиру Саблита на Тележной; вслед за ней ушел Суханов; потом я помогала Грачевскому и Кибальчичу наполнить гремучим студнем две остальные жестянки, и их вынес Кибальчич. Итак, в

8 часов утра, 1 марта, четыре снаряда были готовы после 15 часов работы трех человек. В 10 часов на Тележную пришли Рысаков, Гриневецкий, Емельянов и Тимофей Михайлов. Перовская, все время руководившая ими вместе с Желябовым, дала им точные указания, где они должны стоять для действия, а потом, после проезда царя, где сойтись ("Запечатленный труд").

На Малой Садовой за появлением царя должна была следить из окна лавки Якимова-Баска. По ее сигналу сомкнуть провода взялся Фроленко.

...День 1 марта был серый, петербургский. Утром, царь прислал Валуеву проект объявления. Оно касалось созыва правительственных комиссий по привлечению "представительного элемента к законосовещательному участию в государственной работе". 4 марта предполагалось заседание совета министров. Царь находился в бодром и веселом настроении: Желябов, наконец-то, арестован! Лафертэ-Долгорукая повествует:.. — Накануне в полдень, в субботу Лорис-Меликов явился в Зимний дворец для занятия государственными делами с императором, и вот что послужило темой их беседы:

...Только что был произведен арест Желябова, за которым последовал его допрос. Все ответы преступника были доставлены Лорис-Меликовым в их письменном изложении императору, но кроме обстоятельств, тогда уже известных, Желябов отказался отвечать на все вопросы прокурора Судебной Палаты и даже заявил, что он напрасно теряет время на постановку ему вопросов. Однако преступник прибавил, что, невзирая на его арест, покушение на жизнь его величества все же безусловно будет произведено.

Под влиянием столь определенной и столь смелой угрозы Желябова, Лорис-Меликов, в присутствии наследника престола, уговаривал государя не ездить на следующий день на развод войск...^[96]

Юрьевская-Долгорукая тоже упрашивала царя остаться дома. Царь все же отправился: он очень любил разводы. Из манежа царь приказал отвести его в Михайловский дворец, откуда он направился к себе по Инженерной улице, затем по набережной Екатерининского канала. Карета царя следовала по обычаю очень быстро. Позади его сопровождали: полицеймейстер Дворжицкий, капитан Кох, ротмистр Кулебякин. Царя окружал канвой казаков. По пути следования были расставлены жандармы, сыщики, полиция. Место на Екатерининском канале выглядело пустынно. Показывались редкие прохожие. Прошли моряки; прошел взвод роты Павловского училища...

Перовская, вручив на Тележной улице метальщикам два снаряда, — остальные два принес Кибальчич, — отправилась к месту действия.

Предварительно на конверте она начертила план местности. Когда царь будет выезжать на — Садовую, метальщикам нужно приблизиться, но в самую улицу не входить. Если же царь по Садовой не поедет, надо действовать на Екатерининской набережной. Знаком, что царь следует по набережной, послужит носовой платок. С собой снаряда Перовская не имела: не хватило.

...В 2 часа 30 минут на набережной раздался взрыв. Он был настолько силен, что в придворном манеже на Театральной посыпались стекла. Облако темного цвета окутало царскую карету. Снаряд был брошен Рысаковым. Должен был его бросить Тимофей Михайлов, но он в последний момент, испугавшись, ушел; "номера" передвинулись. Снаряд разбил задок кареты. Царь выбросился из нее. Рысакова схватили. Александр направился к Рысакову, спросил, он ли бросил снаряд. Рысаков ответил, что он бросил снаряд и назвался мещанином Глазовым. Взрывом были ранены казак и мальчик, проходивший мимо. Позднейшие рассказы о том, будто бы царь стал расспрашивать о пострадавших, не подтверждаются полицеймейстером Дворжицким. В своих воспоминаниях он ничего об этом не сообщает. Царь сказал ему: — Покажи мне место взрыва, — и сделал несколько шагов по панели... Раздался второй оглушительный удар. Дым, снег, клочья платья закрыли окружающее царя пространство. Когда дым рассеялся, увидели: упершись руками в панель, без шинели и фуражки, царь лежал на набережной, весь окровавленный. Обнаженные ноги были раздроблены, из них била кровь, кожа и мясо свисали кусками, лицо было залито кровью. Рядом была скомкана шинель, вся обожженная, в кусках. Царя положили в сани, повезли во дворец.

В 3 часа 55 минут царь скончался. Взрывами из царской овиты были опасно ранены 9 человек; из полиции и посторонних — 11; из раненых 2, в том числе и мальчик, умерли спустя несколько часов.

На месте взрыва, недалеко от царя, был также обнаружен еще один окровавленный молодой человек. Неизвестного в бессознательном состоянии отправили в придворный госпиталь, где он спустя 8 часов, тоже скончался. Неизвестный был народоволец Гриневицкий. Он бросил в царя второй снаряд. Фамилию его властям долгое время не удавалось раскрыть. Один из метальщиков, Емельянов, потом на суде показал: на месте взрыва, кругом была такая растерянность, что к царю никто не подбежал, и он, Емельянов, совершенно инстинктивно бросился на помощь со снарядом подмышкой. Граф Пфейль со своей стороны тоже утверждает: очевидцы, впоследствии вполне связно и точно рассказывавшие как произошел взрыв, на самом деле походили на помешанных.

Умер ли царь во дворце? Кедрин, выступавший защитником на процессе первомайцев, со слов помянутого полицеймейстера Дворжицкого, сообщил редакции "Былого", что царь скончался еще на месте взрыва.

Бесспорно, жандармы и полиция оказались "не на высоте своего призвания". По этому поводу в дневнике Победоносцева имеются такие записи:

— Желябов был уже арестован; на Малой Садовой сильно подозревался подкоп... Раздался первый взрыв... Что же делают охранители? Один хватает и тащит злодея, другой подбегает к государю сказать, что злодей пойман. Им не пришло в голову, что подобные покушения не ограничиваются одним метательным снарядом и что поэтому первым делом надобно удалить от государя всех посторонних. Так поступил агент, сопровождавший Наполеона, после взрыва орсиньевской бомбы...^[97]

Растерянность в "сферах" на первых порах была исключительная. Граф Валув признается:

— ...Смятение и горе общие. Но ясной мысли и соответствующей обстоятельствам воли я ни в ком не видел. Граф Лорис-Меликов не растерялся наружно, но казался бессодержательным внутренне. Он должен распоряжаться, но распоряжался как будто апатично, нерешительно, даже советуясь со мной, или поддаваясь моим намекам... Войско у нас, еще здорово, прочее, увь! — гниль...^[98]

Впопыхах составили известие, которое начиналось словам: "Воля всевышнего свершилась". Извещение потом повсюду спешно отбирали. Об уличном возбуждении, о растерянности и страхе свидетельствуют и дневники графа А. Бобринского. 2 марта он записывает:

— В городе, несмотря на утренний час, группы людей, покупающих и читающих манифест. Почти каждый встречный имеет в руках листок... усиленная полиция... осторожные люди боятся... нового покушения. 5 марта. Вчера открытие подземной мины под Малой Садовой. (Кобозевы и их товарищи успели скрыться. А. В.). Весь город в беспокойстве и все поражены... Толпа народа постоянно стоит перед двойной цепью полиции... Кажется, что полиция напала на след еще других мин... Все это внушает ужас и страх... 8 марта. Вчера состоялось перенесение тела из дворца в крепость... Из-за страха перед покушением поместили некоторое количество верховых казаков, вооруженных пиками, на льду с обеих сторон Николаевского моста... Слезы подступали к глазам при мысли, что нельзя

даже похоронить своего императора. — императора России, — без охраны мостов...^[99]

Впрочем, вообще бюрократия встретила смерть "царя-освободителя" довольно равнодушно. Феоктистов повествует:

— Около 3 часов я узнал, что государь тяжело ранен, а вскоре затем пришла весть и об его кончине. Я вечером отправился в сельскохозяйственный клуб, где собиралось обыкновенно много писателей и можно было, следовательно, собрать какие-нибудь сведения. Странное зрелище представилось мне: как будто не случилось ничего особенного, большая часть гостей сидели за карточными столами, погруженные в игру; обращался я и к тому и к другому, мне отвечали наскоро и несколькими словами, затем опять: "два без козырей", "три в червях" и т. д... некоторые высказывали прямо, что в событиях 1 марта видят руку провидения; она возвеличила императора Александра II, послав ему мученическую кончину, но вместе с тем послужила спасению России от страшных бедствий, угрожавших ей, если бы еще несколько лет оставался на престоле несчастный монарх, который давно утратил всякую руководящую нить и очутился в рабском подчинении княгини Юрьевской^[100].

Как отозвалась глухая русская провинция? Старый народоволец, С. П. Швецов, будучи в далекой ссылке, в Сургуте, рассказывает: "была глухая ночь, когда пришло известие об убийстве Александра II. Обычно в это время в приполярном поселке все уже спали, царила тишина. Но на этот раз сон не успел овладеть обывателями. Окна были освещены, на улицах сновал народ"^[101]. Вот этот вид затерянного, но освещенного по случаю убийства царя поселка символичен для всей растеряевской уездной России. Повсюду засветились среди ночи "огни", раздался сдержанный, затаенный полушопот.

Правда, мартовские огни "Народной Воли" обошлись непомерно дорого. Ленин как-то писал:

— Нисколько не отрицая в принципе насилия и террора, мы требовали работы над подготовкой таких форм насилия, которые бы рассчитывали на непосредственное участие массы и обеспечили это участие^[102]. Со своей стороны Г. В. Плеханов замечает: — Если бы смерть Александра II сопровождалась волнением рабочих в главных городах России, то результаты его, наверное, были бы гораздо более решительными... Но широкая агитация в рабочей среде немыслима без помощи предварительно созданных в нем и возможно более многочисленных тайных организаций... ("Наши разногласия").

Нанося удары самодержавию, "Народная Воля" не сумела сочетать насилия с непосредственным участием масс в революционном деле. Отсюда крушение "Народной Воли".

Продолжаем наш рассказ.

Прямо после покушения София Львовна Перовская встретилась в кофейной с одним из наблюдателей, Тырковым. Перовская вошла в кофейную по наружности совсем спокойная.

— Мы сели за один столик... Первыми ее словами было:

— Кажется, удачно: если не убит, то тяжело ранен...

— Разговор шел короткими фразами, постоянно обрываясь... Студент С. (Сидоренко— А. В.), очень скрытный и сдержанный человек, не проронил за это время ни слова.

В то же, приблизительно, время Андрей Иванович, гуляя по тюремному двору, настороженно прислушивался, не донесется ли через крепостные бастионы звук взрыва или какого-нибудь движения...

ПО СЛЕДАМ

Первого марта Андрей Иванович дает новые показания. Он очень беспокоится о судьбе Николая Ивановича Слатвинского, под чьим именем он проживал. Желябов старается убедить жандармов, что никакого Слатвинского он не знает и на руках у него был дубликат документа. Подтверждая далее свою принадлежность к "Народной Воле", Желябов заявляет: "время цареубийства не было заранее намечено с точностью, т. к. обуславливалось образом жизни "объекта" нападения. Место действия находятся еще в большей зависимости от привычек "объекта". Личное мое участие физическое не было лишь во причине ареста, нравственное участие полное"...

Желябов издевается над жандармами. Надо полагать, у подполковника Никольского и у прокурора Добржинского очень длинно вытянулись уши, когда "священную особу" крестьянский сын Андрей Желябов осмелился именовать "объектом".

Генерал Комаров, между прочим, доносит: "Желябов обратился к прокурору палаты с просьбой объяснить ему, что такое случилось, что его разбудили в 2 часа ночи; и когда ему объявлено было, что сделано покушение на священную жизнь в бозе почившего государя императора, тогда Желябов с большою радостью сказал, что теперь на стороне революционной партии большой праздник и что совершилось величайшее благо деяние для освобождения народа, цель партии осуществилась, что со времени казни Квятковского и Преснякова дни покойного императора были сочтены, за ним следили даже и тогда, когда он ездил по институтам, и ежели он не принял действительного участия в бывшем покушении, так только потому, что был лишен свободы, а нравственна он вполне сочувствует удавшемуся злодейству. На предложенный ему вопрос выяснить как форму, так и состав метательного снаряда, который был употреблен для злодейского умысла против государя, он отвечал, что форм их несколько: есть овальные и четырехугольные формы; состав же определить не может, т. к. он не техник, а для этого в партии существует специальный технический комитет"...

В своей генеральской наивности Комаров, по-видимому, даже не замечает, что Желябов продолжает смеяться и издеваться над следствием; жандарм простодушно излагает эти издевательские замечания об овальных

и четырехгранных снарядах и о техниках "Народной Воли" в официальном рапорте. Видно, что Желябов вполне владеет собой, бодр, даже весел.

2 марта Рысакова и Желябова предъявляют друг другу. Они встречаются, как старые знакомые; затем им показывают труп Гриневицкого. Рысаков признает Михаила Ивановича, по прозвищу Котик. Желябов от показаний отказывается.

Первоначально предполагалось уже 3 марта судить Рысакова военноплевым судом, а 4 марта казнить; так торопилось самодержавие учинить расправу. Но в ночь с 1 на 2 марта от Желябова последовало заявление, повергнувшее царских ищек в крайнее изумление.

"Если новый государь, — писал Желябов, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы; если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранять жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшего физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности, Я требую приобщения себя к делу 1 марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения. Прошу дать ход моему заявлению. Андрей Желябов.

2 марта 1881 г. Д. пр. Закл.

Р. S. Меня беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости, украся корону нового монарха трупом юного героя лишь по недостатку формальных улик против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души моей и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства можно было бы объяснить одну виселицу, а не две. Андрей Желябов".

Это "произведение" Желябова, стоящее многих "полных собраний сочинений", написанное о деле всей жизни, побудило Ашешева писать о склонности Андреи Ивановича к театральности и к позам. К тому же, по Ашешеву, Желябов переживал душенный кризис, он разочаровался в терроре, искал выхода из тупика; заявление его есть предсмертная записка самоубийцы. Все это сплошная неправда, Желябов не знал еще, что Рысаков стал оговаривать, но он знал и учитывал, что девятнадцатилетнему юноше, недавно привлеченному в "Народную Волю", не по силам провести процесс 1 марта, имеющий мировой резонанс; не по силам разъяснить смысл цареубийства, программу и тактику партии. Заявление Желябова нельзя рассматривать отдельно от всего последующего его поведения, а это

именно и делает Ашешев. Народовольцы всегда рассматривали суд, как трибуну. Судебные отчеты, помещаемые в газетах, даже очень искаженные, сплошь и рядом являлись единственным печатным материалом при занятиях в подпольных кружках. То, что произошло потом на суде, вполне подтвердило правильность решения Андрея Ивановича. Во всяком случае, он совсем не походил на самоубийцу, он был целеустремлен, бодр, он думал о деле своей жизни. Непростительную, обывательскую болтовню о Желябове не решались повторить даже царские жандармы. Генерал Шебеко писал: на следствии и суде он выказывал наибольшее присутствие духа и спокойное, рассудительное хладнокровие; он входил в малейшие детали и вступал в спор с судьями и прокурором; в тюрьме он себя чувствовал в нормальном состоянии и моментами проявлял веселость. — Нельзя также забывать и о нравственных мотивах; на них ссылается и сам Желябов в своем заявлении. Несомненно, ему была мучительна мысль, что юноша, им вовлеченный в дело, погибнет на виселице, а он, вожак, останется живым. Мораль совсем не десятое дело, особенно для социалиста чувства, каким являлся Желябов. Ничего не будет понятно в облике главаря народовольцев, если посмотреть на его заявление, как на театральный шаг или как на предсмертную записку.

Среди народовольцев поведение Желябова не возбудило сомнений. Тырков рассказывает: он и Перовская купили телеграмму, в которой сообщалось: "один на главных организаторов последнего преступного посягательства на драгоценную жизнь в бозе почившего государя императора, арестованный 27 февраля вечером, признал свое руководящее участие в преступлении и изобличается в том же показанием задержанного на месте катастрофы виновника ее, мещанина Рыбакова". Ясно, речь шла о Желябове. Перовская опустила голову, замедлила шаг и замолчала. Тырков спросил: — Зачем он это сделал? Перовская ответила: — Верно, так нужно было...

Получив заявление Желябова, Лорис-Меликов доложил новому царю: Желябов начал давать более определенные показания; Рысаков действовал по его уговору. "Таким образом, вновь разъясненные обстоятельства, — пишет Лорис, — представляют полную возможность к основательному привлечению к суду имеете с Рысаковым и главного виновника преступления — Желябова; но такой совместный суд двух преступников, по заявлению прокурора судебной палаты, необходимо потребует лишние сутки для закончания всего дела с приведением приговора в исполнение. Долгом поставляю себе всеподданнейше испрашивать, благоугодно ли будет вашему императорскому величеству соизволить на отсрочку

производства суда до среды, причем исполнение приговора может последовать вместо среды в четверг. Со своей стороны решаюсь присовокупить, что полагал бы совместное суждение двух преступников более обеспечивающим основательное рассмотрение дела и возможное разъяснение оногo". — На докладе Александр III наложил резолюцию — Совершенно разделяю ваше мнение^[103].

Желябов уже называется главным виновником; приговор Лорис считает предрешенным.

Желябова и Рысакова предполагали казнить 4 марта. Но произошел ряд событий. 1 марта Рысаков еще держался, но уже на следующий день он открывает конспиративную квартиру на Тележной улице. В этот же день власти вновь допрашивают Желябова. Желябов, подтверждая свое знакомство с Рысаковым, сообщает, что именно он вовлек его в боевую дружину; далее Андрей Иванович дает некоторые сведения о "Народной Воле", никого, понятно, не называя. В докладной записке Комарова приводится угроза Желябова: если новый государь ожиданий партии не исполнит, его постигнет участь отца.

По горячим следам жандармы в ночь на 3 марта захватывают квартиру на Тележной, где производят арест Геси Гельфман; другой обитатель, Саблин, стреляется. На квартире обнаруживают: две метательных мины в жестянках, колбу, реторту, шарики с серной кислотой, фарфоровую ступку, план Петербурга, план на конверте с отметками на Малой Садовой и на Екатерининской набережной. На Тележную является Тимофей Михайлов, его задерживают, он пытается безуспешно отстреляться.

4 марта обнаруживается подкоп на Малой Садовой из покинутой "хозяевами" лавки сыров.

Угроза Желябова приобретает реальные очертания. Очевидно, правительству известно далеко не все о замыслах террористов, несмотря на предательства Окладского и Рысакова. Лорис-Меликов в новом докладе предупреждает царя: — казнь преступников может вызвать в оставшихся на свободе единомышленниках их, ободренных удачею, стремление к покушениям на драгоценные дни того и т. д. — Между тем, предстоящее погребение в бозе почившего императора не может не представить особых затруднений в деле охранения державного вождя России от злодейских покушений. Далее Лорис-Меликов уверяет: чувство священного благоговения масс к непогребенному монарху может быть оскорблено зрелищем казни в месте погребения тела и бозе почившего. Поэтому генерал предлагает, к военному суду не прибегать, а передать дело на разрешение Особого присутствия Правительствующего Сената с участием

сословных представителей. Записка Александра III от 5 марта: „Можем собраться завтра. 6 числа, в 11 утра, у меня для обсуждения этого вопроса. Дайте знать всем вами названным министрам. Кроме того, я прикажу брату Владимиру быть здесь“^[104]

Предложение Лорис-Меликова принимается. Страх перед Исполнительным комитетом еще велик. Сил его власти, как следует, не знают; не знают и всех задуманных Комитетом предприятий. Желябов продолжает устрашать и в качестве пленника.

Рысаков в животном страхе смерти продолжает предавать.

Иван Окладский тоже в полном ходу.

4 марта Желябов дает новые показания. „Исполнительный комитет, поставив известное нападение ближайшей практической задачей, сделал, кажется в январе, вызов добровольцев, из всех боевых дружин. Итти на самопожертвование вызвалось, в итоге, 47 человек.

Мне было поручено организовать предприятие (разумею нападение с метательными снарядами...); агент 3-й степени, каковым я состою, есть ближайший агент И. Комитета, лицо, пользующееся его полным доверием. Об агентах 1 и 2 степени говорилось в процессе 16-ти“.

Желябов старается усилить страх властей перед 11 Исполнительным комитетом и создать представление, что „Народная Воля“ не группа заговорщиков, а организация, располагающая крупными силами. Отсюда утверждения о 47 добровольцах и что он. Желябов, только агент третьей степени. На войне — по-военному. На войне сокрытие настоящих сил много решает.

Показания Желябова спокойны, деловиты, полны достоинства. Желябов знает, чего он хочет.

6 марта два новых допроса. Власти не отступаются от Желябова. А может быть он, подобно Рысакову, Гольденбергу, Окладскому, дрогнет, сдаст? У Лори-сов и Муравьевых есть один козырь, всем козырям козырь: жизнь... То-то было бы торжество! Но не дрожит крестьянский сын Желябов, не сдаст он! Недаром предки его прошли трудовую, прошли крепостную закалку.

В показаниях 6 марта Желябов, между прочим, пишет:

— В деле 1 марта я отводил Рысакову лишь место пособника для выправки из него самостоятельного бойца на последующее время... Припоминаю неверность с действительностью в показаниях Рысакова относительно роли Тимофея. Тут Рысаков, видимо, перепутал лично для него желательное с предположенным мною для Тимофея, и Тимофеем вышел у него предполагавшимся участником нападения, что совершенно

неверно...

Рысаков уже оговорил Тимофея Михайлова. Других улик против Михайлова, что он принимал участие в деле 1 марта, нет. Петербургский котельщик держится тактики отрицания. Желябов, как рачительный "хозяин" "Народной Воли", как вернейший товарищ старается выгородить боевого друга.

События разворачиваются грозной чередой.

Ищут Перовскую. Про Софью Львовну тех дней Тырков метко сказал:

— Она вилась, как вьется птица над головою коршуна, который отнял у нее птенца, пока сама не попала ему в когти...

Она перестала следить за собой. Она не думает о себе. Ее упрасывают уехать. Она отказывается. Надо все испытать, чтобы спасти Желябова. На Пантелеймоновской улице Перовская ищет свободной квартиры, чтобы следить за Третьим отделением. Она надеется организовать нападение. Среди военных, среди рабочих обсуждает она планы освобождения Желябова; ночует где попало; питается как попало. Она побледнела, напрягает последние силы. Еще суше, еще сдержаннее стала она по виду. Поиски Перовской ведет околдочный Широков. Вместе с хозяйкой молочной, где Софья Львовна закупала продукты, рыщет он по всей столице. И вот на Невском — удача! Торговка Луиза Сундберг узнает Перовскую. Широков хватает подругу Желябова. Это случилось 10 марта, в день, когда было выпущено знаменитое письмо Исполнительного комитета к Александру III. Перовская предъявляется Рысакову и опознается им. Она не отрицает своего участия в царевубийстве, но о привлеченных к делу дает самые сдержанные показания. О Желябове Перовская говорит однажды — Я признаю, что на моей квартире, где проживал и Желябов, был в жестянках динамит, но не желаю объяснять, куда он девался.

— В сентябре переселился ко мне Желябов. Только и всего... Основной тон ее показаний: — назвать не желаю... разъяснять не желаю... отвечать не желаю...

Отныне судьба Желябова и Перовской сплетены до гробовой доски.

Последний допрос Желябова происходит 14 марта. Желябова предъявляют супругам Бовенко, у которых он снимал квартиру в Александровске. Желябов встретил их добродушным смехом. Ему показали один из снарядов, взятых на Тележной улице. — По поводу предъявленного мне снаряда заявляю, что по внешнему своему виду и по внутреннему устройству он принадлежит к одной из известных мне систем метательных снарядов, изготовленных для нападения 1 марта. На вопрос: — видал ли я эти снаряды в руках кого-либо из членов соц. — рев. партии? заявляю: "да,

видел. но в чьих, объяснить не желаю".

Согласно общепринятой народовольческой тактике Желябов охотно давал объяснения общего характера,

Верна ли была такая тактика?

Само собой понятно, что народовольцы имели в виду, как можно шире распространить истинные сведения о "Народной Воле". Вместе с тем они хотели доказать свою правдивость и свое мужество. Часто их показания достигали своей цели, но случалось нередко и то, что жандармам и прокуратуре удавалось выудить нужные сведения. В обоих записках о событиях 1 марта, Победоносцев, между прочим, обронил такую фразу: "Одной из руководящих нитей делу розыска послужили беседы с Желябовым и Рысаковым, в особенности с последним". Ставить рядом имена Желябова и Рысакова конечно, не приходится; однако кое в чем показания А. Ив. могли быть властям тоже полезны. Иногда они невзначай подтверждали показания Рысакова, давали жандармам большую уверенность в некоторых предположениях. То же самое надо сказать и о следственных показаниях Кибальчича. И не случайно, в своем предсмертном завещании Александр Михайлов, настаивал отказываться от всяких объяснений на дознаниях. Совет Михайлова бы впоследствии учтен революционерами позднейших поколений.

Разгром "Народной Воли" продолжается. 4 марта по оговорам Рысакова взяты члены боевого наблюдательного отряда, следившего за выездами царя: Тырков, Тычинин, Оловенникова. 7 марта взят член редакции "Народной Воли" Иванчин-Писарев.

7 марта взяты Кибальчич и Фроленко.

18 марта взят Арончик.

Окладский и Рысаков действуют в меру своих сил.

Распад личности Рысакова самый глубокий. Иногда его показания напоминают бред. Он сам признается, что не может сосредоточиться на какой-нибудь мысли; мелькают отдельные, не связанные друг с другом образы; 1 марта представляется "неясным, шумящим, одним словом, хаосом", в котором трудно разобраться.

Вспомним заявление фон Пфейля, что свидетели покушения производили впечатление помешанных. Тырков, предъявленный Рысакову, говорит:

— Я увидел весь ужас его состояния. Лицо все было покрыто синевами пятнами, в глазах отражалась страшная тоска по жизни, которая от него убегает. Мне показалось, что он уже чувствует веревку на шее.

Рысаков даже уверяет, будто он принял участие и цареубийстве, дабы... лучше бороться с террором.

По явному наущению жандармов и прокуратуры Рысаков заявляет: Желябов околдовал его своими речами. Он, Рысаков, не мог противиться его логике; речи Желябова были неотразимы.

— Не будь Желябова, я бы далек был от мысли принять участие не только в террористических актах, но и в последнем покушении. Во всем повинен Желябов.

Несмотря на удачу в розысках "внутреннего врага", власти все еще не уверены в себе. Новый "венценосец" упорно отсиживается в Аничковом дворце, затем перебирается в Гатчину. Окружающие деревни наполняются полицией, переодетыми сыщиками. В городе — усиленные наряды, патрули, с "граждан" не спускают глаз. Градоначальник Баранов сочиняет диковинный манифест: все лица, принадлежащие к злодейской, террористической партии, за исключением убийц, буде в течение двух недель от издания сего манифеста добровольно явятся и докажут чистосердечное раскаяние, будут нами помилованы. "Произведение" градоначальника остается, однако, в столе.

Победоносцев умоляет царя: ходят слухи, что цареубийцам будет сохранена жизнь. Мысль эта повергает старого изувера в ужас. Александр отвечает:

— Будьте спокойны, с подобными предложениями ко мне не посмеет притти никто и что все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь.

К суду цареубийц привлекаются: Желябов, Перовская, Рысаков, Тимофей Михайлов, Кибальчич, Геся Гельфман.

25 марта, накануне суда, Желябов отправляет в Особое присутствие новое заявление.

Он пишет:

— Принимая во внимание:

Принимая во внимание:

во-первых, что действия наши, отданные царским указом на рассмотрение Особого присутствия Сената, направлены исключительно против правительства и лишь ему одному в ущерб; что правительство, как сторона пострадавшая, должно быть признано заинтересованной в этом деле стороной и не может быть судьей в своем собственном деле; что Особое присутствие, как состоящее из правительственных чиновников, обязано действовать в интересах своего правительства, руководясь при этом не указаниями совести, а правительственными распоряжениями, произвольно именуемыми законами, — дело наше неподсудно Особому

присутствию Сената;

во-вторых, действия наши должны быть рассматриваемы как одно из проявлений той открытой, всеми признанной борьбы, которую русская социально-революционная партия много лет ведет за права народа и права человека против русского правительства, насильственно завладевшего властью и насильственно удерживающего ее в своих руках по сей день;

единственным судьей в деле этой борьбы между социально-революционной партией и правительством может быть лишь весь русский народ чрез непосредственное голосование или, что ближе, в лице своих законных представителей в Учредительном собрании, правильно избранном;

и в-третьих, так как эта форма суда (Учредительное собрание) в отношении нас лично неосуществима;

так как суд присяжных в значительной степени представляет собою общественную совесть и не связан в действиях своих присягой на верную службу одной из заинтересованных в деле сторон;

на основаниях вышеизложенных я заявляю о неподсудности нашего дела Особому присутствию Правительствующего Сената и требую суда присяжных в глубокой уверенности, что суд общественной совести не только вынесет нам оправдательный приговор, как Вере Засулич, но и выразит нам признательность отечества за деятельность особенно полезную.

1881 г. 25 марта, Петропавловск. крепость

Андрей Желябов

26 марта, в день суда, утром Желябов получил "документ за нумерам неизвестным", подписанный Плеве. "Документ" известил Желябова: распорядительное заседание Особого присутствия находит, что отвод Желябова "не заслуживает уважения и оставило заявление без последствий".

Особое присутствие не нашло нужным, чтобы Желябову была выражена признательность отечества "за деятельность особенно полезную".

Мало того, оно даже и не приобщило заявления Желябова к делу, и Желябову пришлось на суде напомнить о нем и спросить, удостоверяет ли Особое присутствие документ без номера.

Присутствие удостоверило. На это его хватило...

СУД

Первоприсутствующий. Я приглашаю вас ответить на мои вопросы. Сколько вам лет?

Подсудимый Желябов. 30 лет.

Вопрос. Веры православной?

Ответ. Крещен в православие, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю. Эта сущность учения среди моих нравственных побуждений занимает почетное место. Я верю в истину и справедливость этого вероучения и торжественно признаю, что вера без дел мертва есть и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых, и если нужно, то за них и пострадать: такова моя вера.

Вопрос: Где вы проживали последнее время и чем занимались?

Ответ. В последнее время я жил в первой роте Измайловского полка, и вообще жил там, где требовало дело, указанное мне Исполнительным комитетом. Служил я делу освобождения народа. Это мое единственное занятие, которому я много лет служу всем моим существом.

Состав суда: "Первоприсутствующий" сенатор Фукс; длинные, седые баки, внешне вежлив, старается показать беспристрастие. Члены суда: Биппен, Писарев, Орлов, Синицын, Белостоцкий. Сословные представители: петербургский предводитель дворянства граф Бобринский, барон Корф, московский городской голова Третьяков, волостной старшина Гелькер. Состав суда вполне надежен. Граф Бобринский недавно пережил огорчение: поспешил к Лорису с просьбой разрешить открыть подписку на сооружение памятника Александру II. Лорис ответил: Опередили вас, господа, опередили... Москва... — Такие постоят, не выдадут.

Самым спокойным и невозмутимым среди подсудимых выглядит Кибальчич. Он скромн, тих, даже как будто рассеян. Прямые волосы зачесаны назад; борода клином. Он — в середине подсудимых. Рядом "хозяйка" конспиративной квартиры на Тележной, Гесья Гельфман. Простое, некрасивое лицо, немного одутловатое: прекрасные еврейские печальные глаза. Бок о бок с Гесей Тимофеем Михайлов, грузный, будто даже сонный. — Это меня не касается, как бы говорит его равнодушный вид. Давая следственные показания. Михайлов писал: не знал и не знаю... Объяснить не могу и не хочу... виновником себя не признаю, где служит и живет, не

знаю. Писал с трудом: некогда было котельщику вплотную заняться своим образованием. Власти с ним немало мучились, но пожить от него ничем не удалось.

Около Михайлова — Рысаков. Он ужасен и жалок; он превратился в графомана: в камере он все пишет и пишет; припоминает имена, клички, встречи, оговаривает, кого только может. Его уверяют: если будет давать чистосердечные признания, его, может быть... помилуют. Он беспокойно вертит головой, ерзает на сиденье. Полное его лицо кажется раздувшимся. Хуже всех к нему относится Перовская. Перовская и Желябов — по другую сторону Кибальчича. Перовская, как всегда, чисто и аккуратно одета. Взгляд ее сосредоточен. Желябов несколько возбужден, но превосходно владеет собой. Его прекрасная, могучая голова невольно привлекает к себе всеобщее внимание. На "публику" он смотрит иногда угрожающе. Изредка ему удастся с Перовской перекинуться словом, но "первоприсутствующий" обычно — прерывает разговор.

Обвинитель. Защитники по назначению. Защитникам не по себе; исход суда всем известен. Желябов от защитника отказался.

Высший свет. Петербургская чиновная знать. Жандармы, военные, судебские. Тщетно подсудимые вглядываются, не мелькнет ли лицо товарища, друга. Нет такое лицо здесь не мелькнет. Все тщательно профильтровано. Острое любопытство, удивление, злоба. Так вот они какие нигилисты, социалисты, террористы, цареубийцы! В сущности — ничего необычайного. Держатся с достоинством, скромно, в высшей степени вежливо. Эта их вежливость почему-то не нравится больше всего. В ней есть что-то очень страшное. Во всяком случае, у этих нигилистов нет ни длинных волос, ни пледов, ни синих очков, ни брани, ни угроз, ни ужасающих повадок и манер.

О вероучении Христа Желябову многое можно возразить. Шестидесятник, базаровской — писаревской складки на вопрос председателя дал бы совсем другой ответ. Но Желябов — не шестидесятник; правда, он в личного бога не верит, но он верит в отвлеченную справедливость, в правду-истину, в долг перед народом, он социалист чувства, а социалисты чувства обычно не прочь по-своему признать права религии; в частности, они склонны отделять историческое христианство от сущности христового учения и толковать это учение в социально-утопическом смысле.

Следует опрос подсудимых, чтение обвинительного акта. В нем, между прочим, отмечается, что Гольденберг характеризует Желябова, как личность "в высшей степени развитую и гениальную".

Обвинение формулируется; в таких выражениях:

На основании вышеизложенного, тихвинский мещанин **Николай Иванович Рысаков**, 19-ти лет; крестьянин Таврической губернии, Феодосийского уезда, Петровской волости, села Николаевки **Андрей Иванович Желябов**, 30-ти лет; дворянка **Софья Львовна Перовская**, 27-ми лет; крестьянин Смоленской губернии, Сычевского уезда. Ивановской волости, деревни Гаврилкова **Тимофей Михайлов**, 21-го года, и мозырская, Минской губернии, мещанка **Гesia Мироновна Гельфман**, 26-ти лет, обвиняются:

Во-первых, в том, что вступили в тайное сообщество, именуемое себя русской социально-революционной партией, имеющее целью ниспровергнуть, посредством насильственного переворота, существующий в Империи государственный и общественный строй, причем преступная деятельность этого сообщества проявилась в ряде посягательств на жизнь Священной Особы Его Императорского Величества, убийстве и покушении на убийство должностных лиц и вооруженных сопротивлений властям.

Во-вторых, в том, что, принадлежа к означенному сообществу и действуя для достижения его целей, согласились между собою и с другими лицами лишить жизни Его Императорское Величество Государя Императора, во исполнение какового умысла: а) из подвальной лавки в доме гр. Менгдена № 56-8 по Малой Садовой, заведомо для названных обвиняемых, был проведен подкоп под означенную улицу с устроенным в нем аппаратом для взрыва динамита при проезде Государя Императора и б) 1 марта 1881 года при проезде Его Императорского Величества, ныне в Бозе почившего Государя Императора Александра Николаевича по набережной Екатерининского канала, Рысаков бросил метательный взрывчатый снаряд под императорскую карету, последствием чего был взрыв, после которого произошел другой такой же, произведенный с той же целью другим соучастником означенного сообщества и причинивший Государю Императору тяжкие поранения, повлекшие за собою кончину Его Императорского Величества, причем при составлении упомянутого злоумышления и приготовлениях к нему: Желябов, умыслив таковое, согласил на него Рысакова и управлял приготовительными к злодеянию действиями; Перовская, по задержании Желябова 27 февраля, руководила не только теми же действиями, но и самим совершением злодеяния; Тимофей Михайлов участвовал в означенных, совокупными силами совершенных приготовительных действиях и, вооруженный метательным

снарядом, находился на месте совершения злодеяния для принятия в нем участия, а Гельфман заведовала, в качестве хозяйки, так называемыми "конспиративными" квартирами, в которых происходили совещания о злодеянии и производились приготовления к нему. Преступления эти предусмотрены ст. 241, 242, 243 и 249 Уложения о наказаниях, изд. 1866 года.

Кроме того: в-третьих, Андрей Желябов обвиняется в том, что, принадлежа к тому же названному преступному сообществу, 18 ноября 1879 года близ города Александровска, Екатеринославской губернии, вместе с другими лицами, с целью лишить жизни ныне в Бозе почившего Государя Императора, устроил под полотном железной дороги мину для взорвания динамитом поезда, в котором изволил находиться Его Императорское Величество, и при проходе означенного поезда сомкнул проведенные через мину проводники гальванического тока, причем, однако же, по обстоятельствам, не зависящим от Желябова, взрыва не последовало.

В-четвертых, Софья Перовская обвиняется в том, что, принадлежа к тому же преступному сообществу и с той же целью лишения жизни ныне в Бозе почившего Государя Императора, принимала вместе с другими лицами непосредственное участие в приготовлениях к взрыву полотна Московско-Курской железной дороги близ города Москвы, при прохождении императорского поезда, во время какового прохождения 19 ноября 1879 года наблюдала за приближением означенного поезда и подала лицу, имевшему произвести взрыв, сигнал, по которому взрыв действительно последовал, не причинив, однако же, по обстоятельствам, от обвиняемой не зависевшим, никакого вреда лицам, следовавшим в поезде. Преступления эти, по отношению к Желябову и Перовской, предусмотрены ст. 241 Уложения о наказаниях.

Наконец, в-пятых, Тимофей Михайлов обвиняется в том, что 8 марта 1881 года, при задержании его в квартире № 5 дома № 5 по Тележной улице, умышленно, с целью лишить жизни кого-либо из задержавших его лиц, сделал в них шесть выстрелов из револьвера, чем причинил опасную рану городовому Ефиму Денисову и контузию помощнику участкового пристава Слуцкому. Преступление это предусмотрено 2 отд. ст. 1459 Уложения о наказаниях, по продолж. 1876 года.

По вышеозначенным обвинениям, согласно высочайшим повелениям

от 6 и 13 сего марта и на основании ст. 1032 и 1052 Устава уголовного судопроизводства 2 ч. XV т. Свода законов, изд. 1876 года, по продолж. 1879 года, поименованные выше Николай Иванович Рысаков, Андрей Иванович Желябов, Софья Львовна Перовская, Тимофей Михайлович Михайлов и Геся Мироновна Гельфман предаются суду Особого присутствия Правительствующего Сената, с участием сословных представителей.

На вопрос о виновности Желябов отвечает: — Признаю себя членом партии "Народной Воли", и эта принадлежность является следствием моих убеждений. В организаторском же отношении я состою агентом Исполнительного комитета. Я долго был в народе, работал мирным путем, но вынужден был оставить эту деятельность по той причине, на которую упоминал подсудимый Кибальчич. Оставляя деревню, я понимал, что главный враг партии народолюбцев-социалистов — власти.

Первоприсутствующий. Я должен предупредить вас, что я не могу допустить в ваших объяснениях таких выражений...

И Лорис-Меликов, и Победоносцев, и министр юстиции Набоков старательно осведомляют Фукса о желаниях "его императорского величества". Царь желает кратчайшего разбирательства и чтобы подсудимые много не говорили. Желябову, наоборот, нужно изложить программу и тактику "Народной Воли", попытаться спасти от петли Михайлова и Гесю Гельфман. Он превосходно видит, что председатель готов придраться к любой мелочи, оборвать, лишить слова. Поэтому Желябов вежлив до изысканности; он уступчив по виду: "я это признаю... совершенно верно... я вполне согласен." Но при случае Андрей Иванович может стать и убийственно язвительным. И вот он уже выпускает тонкое жало.

— Я не признаю себя виновным, — говорит он — в принадлежности к тайному сообществу, состоящему из шести человек и нескольких других, т. к. сообщества здесь нет, здесь подбор совершенно случайный, проводившийся по мере ареста лиц и по некоторым другим обстоятельствам. Некоторые из этих лиц принимали самое деятельное участие и играли видную роль в революционных делах по различным отраслям, но они не составляют сообщества по данному предприятию. Михайлов этому делу человек совершенно посторонний...

В самом деле, судейский строчила — крючкотворец, царский понытик весьма неуклюж в своем сочинительстве. По обвинению, действительно, получается, будто именно шесть подсудимых и составили тайное сообщество. Первоприсутствующий понял насмешку Желябова и

опять обрывает его.

Желябов рассказывает, как был организован подкоп в Александровске. Здесь тоже поведение подсудимого возмутительно: злоумышленник повествует о своем злодейском предприятии совершенно спокойно, оттеняя и выделяя каждое слово, с плавными и уверенными жестами, без малейшей тени раскаяния.

По поводу отвода некоторых свидетелей обвинением Желябов заявил:

— Я не ожидал такого заявления... Весьма возможно, что, отвечая на такую новую комбинацию, я про смотрю некоторых свидетелей, которых раньше находил нужным опросить...

Что за наглый тон! В конце концов: кого здесь судят, кто кого обвиняет?

Длинный чередой проходят свидетели. Заученно и согласно во всех подробностях рассказывают они, как был убит царь. Они должны изобразить его самоотверженным мучеником, святым. Да, после первого взрыва царь наклонился к раненым, спрашивал о раненых. Момент на суде торжественно мрачный. Дабы окончательно закрепить его, "первоприсутствующий" говорит:

Вопрос. Вы видели, что государь император наклонился над раненым?

Ответ. Да, видел, и потом он поднялся и пошел...

Подсудимый Желябов. Я просил бы объяснить мне маленькую формальность: должен ли я стоять или сидеть, делая заявления?

Первоприсутствующий. — Обращаясь к суду, вы должны давать объяснения стоя.

Бесспорно, подсудимый издевается над судом. Неужели этого не понимает председатель?

Доблестный капитан Кох, по его же, коховским словам, обезоружил Рысакова, отняв у него револьвер и кинжал.

Подсудимый Желябов. На дознании есть показание, что свидетель обнажил саблю.

Свидетель Кох. В первый момент я обнажил саблю, предполагая, что народ будет рвать преступника, но затем я тотчас же вложил ее в ножны.

Вопрос будто незначительный, но после ответа неукоснительного капитана, что он тотчас вложил саблю в ножны, ему что-то не очень верится.

...Вереницей проходят свидетели: полицеймейстер Дворжицкий, рядовой Козьменко, рядовой Луценко фельдшер Горохов. Горохов утверждает: перед вторым взрывом из толпы выделился человек.

Вопрос Желябова. Не помнит ли Горохов его наружности? Нет,

Горохов не помнит его наружности Свидетель Несговоров, городской.

Вопрос Желябова. Видел ли он или не видел народ на месте взрыва?

Ответ. Публика подходила.

Свидетель Назаров, сторож; рядовой Макаров, рядовой Евченко, подпоручик Крахоткин, рядовой Павлов, подпоручик Рудыковский, граф Тендряков, адъютант Кюстер.

Утверждают: на месте взрыва было немало "частной" публики. Однако никто из них не привлечен к суду свидетелями: с казенными людьми сподручнее — их легче обработать.

Никак не может угомониться подсудимый Желябов. Он спрашивает свидетельницу Смелкову, помнит ли она хорошо, что Рысаков и он были с товарищем у Ельникова 26 числа, а не на другой день; он требует огласить некоторые свои показания и свое заявление от 2 марта в подлиннике. Ему в этом отказывают. Он пытается свидетеля Рейнгольда и, наконец только тогда уступает место Кибальчичу, когда к столу вещественных доказательств подходят эксперты. Они отдают должное динамитной мастерской "Народной Воли" и Кибальчичу. Но признавая заслуги его в деле изготовления метательных снарядов новейшей конструкции, они утверждают, что гремучий студень, вероятно, привезен из-за границы. Для его приготовления нужны большие приспособления и домашним способом получить его затруднительно.

Подсудимый Кибальчич. Я должен возразить против мнения экспертизы о том, что гремучий студень заграничного приготовления. Он сделан нами. Относительно приготовления его есть указания в русской литературе...

Следуют указания, следуют подробности. Цареубийцы преспокойно рассуждают о свойствах гремучего студня, оспаривают авторитеты, чуть ли не читают "первоприсутствующим" популярные лекции! И какая щепетильность, едва дело касается "предприятий" и "учреждений" их партии. Ни на йоту не хотят умалить заслуг партии.

И опять возмутительное поведение Желябова.

Первоприсутствующий. Подсудимый Желябов, не можете ли дать объяснение?

Подсудимый Желябов. Эти жестянки, как и другие вещи, отобранные на моей квартире, составляют нашу общественную собственность и были в распоряжении моем и Перовской для надобностей партии.

Первоприсутствующий. Для чего служат эти, трубки?

Подсудимый Желябов. Более подробных объяснений я давать не желаю. Жестянки--общественная собственность...

Это объяснение? Это — издевательство.

Не оставил в покое подсудимый и Самойлова, старшего дворника при даме графа Менгдена, где была лавка сыров.

Вопрос. В чем тогда я был, в сюртуке (при предъявлении в жандармском управлении. — А. В.)?

Ответ. В сюртуке.

Вопрос. Какого цвета?

Ответ. Черный сюртук. Я смотрел больше в лицо.

Вопрос. На улице в чем вы меня видели?

Ответ. В пальто.

Подсудимый Желябов. Я обращаю внимание на то, что при предъявлении меня свидетелю я был не в том костюме, в каком меня видел свидетель, т. е. не в пальто и не в шапке. Это важно... по отношению к Тимофею Михайлову.

Желябов все еще не потерял надежды спасти Михайлова. Он долго не отпускает Самойлова. Когда Самойлов утверждает, будто он застал однажды Кобозева нетрезвым, Желябов заставляет признать дворника, что он не видел его пьяным.

"Кобозев шел не шатаясь. Если бы не было на это обстоятельство, — поясняет Желябов, — обращено внимание прокурора, то я не спрашивал бы свидетеля, потому что полагаю, что наша деятельность такова, что перерождает людей и пьянству мы не предаемся, особенно такой человек, как Кобозев. Он совершенно непьющий"...

Государственным обвинителем выступал Н. В. Муравьев, впоследствии министр юстиции. Самодержавие считало Муравьева одним из самых одаренных и изворотливых прислужников. На суде ему все благоприятствовало. Его ожидали награды и повышения. Считают речь Муравьева блестящей. Однако почему же до 1906 г. отчет с замечательной речью держался под спудом? Казалось бы, чего лучше и проще просветить российских граждан уничтожительным выступлением правительственного Цицерона и раз навсегда повергнуть в прах и ничтожество ненавистных социалистов-цареубийц? А вот, не осмелилась сделать это царская монархия.

Возможно, аудитории, подобранной тогда властями, речь Муравьева и показалась необыкновенной, "исторической". Для нас она звучит прежде всего напыщенно. Она произнесена с казенно-патриотическим я церковным пафосом. Муравьев, обвинявший Желябова в склонности к театральным эффектам, сам был исключительно театрален. Сверхпатетические восклицания, как будто искренние, но явно

рассчитанные взрывы негодования, энергичные, уничтожающие жесты то и дело перемешивались с церковнославянскими архаизмами, с теми особыми витиевато-тарабарскими, неуклюжими выражениями, какие выработала самодержавная государственность... — Неудержимые слезы подступают к глазам... обрывается голос, цепенеет язык, опирает дыхание... мрачная бездна человеческой гибели... незабвенный отец и преобразователь... все громко вопиет об отщени...

Кстати: Муравьев был некогда товарищем и другом Перовской по детским играм. Родители Перовской и Муравьева вместе служили в Пскове и часто виделись. Барду самодержавия пришлось забыть своенравную, упрямую Соню в коротеньких платьицах, розовощекую и чистоплотную. Муравьев сделал это с легким сердцем; он опустил даже до упреков в безнравственности.

В начале своей речи он упомянул о беспристрастии. — Нам понадобится все мужество и вое хладнокровие... нам предстоит спокойно исследовать и оценить ко всей совокупности несмываемые пятна злодейски пролитой царственной крови, область безумной подпольной крамолы, фанатическое исповедание убийства, всеобщего разрушения— и в этой горестной, но священной работе да поможет нам бог!

Желябову было смешно выслушивать все эти превыспренние разглагольствования Иудушки, и он не удержался от добродушного смеха. И тотчас же обвинитель обрушился на него.

— Это не факт, это история, — гремел Муравьев... — Из кровавого тумана, застилающего печальную святыню Екатерининского канала, выступают перед нами мрачные облики цареубийц... но здесь меня останавливает на минуту смех Желябова, тот веселый или иронический смех, который не оставлял иго во время судебного следствия и который, вероятно, заставит его и потрясающую картину события 1 марта встретить глумлением... но... я знаю, что так и быть должно: ведь когда люди плачут, Желябовы смеются...

Воздадим Муравьеву по справедливости: это был самый удачный выпад во всей его речи.

Муравьев понимал: вопреки всяким ухищрениям "мрачные облики" выглядят героически. Их героизму подобно было что-нибудь противопоставить; но противопоставить было нечего. Оставался "обожаемый в бозе почивший монарх". И вот Муравьев старается изобразить его самоотверженным мучеником.

— Недалеко от угла Инженерной улицы, под императорской каретой внезапно раздался взрыв, похожий на пушечный выстрел, повлекший за

собой всеобщее смятение. Испуганные, еще — не отдавая себе отчета в случившемся, смутились все — не смутился лишь один помазанник божий, невредимый, но уже двумя часами отделенный от вечности. Спокойный и твердый, как некогда под турецким огнем на полях им же освобожденной Болгарии, он вышел из поврежденной кареты...

Следует известный рассказ, как Александр II наклонялся над ранеными.

Действительно, все царские прислужники очень "смутились", настолько, что походили даже на помешанных и едва ли что-нибудь как следует, и видели. Не смутились: Гриневицкий, Перовская и уж, конечно, не смутился бы и Желябов. Был ли "смущен" царь — никому неизвестно.

Муравьев спешит далее выразить радость: вот, мол, злодеи-то сидят здесь на скамье подсудимых с петлями на шеях.

— Где же цареубийцы, — изощряется витийственный обвинитель, — опозорившие свою родную страну? Россия хочет их знать и голосами всех истинных сынов своих требует их достойной кары. И я считаю себя счастливым, что на этот грозный вопрос моей родины могу смело отвечать ей суду и слушающим меня согражданам; вы хотите знать цареубийц? — вот они! (Прокурор указывает энергическим движением руки на скамью подсудимых.)

Удивительно он смелый, этот Николай Валерьянович! Сколь много гражданского мужества понадобилось ему, дабы сделать такое отважное заявление!

Говоря о физических "свершителях" и об "орудиях преступления", Муравьев отмечает тонкость "исполнения снарядов" и изобретательность. Потом он переходит к "вдохновителям".

— Я утверждаю, — обличает неутомимый Цицерон, — что дрогнула бы рука, вооруженная смертоносным снарядом, и остановились бы и Ельников (Гриневицкий. — А. В.) и Рысаков, если бы за спиною их не стоял Желябов, если бы за Желябовым не стояла пресловутая "партия"... Да, для нас всех очевидно и несомненно, что злодеяние 1 марта совершено тою самою "партиею", у которой, по словам Желябова, мысль о цареубийстве составляет "общее достояние", а динамит — "общественную собственность".

Муравьев добрался до Желябова вплотную и уже не выпускает его. О чем; бы ни завел обвинитель речь, он неизменно возвращается к главному "вдохновителю"? Он везде, — уверяет Муравьев. Обещание быть спокойным, хладнокровным давно забыто, Муравьев не окупится на краски. Цвет их густо-черный.

...Мне нужно несколько остановиться на роли подсудимого Желябова в самом заговоре. При этом я постараюсь приписать ему только то значение, которое он в действительности имел, только ту роль, которую он в действительности исполнял, ни больше, ни меньше... Роль моя, говорит Желябов, была, конечно, менее деятельна и важна, чем в провинции. Там я действовал самостоятельно, а здесь — под ближайшим контролем Исполнительного комитета, о котором так часто приходится говорить Желябову, я был только исполнителем указаний, и вот Исполнительный комитет, говорит он, решив совершение в начале 1881 г., нового посягательства на цареубийство, поручил ему, Желябову, заняться ближайшей организацией этого предприятия, как любят выражаться подсудимые на своем особенном специфическом языке, или, другими словами, выражаясь языком Желябова, поручил ему учредить атаманство, атаманом которого и был подсудимый Желябов. В старые годы у нас называли атаманами людей, которые становились во главе разбойнических соединений. Я не знаю, это ли воспоминание, или другое побудило к восприятию этого звания, но тем не менее Желябов был атаманом и атаманство под его началом образовалось. Выбрав лиц достойных, годных, по его мнению, к участию в злодеянии, он составил им список и представил его на утверждение Исполнительного комитета. Исполнительный комитет, утвердив его, возвратил его Желябову, который затем привел постановление Исполнительного комитета в исполнение...

"Блестящий" Муравьев в этой, центральной части своей речи по своему политическому уровню оказался ниже некоторых своих современников-сослуживцев. Он подобрал одну из пошлейших пошлостей; пред нами, дескать, простая разбойная шайка во главе со славным атаманом Родькой-Желябовым. Все очень просто. Беспокоиться нечего. Нет никакого общественного движения, нет борьбы, революции. Разбой в Руси существовал всегда. Злодеи встречаются повсюду и во все времена. Правда, по виду подсудимые, как будто, на простых душегубов не похожи. Вот, например, Кибальчич, об усердии, ревности и о научных знаниях которого вынужден упомянуть несколько раз тот же не совсем остроумный обвинитель; или, например, дочь генерал-губернатора Софья Перовская, с которой Муравьев безмятежно играл в палочки-стучалочки. Да и Желябова только самая неприхотливая суздальская кисть может изобразить бесшабашным атаманом Родькой. Но... на что не пойдешь по нужде.

Надо же показать всему миру, что в империи российской все благопотребно, что в ней — благоденствие и мирное житие, а если и случаются такие крайне огорчительные происшествия, как смертоубийство

"помазанника", то происходит это единственно от дьявола и ангелов его, принявших мрачные разбойные облики Желябова, Перовской, Кибальчича.

Обвинитель продолжает изобличать атамана Родьку.

— Главное руководство, утверждает Желябов, принадлежало не ему, а Исполнительному комитету. Исполнительный комитет — это вездесущее, но невидимое таинственное соединение, которое держит в руках пружины заговора, которое двигает людьми, как марионетками, посылает их на смерть, переставляет их, одним словом, это душа всего дела. Но я позволю выказать другое мнение, и, рискуя подвергнуться недоверию и глумлению со стороны подсудимых, позволю просто усомниться в существовании Исполнительного комитета... Я знаю, что существует не один Желябов, несколько Желябовых, может быть десятки Желябовых, но я думаю, что данные судебного следствия дают мне право отрицать соединение этих Желябовых в нечто органическое, — правильно установленное иерархическое распределение, — в нечто соединяющееся учреждение...

Муравьев "данными следствия", Гольденбергом, Окладским, Рысаковым и другими "данными" был, надо полагать, вполне осведомлен о существовании и деятельности Исполнительного комитета. Но пред "европами", повторяем, надо было утверждать, что в России нет никакой политической организации, а убили царя выродки и головорезы.

Надо было также заверить всех этих превосходительных царевых слуг, генералов, князей, графов, сенаторов, что они могут и впредь аппетитно вкушать от казенного пирога и получать соответственные награды,

Давая дальше характеристику Желябова, Муравьев вынужден отступить от своего первого "карандашного наброска".

— Если бы я захотел охарактеризовать личность подсудимого Желябова так, как она выступает из дела, из его показаний, из всего того, что мы видели и слышали здесь о нем на суде, то я прямо оказал бы, что это необычайно типический конспиратор, притом заботящийся о цельности и сохранении типа, о том, чтобы все: жесты, мимика, движение, мысль, слово — все было конспиративное, все было социально-революционное. Это тип агитатора, тип, не-чуждый театральным эффектам, желающий до последней минуты драпироваться в свою конспиративную тогу. В уме, бойкости, ловкости — подсудимому Желябову, несомненно, отказать нельзя. Конечно, мы не последуем за умершим Гольденбергом, который в своем увлечении называл Желябова личностью высокоразвитой и гениальной. Мы, согласно желанию Желябова, не будем преувеличивать его значение, дадим надлежащее ему место, но вместе с тем отдадим ему и справедливость, сказав, что он был создан для роли вожака-злодея в

настоящем деле... — Кратко изложив далее революционную биографию Желябова, Муравьев, продолжает:

— В 1880 г. мы находим Желябова в Петербурге, в качестве агента "Исполнительного комитета". Агенты "Исполнительного комитета", как нам было заявлено, распределяются на несколько ступеней: есть агенты первой, второй и третьей степени. Желябов называет себя агентом третьей степени, агентом, ближайшим к Комитету, агентом с большим доверием. Но я полагаю, что со стороны Желябова это излишняя скромность и что если существует соединение, присваивающее себе название "Исполнительного комитета", в рядах этого соединения почетное место принадлежит подсудимому Желябову, и не напрасно думал Рысаков, что совершение злодеяния 1 марта примет на себя один из членов "Исполнительного комитета". Понятно, впрочем, что сознаться в принадлежности к Исполнительному комитету", значит сказать: вы имеете пред собой деятеля первого ранга и вашим приговором вы исключаете из революционного ряда крупную силу, одного из самых видных сподвижников партии. На суде и во время предварительного исследования дела в показаниях Желябова заметна одна черта, на которую я уже указывал, эта черта — желание представить свое дело в преувеличенном свете, желание его расширить, желание придать организации характер, которого она не имела, желание, скажу прямо, порисоваться значением партии и отчасти попробовать запугать. Но ни первое, ни второе не удастся подсудимому. Белыми нитками сшиты все эти заявления о революционном геройстве; суд видит через них насквозь неприглядную истину, и совсем не в таком свете предстанет Желябов в воспоминаниях, которые останутся от настоящего грустного дела... Когда и составлял себе общее впечатление о Желябове... я вполне убедился, что мы имеем пред собой тип революционного честолюбца...

Разумеется, не Муравьеву со всей его надутой высокопарностью, с "энергическими" жестами говорить о склонности Желябова к театральным эффектам, о желании порисоваться, и не ему, Муравьеву, жадному искателю нагретых мест И Портфелей и даже взяточнику, как о том свидетельствуют его современники, определять Желябова, как революционного честолюбца. Что же касается попытки проникнуть в будущее, кем предстанет Желябов, то и тут государственный обвинитель оказался плохим прозорливцем.

Но в одном месте своей речи Муравьев обронил фразу:

— У них выработалось одно — закал и энергия...

В этом он был прав.

РЕЧЬ ЖЕЛЯБОВА. ПРИГОВОР

Он сказал ее вместо речи защитника.

Речь Желябова — замечательный документ эпохи, и мы приведем ее целиком. На ней воспитывались революционные поколения. Но прежде всего, надо отметить обстановку, в какой Желябову пришлось говорить. Речь Желябова неоднократно прерывали ропотом, шиканьем. Больше всех постарался сам "первоприсутствующий", сенатор Фукс. Он открыто срывал Предсмертное выступление Андрея Ивановича. Об этом есть свидетельство самого Фукса. По словам Фукса, Александр III через министра юстиции Набокова требовал скорейшего судопроизводства. Во время суда Фукса обвиняли в либеральном отношении К подсудимым. Государственный секретарь Перетц в своем дневнике записывает:

— Во время производства, кажется в первый день его, приезжал в суд Баранов. Прямо из суда он поехал к Победоносцеву я пожаловался на слабость председателя, дозволившего подсудимым вдаваться и подробное объяснение их воззрений. Победоносцев поспешил к государю. Его величество немедленно послал за Набоковым и потребовал от него объяснения.^[105]

— Между тем, — признается Фукс, — достоинство подсудимых было так велико, что когда я к ним послал судебного пристава, объявить мою просьбу, дабы они между собой не разговаривали, они ответили просьбой же — позволить им это, когда суд уходит, что они ничего неприличного не сделали и не сделают^[106].

В результате Фукс распорядился во время перерывов уводить подсудимых "в их тюремные кельи".

Фукс признается также в том, что он дал полную волю Муравьеву критиковать социализм "с разными передержками" и в то же время не разрешил Желябову ответить на прокурорские наветы. Слушая речь прокурора, — сообщает Фукс, — я мучился вопросом — не остановить ли его? Но по такому делу остановить прокурора, значило бы обрушить на суд тяжкое нарекание, будто бы последний сочувствует злодеям. Никто бы не понял моих мотивов, почему я остановил прокурора... Мне следовало его остановить как потому, что я не допустил касаться этого подсудимым, так и потому, что к учению этому нельзя относиться поверхностно, слегка, без глубокого изучения. Учение это распространено во всем цивилизованном

мире. Оно имеет свою историю, его надо знать глубоко, чтобы вдаваться в его критику и чтобы в полемике критическим анализом это учение уничтожить. И Муравьев совершенно напрасно вдался в это рискованное суждение о социализме. Я видел, чувствовал это, находил крайне необходимым его остановить и, однако, не сделал этого... я промолчал и тем самым попал в неловкое положение, т. е. давал свободу слова одной стороне и зажимал рот другой...

Между прочим, Фукс сказал Набокову, что после речи Муравьева он должен предоставить слово Желябову. — Что вы? Бога ради не делайте этого! — воскликнул Набоков. На заседании суда Набоков торчал около Фукса вопреки закону. Во время процесса ездил к нему на дом давать указания по процессу.

О подсудимых Фукс отзывается с уважением. Подсудимые вели себя независимо и в высшей степени стойко. Кони в своих воспоминаниях утверждает, что Фукс вообще был... противником смертной казни. Между прочим, в столице ходили слухи, конечно не-верные, будто Фукс при вручении обвинительного акта пожал Желябову руку.

Придирки Фукса во многом сорвали речь Желябова, заставив одно скомкать, от другого и совсем отказаться.

Речь Желябова:

"Господа судьи, дело всякого убежденного деятеля дороже ему жизни. Дело наше здесь было представлено в более извращенном виде, чем наши личные свойства. На нас, подсудимых, лежит обязанность, по возможности, представить цель и средства партии в настоящем их виде. Обвинительная речь, на мой взгляд, сущность наших целей и средств изложила совершенно неточно. Ссылаясь на те же самые документы и вещественные доказательства, на которых г. прокурор обосновывает обвинительную речь, я постараюсь это доказать. Программа рабочих послужила основанием для г. прокурора утверждать, что мы не признаем государственного строя, что мы безбожники и т. д. Ссылаясь на точный текст этой программы рабочих говорю, что мы — государственники, не анархисты. Анархисты — это старое обвинение. Мы признаем, что правительство всегда будет, что государственность неизбежно должна существовать, поскольку будут существовать общие интересы. Я, впрочем, желаю знать вперед, могу я касаться принципиальной стороны дела или нет.

Первоприсутствующий. Нет. Вы имеете только предоставленное вам законом право оспаривать те фактические данные, которые прокурорскою

властью выставлены против вас и которые вы признаете неточными и неверными.

Желябов. Итак, я буду разбирать по пунктам обвинение. Мы не анархисты, мы стоим за принцип федерального устройства государства, а как средства для достижения такого строя — мы рекомендуем очень определенные учреждения. Можно ли нас считать анархистами? Далее, мы критикуем существующий экономический строй и утверждаем...

Первоприсутствующий. Я должен вас остановить. Пользуясь правом возражать против обвинения, вы излагаете теоретические воззрения. Я заявляю вам, что особое присутствие будет иметь в виду все те сочинения, брошюры и издания, на которые стороны указывали; но выслушивание теоретических рассуждений о достоинствах того или другого государственного и экономического строя оно не считает своей обязанностью, полагая, что не в этом состоит задача суда.

Желябов. Я в своем заявлении говорил и от прокурора слышал, что наше преступление — событие 1 марта — нужно рассматривать, как событие историческое, что это не факт, а история. И совершенно верно... Я совершенно согласен с прокурором и думаю, что всякий согласится, что этот факт нельзя рассматривать особняком, а его нужно рассматривать в связи с другими фактами, в которых проявилась деятельность партии.

Первоприсутствующий. Злодеяние 1 марта — факт, действительно, принадлежащий истории, но суд не может заниматься оценкой ужасного события с этой стороны; нам необходимо знать ваше личное в нем участие, поэтому о вашем к нему отношении, и только о вашем, можете вы давать объяснения.

Желябов. Обвинитель делает ответственными за событие 1 марта не только наличных подсудимых, но и всю партию, и считает самое событие логически вытекающим из целей и средств, о каких партия заявляла в своих печатных органах.

Первоприсутствующий. Вот тут-то вы и вступаете на ошибочный путь, на что я вам указывал. Вы имеете право объяснить свое участие в злодеянии 1 марта, а вы стремитесь к тому, чтобы войти в объяснения отношений к этому злодеянию партии. Не забудьте, что вы, собственно, не

представляете для особого присутствия лицо, уполномоченное говорить за партию, и эта партия для особого присутствия, при обсуждении вопроса о вашей виновности, представляется несуществующей. Я должен ограничить вашу защиту теми пределами, которые указаны для этого в законе, т. е. пределами фактического и вашего нравственного участия в данном событии, и только ваше. Ввиду того, однако, что прокурорская власть обрисовала партию, вы имеете право объяснить суду, что ваше отношение к известным вопросам было иное, чем указанное обвинением отношение партии. В этом я вам не откажу, но, выслушав вас, я буду следить за тем чтобы заседание особого присутствия не сделалось местом для теоретических вопросов политического свойства, чтобы на обсуждение особого присутствия не предлагались обстоятельства, прямо к настоящему делу не относящиеся, и главное, чтобы не было сказано ничего такого, что нарушает уважение к закону, властям и религии. Эта обязанность лежит на мне, как на председателе, — я исполню ее.

Желябов, Первоначальный план защиты был совершенно не тот, которого я теперь держусь. Я полагал быть кратким и сказать только несколько слов. Но, ввиду того, что прокурор 5 часов употребил на извращение того самого вопроса, который я уже считал выясненным, мне приходится считаться с этим фактом, и я полагаю, что защита в тех рамках, какие вы мне теперь определяете, не может пользоваться тою свободой, какая была предоставлена раньше прокурору.

Первоприсутствующий. Такое положение создано существом предъявленного вам обвинения и характером того преступления, в котором вы обвиняетесь. Настолько, однако, насколько представляется вам возможность, не нарушая уважения к закону и существующему порядку, пользоваться свободой, вы можете ею воспользоваться.

Желябов. Чтобы не выйти из рамок, вами определенных, и, вместе с тем, не оставить свое дело не обороненным, я должен остановиться на тех вещественных доказательствах, на которые здесь ссылался прокурор, а именно на разные брошюры, например, на брошюру Морозова и литографированную рукопись, имевшуюся у меня. Прокурор ссылается на эти вещественные доказательства. На каком основании? Во-первых, литографированная программа социалистов-федералистов найдена у меня. Но ведь все эти вещественные доказательства находятся в данный момент прокурора. Имею ли я основание и право сказать, что они суть плоды его

убеждения, поэтому у него и находятся? Неужели один лишь факт нахождения литографированной программы у меня свидетельствует о том, что это — мое собственное убеждение? Во-вторых, Николай Морозов написал брошюру. Я ее не читал: сущность ее я знаю; к ней, как партия, мы относимся отрицательно и просили эмигрантов не пускаться в суждения о задаче русской социально-революционной партии, пока они за границей, пока они беспочвенники. Нас делают ответственными за взгляды Морозова, служащие отголоском прежнего направления, когда, действительно некоторые из членов партии, узко смотревшие на вещи, вроде Гольденберга, полагали, что вся наша задача состоит в расчищении пути через частые политические убийства. Для нас в настоящее время отдельные террористические факты занимают только одно из мест в ряду других задач, намечаемых ходом русской жизни. Я тоже имею право сказать, что я русский человек, как оказал о себе прокурор (в публике движение, ропот негодования и шиканье. Желябов на несколько мгновений останавливается. Затем продолжает). Я говорил о целях партии. Теперь я скажу о средствах. Я желал бы предпослать прежде маленький исторический очерк, следуя тому пути, которым шел прокурор. Всякое общественное явление должно быть познаваемо по его причинам, и чем сложнее и серьезнее общественное явление, тем взгляд на прошлое должен быть глубже. Чтобы понять ту форму революционной борьбы, к какой прибегает партия в настоящее время, нужно познать это настоящее в прошедшем партии, а это прошедшее имеется: немногочисленно оно годами, но очень богато опытом. Если вы, господа судьи, взглянете в отчеты о политических процессах, в эту открытую книгу бытия, то вы увидите, что русские народолюбцы не всегда действовали метательными снарядами, что в нашей деятельности была юность — розовая, мечтательная, и если она прошла, то не мы тому виной.

Первоприсутствующий. Подсудимый, вы выходите из тех рамок, которые я указал. Говорите только о своем отношении к делу.

Подсудимый Желябов. Я возвращаюсь. Итак, мы, переиспытав разные способы действовать на пользу народу, в начале семидесятых годов избрали одно из средств, именно положение рабочего человека, с целью мирной пропаганды социалистических идей. Движение — крайне безобидное по средствам своим, и чем оно окончилось? Оно разбилось исключительно о многочисленные преграды, которые встретило в лице тюрем и ссылок. Движение совершенно бескровное, отвергающее насилие,

не революционное, а мирное, — было подавлено. Я принимал участие в этом самом движении, и это участие поставлено мне прокурором в вину. Я желаю выяснить характер движения, за которое несу в настоящее время ответ. Это имеет прямое отношение к моей защите.

Первоприсутствующий. Но вы были тогда оправданы.

Подсудимый Желябов. Тем не менее прокурор ссылается на привлечение мое к процессу "193-х".

Первоприсутствующий. Говорите в таком случае только о фактах, прямо относящихся к делу.

Подсудимый Желябов. Я хочу сказать, что в 1873, 1874 и 1875 годах я еще не был революционером, как определяет прокурор, так как моя задача была работать на пользу народа, ведя пропаганду социалистических идей. Я насилия в то время не признавал, политики касался я весьма мало, товарищи — еще меньше. В 1874 г. в государственных воззрениях мы в то время были действительно анархистами. Я хочу подтвердить слова прокурора. В речи его есть много верного. Но верность такова: в отдельности, взятое частичками — правда, но правда взята из разных периодов времени, и затем составлена из нее комбинация совершенно произвольная, от которой остается один только кровавый туман...

Первоприсутствующий. Это по отношению к вам?

Подсудимый Желябов. По отношению ко мне... Я говорю, что все мои желания были действовать мирным путем в народе, тем не менее я очутился в тюрьме, где и революционизировался. Я перехожу ко второму периоду социалистического движения. Этот период начинается... Но, по всей вероятности, я должен буду отказаться от мысли принципиальной защиты и, вероятно, закончу речь просьбой к первоприсутствующему такого содержания: чтобы речь прокурора была отпечатана с точностью. Таким образом она будет отдана на суд общественный и суд Европы. Теперь я сделаю еще попытку. Непродолжительный период нахождения нашего в народе показал всю книжность, все доктринерство наших стремлений. С другой стороны, убедил, что в народном сознании есть много такого, за что следует держаться, на чем до поры до времени следует остановиться. Считая, что при тех препятствиях, какие ставило

правительство, невозможно провести в народное сознание социалистические идеалы целостно социалисты перешли к народникам... Мы решились действовать во имя сознанных народом интересов, уже не во имя чистой доктрины, а на почве интересов, присущих народной жизни, им признаваемых. Это отличительная черта народничества. Из мечтателей-метафизиков оно перешло в позитивизм и держалось почвы — это основная черта народничества. Дальше. Таким образом, изменился характер нашей деятельности, а вместе с тем и средства борьбы, — пришлось от слова перейти к делу. Вместо пропаганды социалистических идей выступает на первый план агитационное возбуждение народа во имя интересов, присущих его сознанию. Вместо мирного слова мы сочли нужным перейти к фактической борьбе. Эта борьба всегда соответствует количеству накопленных сил. Прежде всего ее решились попробовать на мелких фактах. Так дело шло до 1878 г. В 1878 г. впервые, насколько мне известно, явилась мысль о борьбе более радикальной, явились помыслы рассечь гордиев узел, так что событие 1 марта по замыслу нужно отнести прямо к зиме 1877–1878 гг. В этом отношении 1878 г. был переходный, что видно из документов, например, брошюра "Смерть за смерть". Партия не уяснила еще себе вполне значения политического строя в судьбах русского народа, и хотя все условия наталкивали ее на борьбу с политической системой...

Первоприсутствующий. Вы опять говорите о партии...

Подсудимый Желябов. Я принимал участие в ней...

Первоприсутствующий. Говорите только о себе.

Подсудимый Желябов. Все толкало меня в том числе на борьбу с правительственной системой. Тем не менее я еще летом 1878 года находился в деревне, действуя в народе. В зиму 1878-79 года положение вещей было совершенно безвыходное, и весна 1879 года была проведена мною на юге в заботах, относившихся прямо к этого рода предприятиям. Я знал, что в других местах товарищи озабочены тем же, в особенности на севере, что на севере этот вопрос даже породил раскол в тайном обществе, в организации "Земля и воля"; что часть этой организации ставит себе именно те задачи, как и я с некоторыми товарищами на юге. Отсюда естественно сближение, которое перешло на Липецком съезде в слияние. Тогда северяне, а затем часть южан, собравшись в лице своих

представителей на съезде, определили новое направление. Решения Липецкого съезда были вовсе не так узки, как здесь излагалось в обвинительной речи. Основные положения новой программы были таковы: политический строй...

Первоприсутствующий. Подсудимый, я решительно лишу вас слова, потому что вы не хотите следовать моим указаниям. Вы постоянно впадаете в изложение теории.

Подсудимый Желябов. Я обвиняюсь за участие на Липецком съезде...

Первоприсутствующий. Нет, вы обвиняетесь в совершении покушения под Александровском, которое, как объясняет обвинительная власть, составляет последствие Липецкого съезда.

Подсудимый Желябов. Если только я обвиняюсь в событии 1 марта и затем в покушении под Александровском, то в таком случае моя защита сводится к заявлению: да, так как фактически это подтверждено. Голое признание факта не есть защита...

Первоприсутствующий. Отношение вашей воли к этому факту...

Подсудимый Желябов. Я полагаю, что уяснение того пути, каким развивалось мое сознание, идея, вложенная в это предприятие...

Первоприсутствующий. Объяснение ваших убеждений, вашего личного отношения к этим фактам я допускаю. Но объяснения убеждений и взглядов партии не допущу.

Подсудимый Желябов. Я этой рамки не понимаю.

Первоприсутствующий. Я прошу вас говорить о себе, о своем личном отношении к факту как физическом, так и нравственном, об участии вашей воли, о ваших действиях.

Подсудимый Желябов. На эти вопросы кратко я отвечал в начале судебного заседания. Если теперь будет мне предоставлено говорить только так же кратко, зачем тогда повторяться и обременять внимание суда...

Первоприсутствующий. Если вы более ничего прибавить не имеете...

Подсудимый Желябов. Я думаю, что я вам сообщил скелет. Теперь желал бы я изложить душу...

Первоприсутствующий. Вашу душу, но не душу партии.

Подсудимый Желябов. Да, мою. Я участвовал на Липецком съезде. Решения этого съезда определили ряд событий, в которых я принимал участие и за участие в которых я состою в настоящее время на скамье подсудимых. Поскольку я принимал участие в этих решениях, я имею право касаться их. Я говорю, что намечена была задача не такая узкая, как говорит прокурор: повторение покушений, и в случае неудачи — совершение удачного покушения во что бы то ни стало. Задачи, на Липецком съезде поставленные, были вовсе не так узки. Основное положение было такое, что социально-революционная партия и я в том числе — это мое убеждение — должна уделить часть своих сил на политическую борьбу. Намечен был и практический путь: это путь насильственного переворота путем заговора, для этого — организация революционных сил в самом широком смысле. До тех пор я лично не видел надобности в крепкой организации. В числе прочих социалистов я считал возможным действовать, опираясь, по преимуществу, на личную инициативу, на личную предприимчивость, на личное умение. Оно и понятно. Задача была такова: уяснить сознание возможно большего числа лиц, среди которых живешь; организованность была нужна только для получения таких средств, как книжки и доставка их из-за границы, печатание их в России было также организовано. Все дальнейшее не требовало особой организованности. Но раз была поставлена задача насильственного переворота, задача, требующая громадных организованных сил, мы и я, между прочим, озаботились созиданием этой организации в гораздо большей степени, чем покушения. После Липецкого съезда, при таком взгляде на надобность организации, я присоединился к организации, в центре которой стал исполнительный комитет, и содействовал расширению этой организации; в его духе я старался вызвать к жизни организацию единую, централизованную, состоящую из кружков автономных, но действующих по одному общему плану, в интересах одной общей цели. Я буду резюмировать сказанное. Моя личная задача, цель моей жизни — было служить общему благу. Долгое время я работал для этой цели путем мирным и только затем был вынужден перейти к насилию. По

своим убеждениям я оставил бы эту форму борьбы насильственной, если бы только явилась возможность борьбы мирной, т. е. мирной пропаганды своих идей, мирной организации своих сторонников. В своем последнем слове, во избежание всяких недоразумений, я сказал бы еще следующее: мирный путь возможен, от террористической деятельности я, например, отказался бы, если бы изменились внешние условия...

Как социалист я, разумеется, протестую против всех общественных перегородов, сословных и классовых, на которых зиждется возможность эксплуатации человека человеком. Но не могу не признать в то же время того, что пока главный контингент революционеров состоит из молодежи дворянского сословия, в силу, конечно, того, что они одни имеют возможность получать образование и проникаться, следовательно, идеями, провозглашаемыми нашими великими мучениками-просветителями. Что касается буржуазии, я так же не разделяю той враждебной непримиримости, какая часто обнаруживается в наших рядах. Представители промышленных классов не чужды нам, пока не осуществились у нас гарантии для развития свобод, прав личности, образования. Они равно с нами нуждаются в падении самодержавия, в правосудии, веротерпимости, в знаниях, в праве бюджета и контроля и развитии внутреннего рынка".

Первоприсутствующий. Более ничего не имеете сказать в свою защиту?

Подсудимый Желябов. В защиту свою ничего не имею. Но я должен сделать маленькую поправку к тем замечаниям, которые я делал во время судебного следствия. Я позволил себе увлечься чувством справедливости, обратил внимание господ судей на участие Тимофея Михайлова во всех этих делах, именно: что он не имел никакого отношения ни к метательным снарядам, ни к подкосу на Малой Садовой. Я теперь почти убежден, что, предупреждая господ судей от возможности поступить ошибочно по отношению к Михайлову, я повредил Тимофею Михайлову, и если бы мне вторично пришлось участвовать на судебном следствии, то я воздержался бы от такого заявления, видя, что прокурор и мы, подсудимые, взаимно своих нравственных побуждений не понимаем...

Речь Желябова до нас дошла в сокращенном и искаленном виде. Корреспондент "Times", излагая ее, упоминает, между прочим о таких высказываниях Желябова, которые в официальном отчете отсутствуют.

"Русское правительства, — передает слова Желябова этот корреспондент, — все делало для себя и ничего для народа". Он сослался на разные европейские государства, которые не были централизованы, а затем коснулся вопроса о русской земле, которая, сказал он, должна принадлежать ее земледельцам и возделываться ими. Что касается религии, это дело индивидуального сознания и партия об этом ничего не говорит. В действительности, политическая свобода и эти идеи составляли цели партии.

Все это в правительственном ответе опущено.

Английский корреспондент дальше пишет:

— Речь Желябова была самая замечательная из всех. С видом уверенным, переходившим в вызывающий, когда его прерывал суд, или неодобрительный ропот аудитории, Желябов пытался изложить положение вещей и социальные условия, которые сделали его и его товарищей тем, что они есть. Когда инциденты следовали один за другим и он сверкал глазами на суд, как дикий зверь, загнанный на охоте, пред вами стоял чеканный тип гордого и непреклонного демагога^[107].

Бесспорно, речь Желябова произвела сильное впечатление даже на тщательно подобранных сановных слушателей. Об этом свидетельствуют, например, и записки графа фон Пфейля^[108].

— Он отказался от всякой защиты и вообще не старался защищаться, что было бы бесполезно. Он только хотел выгородить некоторых товарищей. На его лице то и дело появлялась насмешливая улыбка... Когда он однажды заметил: — Я тоже имею право сказать, что я русский человек, в публике поднялся ропот. Он выпрямился и почти угрожающе глядел на публику, пока снова не водворилась тишина.

Речь Желябова, действительно, поражает своим сильным, серьезным и глубоким тоном. Она — проста, в противовес речи Муравьева, она скромно, почти бедно "одета". Тем, кто склонен искать в Желябове театральности, следует вчитаться в его последнее слово. Никаких украшений, никаких побрякушек. "Революционный честолюбец" избегал говорить о себе. У подножья эшафота он защищал партию, ее доблесть и честь. "Первоприсутствующий" неуклонно заставлял его возвращаться к себе, но, вынужденно делая это, Желябов, имел себя в виду только, как представителя Исполнительного комитета.

Муравьев старался изобразить народовольцев бандой анархистов-злодеев. Желябов ответил на эту глупую выдумку, что народовольцы — государственники. Муравьев утверждал: "народовольчество — язва не

органическая, недуг наносный, пришлый, привходящий, русскому уму несвойственный, русскому чувству противный". Желябов ответил: именно русские условия органически порождают революционное движение, превращая мирных пропагандистов социализма в террористов. Мирные стремления народников Желябов из тактических соображений преувеличил, но во всяком случае он был вполне прав, утверждая, что расправы царского правительства с социалистами отличались неслыханной свирепостью. Желябов подчеркнул также, что террор для народовольцев не является единственным орудием политической борьбы: — террористические факты занимают только одно из мест в ряду других задач, намечаемых ходом русской жизни.

В речи Муравьева было еще одно место, которое настоятельно требовало ответа, Муравьев говорил — социализм вырос на Западе и составляет уже давно его историческую беду. У нас ему не откуда было взяться — у нас не было и, слава богу нет, до сих пор ни антагонизма между сословиями, ни преобладания буржуазии, ни традиционной розни и борьбы общества с властью. — На это утверждение Желябов ничего не ответил, если не считать глухого указания, что в народном сознании есть много такого, чего следует держаться. Возможно, ответить Желябову помешал "первоприсутствующий", но надо признать, что по этому вопросу Андрей Иванович не был как следует вооружен. Относительно "антагонизма" и преобладания буржуазии народовольцы и сами были" не благополучны; они полагали, что этот антагонизм у нас есть только между правительством и "народом", т. е. крестьянством и что буржуазия наша — явление постороннее. Вопрос об "антагонизме сословий" и о "преобладании буржуазии" был впоследствии разрешен учеником Маркса, Лениным.

И на предварительном и на судебном следствии Желябов сознательно преувеличил силы и значение Исполнительного комитета, заявив о 47 добровольцах, откликнувшихся на призыв убить царя. В своем последнем слове этих преувеличений Желябов не допустил. Между прочим, вопреки утверждениям Муравьева, преувеличения Желябова многих запугали. Тайный Исполнительный комитет долго и после 1 марта не давал сановникам спокойного сна. Была даже организована тайная "Священная дружина" из людей "высшего света". Дружина ставила своей целью борьбу с грозным Исполнительным комитетом.

Было еще слово, "последнее слово подсудимого". Оно отличалось краткостью:

— Я имею, — сказал Желябов, — только одно: на дознании я был

очень краток, зная, что показания, данные на дознании, служат лишь целям прокуратуры, а теперь я сожалею и о том, что говорил здесь на суде. Больше ничего.

Желябов жалел, что ему не удалось изложить, как он хотел, программу и тактику "Народной Воли". Ему не дал этого сделать царь и его сподручные. Но все же Желябов был не прав: и то, что он оказал, было очень нужно русской революции...

...Вот решение особого присутствия в отношении Желябова:

...— Виновен ли крестьянин Таврической губернии, Феодосийского уезда, Петровской волости, деревни Николаевки, Андрей Иванов Желябов, 30 лет в том, что принадлежал к тайному сообществу, и девшему целью ниспровергнуть посредством насильственного переворота существующий в империи государственный и общественный строй и предпринявшему для достижения этой цели ряд посягательств на жизнь священной особы его императорского величества государя-императора Александра Николаевича, убийств и покушений на убийство должностных лиц и вооруженных сопротивлений законным властям?

Ответ. — Да виновен.

Виновен ли подсудимый Андрей Желябов в том, что, принадлежала к упомянутому в первом вопросе сообществу и, умыслив посягательство на жизнь государя императора Александра Николаевича, согласил на него Рысакова и других лиц, приготовительными действиями которых руководил до своего ареста 27 февраля 1881 г., сводя их между собою на особо предназначенных для подобных сходок квартирах, для совещаний об обозначенном злодеянии?

Ответ. Да виновен.

Виновен ли подсудимый Андрей Желябов в том, что, принадлежа к упомянутому сообществу и действуя в его целях, согласился с другими лицами лишить жизни государя императора Александра Николаевича, для чего принимал непосредственное участие в земляных работах по устройству подкопа, окончательно устроенного и проведенного из подвальной лавки в доме графа Менгдена, по Малой Садовой улице со снарядами для взрыва полотна улицы при проезде государя императора Александра Николаевича?

Ответ. Да, виновен.

Виновен ли подсудимый Андрей Желябов в том, что, принадлежа к тому же названному преступному сообществу, 18 ноября 1879 г. близ города Александровска, Екатеринославской губернии, вместе с другими лицами, с целью лишить жизни государя императора Александра

Николаевича устроил под полотном железной дороги мину для разорвания динамитом поезда, в котором изволил находиться его императорское величество, и при проходе означенного поезда сомкнул проведенные чрез мину проводники гальванического тока, причем, однако же, по обстоятельствам, не зависящим от подсудимого Желябова, взрыва не последовало?

Ответ. Да виновен.

Особое присутствие... определяет... крестьянина Таврической губернии, Феодосийского уезда, Петровской волости, деревни Николаевки, Андрея Иванова Желябова 30 лет... лишить всех прав состояния и подвергнуть смертной казни через повешение.

КАЗНЬ

Их задушили утром 3 апреля.

29 марта подсудимым был объявлен приговор в окончательной форме.

31 марта истек суточный срок на обжалование. Обжалования не последовало, но Рысаков и Михайлов подали "на высочайшее имя" прошения о помиловании. Царь ответил:

— Поступить сообразно заключению особого присутствия.

Геся Гельфман заявила о своей беременности, 31 марта она была подвергнута медицинскому осмотру, после чего исполнение над нею судебного приговора отложили.

3 апреля утром градоначальство оповестило население столицы, что в девять часов состоится публичная казнь через повешение цареубийц.

О том, как провели подсудимые последние дни, имеются самые скудные сведения. Кибальчич еще 23 марта подал заявление с проектом воздухоплавательного аппарата. Он писал:

— За несколько дней до своей смерти, находясь в заключении, я пишу этот проект. Я верю в осуществимость моей идеи, и эта вера поддерживает меня в моем ужасном положении. Бели же моя идея после тщательного обсуждения учеными специалистами будет признана исполнимой, то я буду счастлив тем, что окажу громадную услугу родине и человечеству. Я спокойно тогда встречу смерть...

Не получив ответа на это заявление, Кибальчич 31 марта обратился к министру внутренних дел с просьбой дать ему предсмертное свидание с кем-нибудь из ученых экспертов, а также с Желябовым и Перовской. Просьба была оставлена "без последствий". Проект Кибальчича пролежал в архивах департамента полиция 37 лет. Его извлекла оттуда революция. Проект имел большое научное значение.

Софья Львовна Перовская ждала свидания с матерью. После приговора под разными предложениями в них стали отказывать; наконец, матери Перовской объявили, что она сможет увидеть дочь 3 апреля. Утром в этот день мать поспешила в тюрьму. У ворот она увидела дочь на позорной колеснице. Последний день Перовская провела спокойно; была бледна и слаба физически.

Тимофей Михайлов владел собой.

Рысаков впал в окончательный маразм. Накануне смертной казни он

даивал последнее показание градоначальнику Баранову. Понятно, Баранов обещал ему сохранить жизнь. Показания Рыбакова — ужасный человеческий документ.

...— До сего дня, — пишет Рысаков, — я выдавал товарищей, имея в виду истинное благо родины, а сегодня я — товар, а вы купцы. Но клянусь вам богом, что и сегодня мне честь дороже жизни, и я клянусь и в том, что призрак террора меня пугает, и я даже согласен покрыть свое имя несмываемым позором, чтобы сделать все, что могу, против террора. — Рысаков оговорил Григория Исаева. Именно Исаев свел его, Рысакова, с Желябовым, "раскрывшим широко дверь к преступлению. У Исаева руки запачканы чем-то черным, как и у Желябова"...

Рысаков все еще не теряет надежды, предавая его, спасти себе жизнь. Рысаков готов на все. Он даже вносит предложения, как с ним лучше поступить. — Я должен рассказать все, что знаю, обязанность с социально-революционной точки зрения шпиона. Я и согласен. Далее меня посадят в централку — но она для меня мучительнее казни... Я предлагаю так: дать мне год или полтора свободы для того, чтобы действовать не оговором, а выдачей из рук в руки террористов... Для (вас же полезнее не содержать меня в тюрьме... Поверьте, что я по опыту знаю негодность ваших агентов. Ведь Тележную-то улицу я назвал прокурору Добржинскому. По истечении этого срока умоляю о поселении на каторге или на Сахалине...

Рысаков не знал, что Исаев уже арестован. 2 апреля Исаев был предъявлен Рысакову. Рысаков оговорил еще одного из наблюдателей, Тычинина, открыл конспиративную квартиру, где Перовская встречалась с боевиками.

Желябов вел себя мужественно, был только нервно возбужден.

Здесь уместно поднять вопрос, применялись ли к осужденным пытки. В прокламации, выпущенной народовольцами после казни первомартовцев и подписанной "мирные обыватели", говорится:

— Был суд — и была пытка! Преступники пробовали во всеуслышание кричать народу о перенесенных мучениях, произведенных над ними в промежуток между "справедливым" судом и казнью. Но только одному несчастному Рысакову удалось произвести ужасающие по лаконизму слова: нас пытали! Барабанный бой прекратил дальнейшее.

В № 1 листка "Народной Воли" от 22 июля I 881 г. к передовой имеется примечание:

— Общая молва говорит о пытках после суда. Не решаемся подтвердить слух, не имея для этого положительных доказательств. В органе якобинцев "Набат" № 3 1881 г. содержится такой рассказ:

— Накануне казни 2 апреля в 8 час. вечера были сняты часовые, стоявшие у камер, в которых содержались приговоренные к смертной казни; по распоряжению тюремного смотрителя строго воспрещалось кому бы то ни было находиться в коридорах, по которым расположены эти камеры. Немедля по снятии часовых к тюремному зданию подъехали две кареты; из каждой вышло по два человека, один из них был военный, а трое — статские. Двое статских держали подмышкой какой-то сверток, обернутый в черную клеенку, величиной в среднюю шкатулку, и, желая, по-видимому, скрыть эти свертки от постороннего глаза, они прикрыли их длинными плащами, накинутыми на плечи.

— Вошедшие в здание тюрьмы все четверо быстрыми шагами направились к камере, в которой заключался Кибальчич. Военный отворил ключей дверь этой камеры. Все четверо вошли туда и пробыли там около 40 минут. Из камеры Кибальчича они вошли в камеру Желябова, в которой пробыли около часу. Вышедши из камеры Желябова, они отправились в камеры Перовской, Михайлова и Рысакова... Немедля после их выхода из тюрьмы к дверям камер, в которых помещались заключенные, приговоренные к казни, опять приставлены были часовые.

С каторжной колесницы, на которой везли 3 апреля на казнь пять мучеников, ясно и отчетливо раздались следующие слова:

"Нас пытали! Расскажите!..."^[109]

Рассказ "Набата" проверить впоследствии никому не удалось. Но слухи о пытках подтвердила генеральша Богданович. В свой дневник она записала: Под ужасной тайной я узнала, что Желябова после суда будут стараться заставлять говорить, чтобы от него выведать, кто составляет эту организацию. Это необходимо для общественной безопасности... Дай бог, чтобы попытали. Я не злая, но это необходимо...^[110]

Богданович была близка к самым высоким "сферам".

Вообще царское правительство отнюдь не гнушалось пытать заключенных. На это указывает еще дело Каракозова. Его пытали лишением сна. Фактически пытали Нечаева, Мышкина. Мысли о пытках среди царских приспешников были тогда не в редкость. Вполне возможно, что первомартовцев перед казнью тоже пытали, но окончательно вопрос нельзя считать решенным. Бесспорно одно: некоторых из них допрашивали и после суда, перед казнью. Баранов допрашивал Рысакова, Допрашивали его также Никольский и Добржинский. Допрашивали Гесю Гельфман. Об этом поведал корреспондент "левой" газеты "Голос". В июне он был допущен к Гельфман. Бойкий строчила нашел, что камера Геси "снабжена

решительно всем необходимым и, что главное, совершенно достаточным количеством света и воздуха". Гельфман была одета в коричневатое-серое пальто и в черное шерстяное платье. Гесья рассказала сотруднику "Голоса", что вскоре после окончания суда с нее снимал показания какой-то полковник. Полковник был "любезен"^[111].

Чрезвычайно подозрительно, что никому из осужденных не дали прощального свидания...

О казни первомайцев имеется подробный правительственный отчет. Неизвестный автор отступил от обычных канцелярских донесений и местами придал отчету даже литературную форму. Пользоваться отчетом надо, однако, с большой осторожностью; многое в нем упущено и искажено. Мы приведем его, пополняя воспоминаниями Плаисона, фон Пфейля, В. К. Дмитриевой, Андрея Брейтфуса, Ивановской, Тыркова. Из отчета:

— В пятницу, 3 апреля, в 9 час. утра, на Семеновском плацу, согласно произведенному заранее официально заявлению, была совершена казнь 5 царевубийц: Андрея Желябова, Софии Перовской, Николая Кибальчика, Николая Рысакова и Тимофея Михайлова.

Все означенные преступники содержались в Доме предварительного заключения и оттуда были отправлены на место казни, на Семеновский плац.

В 7 час. 50 мин. ворота, выходящие из Дома предварительного заключения на Шпалерную улицу, отворились и, спустя несколько минут, из них выехала первая позорная колесница, запряженная парой лошадей. На ней, с привязанными к сиденью руками, помещались 2 преступника: Желябов и Рысаков. Они были в черных, солдатского сукна шинелях и таких же шапках, без козырьков. На груди у каждого висела черная доска с белой надписью "царевубийца". Юный Рысаков, ученик Желябова, казался очень взволнованным и чрезвычайно бледным. Очутившись на Шпалерной улице, он окинул взором части сосредоточенных войск и массу народа и поник головой. Не бодрее казался и учитель его, Желябов. Кто был на суде и видел его там бравирующим, тот, конечно, с трудом узнал бы этого вожака царевубийц — так он изменился. Впрочем, этому отчасти способствовала перемена костюма, но только отчасти. Желябов как тут, так и всю дорогу не смотрел на своего соседа Рысакова, и, видимо, избегал его взглядов...

К утверждению, что Желябов казался не бодрее своего ученика, следует отнести с большим сомнением. Все, что дальше говорится в этом же отчете о поведении Желябова, опровергает это утверждение.

По свидетельству Плансона, начальника конвоя, сопровождавшего позорные колесницы, Желябов сидел спокойно, стараясь не показать волнения, владевшего им^[112]. Обращает внимание, что власти разъединили Желябова с Перовской, поместив с ним Рысакова.

Из отчета:

— Вслед за первую, выехала из ворот вторая позорная колесница, с 3 преступниками: Кибальчиком, Перовской и Михайловым. Они также были одеты в черном арестантском одеянии. София Перовская помещалась в середине, между Кибальчиком и Михайловым. Все они были бледны, но особенно Михайлов. Кибальчик и Перовская казались бодрее других. На лице Перовской можно было заметить легкий румянец, вспыхнувший мгновенно при выезде на Шпалерную улицу. Перовская имела на голове черную повязку, вроде капора. На груди у всех также висели доски с надписью: "цареубийца". Как ни был бледен Михайлов, как ни казался он потерявшим присутствие духа, но, при выезде на улицу, он несколько раз что-то крикнул. Что именно — разобрать было довольно трудно, так как в это самое время забили барабаны. Михайлов делал подобные возгласы и по пути следования, зачастую кланяясь на ту и другую сторону собравшейся по всему пути сплошной массе народа...

Замечания о Михайлове, будто он потерял присутствие духа, тоже едва ли верны. Тырков, сидевший в то время в Доме предварительного заключения, сообщил со слов жандарма, дежурившего при осужденных:

— Когда Перовскую вывели во двор, где ее уже ждала позорная колесница, она побледнела и зашаталась. Но ее поддержал Михайлов словами: — Что ты, что ты, Соня, опомнись! — Этот оклик привел ее в себя: она справилась с минутной слабостью и твердо взошла на колесницу. — Возгласы и поклоны тоже не свидетельствуют о потере духа питерским пролетарием.

Из отчета:

— Следом за преступниками ехали 3 кареты с 5 православными священниками, облаченными в траурные ризы, с крестами в руках. На козлах этих карет помещались церковнослужители. Эти 5 православных священников, для напутствования осужденных, прибыли в Дом предварительного заключения еще накануне вечером, в начале 8 часа.

Рысаков охотно принял священника, долго беседовал с ним, исповедался и приобщился св. тайн. 2 апреля Рысакова видели плачущим: прежде, он зачастую в заключении читал св. евангелие. Михайлов тоже принял священника, довольно продолжительно говорил с ним, исповедался, но не причастился св. тайн. Кибальчик два раза диспутировал

со священником, от исповеди и причастия отказался; в конце концов, он попросил священника оставить его. Желябов и Софья Перовская категорически отказались принять духовника.

Ночь со 2 на 3 апреля, для них последнюю, преступники провели разное. Перовская легла в постель в исходе 11 часа вечера, Кибальчич несколько позже — он был занят письмом к своему брату... Михайлов тоже написал письмо к своим родителям, в Смоленскую губернию. Письмо это написано безграмотно и ничем не отличается от писем русских простолюдинов к своим родным. Перовская еще несколько дней назад отправила письмо к своей матери. Желябов написал письмо к своим родным, потом разделся и лег спать в исходе 11 часа ночи. По некоторым признакам, Рысаков провел ночь тревожно. Спокойнее всех казались Перовская и Кибальчич...

В 6 час. утра, всех преступников, за исключением Геси Гельфман, разбудили. Им предложили чай. После чая их поодиночке призывали в управление Дома предварительного заключения, где в особой комнате переодевали в казенную одежду: белье, серые штаны, полушубки, поверх которых арестантский черный армяк, сапоги и фуражку с наушниками. На Перовскую надели платье тиковое с мелкими полосками, полушубок и также черную арестантскую шинель.

Как только окончилось переодевание, их выводили во двор. На дворе стояли уже две позорные колесницы. Палач Фролов, со своим помощником из тюремного замка, усаживал их на колесницу. Руки, ноги и туловище преступника прикреплялись ремнями к сиденью.

...Рассказывают: когда Перовскую посадили на колесницу и скрутили ей руки, она сказала:

— Отпустите немного, мне больно...

— После будет еще больнее, — ответил жандармский офицер.

Усаживали осужденных "задом наперед"... Из отчета:

— Палач Фролов еще накануне вечером, около 10 час. прибыл в Дом предварительного заключения, где и провел ночь. Покончив операцию усаживания преступников на колесницы, Фролов с своим помощником отправился в карете, в сопровождении полицейских, к месту казни, а вслед за ним 2 позорные колесницы выехали за ворота Дома предварительного заключения на Шпалерную улицу.

Позорный кортеж следовал по улицам... Высокие колесницы, тяжело гроыхая по мостовой, производили тяжелое впечатление своим видом. Преступники сидели сажени две над мостовой, тяжело покачиваясь на каждом ухабе. Позорные колесницы были окружены войсками. Улицы, по

которым везли преступников, были полны народом.

Отвратительный барабанный грохот целого взвода барабанщиков сопровождал первомартовцев на всем их пути. В секретной инструкции по комендантского управления по удушению говорится:

Барабанщики должны бить дробь только в таком случае, когда преступники будут кричать.

И действительно, Михайлов не прекращал что-то выкрикивать до самого Семеновского плаца. Из-за барабанного грохота слов Михайлова не было слышно, но видели, как он шевелил губами. Кстати: некоторые дикие племена в Африке, находившиеся на низшей ступени развития, некогда тоже сопровождали человеческие убийства барабанным боем. Самодержавие только повторило этот обычай.

Телеги, выкрашенные в черный цвет, на огромных колесах, по мостовым и в особенности на ухабах сильно тряслись и тряска причиняла мучения смертникам, крепко прикрученным к сиденьям. Плансон заметил, что Рысаков стал ерзать, наклонять голову, лицо его выражало страдание. К нему приблизился один из помощников палача. Рысаков сказал ему, что у него сильно зябнут уши. Палач, очевидно следуя примеру жандармского офицера, ответил:

— Потерпи, голубчик! Скоро и не то еще придется вытерпеть!

Андрей Брейтфус утверждает: в толпе слышались оханья и восклицания: — Какие молодые!... Какие хорошие лица и такое преступление! — Большинство глубоко сожалело и недоумевало, что побудило их совершить цареубийство^[113].

Плансон считает, что толпа была настроена к осужденным враждебно. Он (между прочим, рассказывает:

— Подойдя к углу Надеждинской и Спасской, мы заметили стоявшую на тумбе возле фонаря какую-то уже немолодую женщину, но в шляпе и интеллигентного вида.

Когда платформы с цареубийцами поравнялись с тем местом, где она стояла, и даже миновали его, так что преступники могли видеть эту женщину, она вынула белый платок и два раза успела махнуть им в воздухе. Нужно было видеть, с каким диким остервенением толпа сорвала моментально несчастную женщину с ее возвышения, сразу смяла ее шляпу, разорвала пальто и даже, кажется, раскровянила ей лицо.

Второй, совершенно аналогичный случай, произошел уже недалеко от места казни... Точно так же какая-то молоденькая на этот раз женщина, стоя на тумбе и держась одной рукой о столб у подъезда, вздумала одной рукой замахать в виде приветствия проезжавшим цареубийцам. Так же в

мгновение ока она очутилась в руках толпы... Так же не без труда удалось вырвать ее из рук толпы-зверя...^[114]

Удалось ли увидеть смертникам последние, прощальные приветы друзей, не побоявшихся разъяренных дворников, молодцов с Сенного рынка, лабазников и окуровских патриотов?..

Писательница Дмитриева тоже видела мельком первомартовцев.

Толпы народа все прибывали. Всего на казни собралось до 100 тыс. человек и 10–12 тыс. войск.

Из отчета:

Начиная с 8 час. утра, солнце ярко обливало своими лучами громадный Семеновский плац, покрытый еще снегом с большими тающими местами и лужами. Несметное число зрителей обоего пола и всех сословий наполняло обширное место казни, толпясь тесною, непроницаемою стеною за шпалерами войска. На плацу господствовала замечательная тишина. Плац был местами окружен цепью казаков и кавалерии. Ближе к эшафоту, на расстоянии 2–3 саж. от виселицы, пехота лейб-гвардии Измайловского полка.

В начале 9 часа приехал на плац градоначальник, генерал-майор Баранов, а вскоре после него судебные власти и лица прокуратуры; прокурор судебной палаты Плеве, исполняющий должность прокурора окружного суда Плющик-Плющевский и товарищи прокурора Поетавский и Мясоедов, обер-секретарь Семякин.

Вот описание эшафота: черный почти квадратный, помост, 2 арш. вышины, обнесен небольшими, выкрашенными, черною краскою, перилами. Длина помоста 12 арш., ширина 9½. На этот помост вели 6 ступеней. Против единственного входа, в углублении, возвышались 3 позорные столба с цепями на них и наручниками. У этих столбов было небольшое возвышение, на которое вели 2 ступени. Посредине общей платформы была необходимая в этих случаях подставка для казненных. По бокам платформы возвышались 2 высокие столба, на которых положена была перекладина, с 6 на ней железными кольцами для веревок. На боковых столбах также были ввинчены по 3 железных кольца. Два боковые столба и перекладина для 5 царубийц. Позади эшафота находились 5 черных деревянных гробов, со стружками в них и парусиновыми саванами для преступников, приговоренных к смерти. Там же лежала деревянная простая подставная лестница. У эшафота еще задолго до прибытия палача, находились 4 арестанта, в нагольных тулупах — помощники Фролова...

За эшафотом стояли 2 арестантских фургона, в которых были привезены из тюремного замка палач и его помощники, а также 2 ломовые

телеги с 5 черными гробами.

Вскоре после прибытия на плац градоначальника, палач Фролов, стоя на новой деревянной некрашенной лестнице, стал прикреплять к 5 крюкам веревки с петлями. Палач был одет в синюю поддевку, так же и 2 его помощника...

...Палач Фролов... У Гейне в "Мемуарах" есть романтический рассказ о палачах. Отверженные обществом, они держат крепкую связь между собой, время от времени собираясь на съезды. У них есть свои старинные, вековые обычаи. После 100 казней меч торжественно зарывается в могилу: по поверью он приобретает от крови магическую и страшную силу. О царских "запленных мастерах", и в частности о палаче Иване Фролове, ничего романтического не расскажешь. "Сказания" о нем прозаичны: — на устройство эшафота и разборку одного—205 руб. 50 коп., на погребение тел казненных — 44 руб. 90 коп.; на отправление в Москву запленного мастера и на вознаграждение ему 81 руб.; на разные мелкие расходы —19 руб.; итого — 350 руб. 20 коп. — (Стоимость казни Преснякова и Квятковского.) "Истинно русская" одежда нашего палача тоже не располагает к романтике: кучерский синий кафтан, красная рубаха, черный жилет, "золотая" цепь на брюхе. Надо, однако, признать: "поработал" Фролов не мало. Свою "карьеру" палача Фролов начал с Владимира Дубровина, офицера-землевого. Затем Фроловым были удушены: Валерьян Осинский, Людвиг Брантнер, Антонов-Свириденко, Соловьев, Дмитрий Лизогуб, Чубаров, Давиденко, Виттенберг, Логовенко, Майданский, Малинка, Дробязгин, Млодецкий, Лозинский, Розовский, Пресняков, Квятковский. Утруженный "работой" Фролов пытался однажды отказаться от должности палача, но его быстро "вразумили". Иногда Фролова выписывали еще до суда "предвидя исполнение".

Рослый, русобородый, с красными, вывороченными веками и глубоко запавшими глазами, Фролов был в прошлом осужден за грабежи. Еще до казни первомайцев он получил "прощение", жил под Москвой.

Палач и его помощники "работали", "заправившись" 'водкой. Таков был обычай. Винным перегаром они отравляли последние вздохи осужденным.

Из отчета:

— Небольшая платформа для лиц судебного и полицейского ведомств была расположена на 1—1½ саж. от эшафота...

Колесницы с осужденными прибыли на плац в 8 час. 50 мин. При появлении на плац преступников под сильным конвоем казаков и жандармов, густая толпа народу заметно заколыхалась. Послышался глухой

и продолжительный гул, который прекратился лишь тогда, когда 2 позорные колесницы подъехали к самому эшафоту и остановились, одна за другой, между подмостками, где была сооружена виселица и платформа, на которой находились власти. Несколько ранее прибытия преступников, подъехали к эшафоту кареты с 5 священниками.

— По прибытии колесниц, власти и члены прокуратуры заняли свои места на платформе. Когда колесница остановилась, палач Фролов влез на первую колесницу, где сидели (вместе рядом связанными Желябов и Рысаков. Отвязав сперва Желябова, потом Рысакова, помощники палача вели их под руки (оставив их по-прежнему скрученными А. В.) по ступенькам на эшафот, где поставили рядом. Тем же порядком были сняты со второй колесницы Кибальчич, Перовская и Михайлов, я введены на эшафот. К 3 позорным столбам были поставлены: Желябов, Перовская и Михайлов; Рысаков и Кибальчич остались стоять крайними близ перил эшафота, рядом с другими цареубийцами. Осужденные преступники казались довольно спокойными, особенно Перовская, Кибальчич и Желябов, менее Рысаков и Михайлов: они были смертельно бледны. Особенно выделялась апатичная и безжизненная, точно окаменелая физиономия Михайлова. Невозмутимое спокойствие и душевная покорность отражалась на лице Кибальчича. Желябов казался нервным, шевелил руками и часто поворачивал голову в сторону Перовской, стоя рядом с нею, и раза два к Рысакову, находясь между первой и вторым. На спокойном желтовато-бледном лице Перовской блуждал легкий румянец; когда они подъехали к эшафоту, глаза ее блуждали, лихорадочно скользя по толпе, и тогда, когда она, не шевеля ни одним мускулом лица, пристально глядела на платформу, стоя у позорного столба. Когда Рысакова подвели ближе к эшафоту, он обернулся лицом к виселице и сделал неприятную гримасу, которая искривила на мгновение его широкий рот. Светлорыжеватые, длинные волосы преступника развевались по его широкому полному лицу, выбиваясь из-под плоской черной арестантской шапки. Все преступники были одеты в длинные арестантские черные халаты.

Вскоре после того, как преступники были привязаны к позорным столбам, раздалась военная команда "на караул", после чего градоначальник известил прокурора судебной палаты, г. Плеве, что все готово к совершению последнего акта земного правосудия.

Палач и его 2 помощника остались на эшафоте, стоя у перил, пока обер-секретарь Попов читал приговор. Чтение краткого приговора продолжалось несколько минут. Все присутствующие обнажили головы. По прочтении приговора забили мелкой дробью барабаны: барабанщики

разместились в 2 линии перед эшафотом — и платформою, на которой стоял прокурор, градоначальник и другие должностные лица. Во время чтения приговора, взоры всех преступников были обращены на г. Попова, ясно прочитавшего приговор...

...Когда читали приговор, Желябов неоднократно обращался к товарищам и что-то им говорил...

...Легкая улыбка отразилась на лице Желябова, когда по окончании чтения приговора, палач подошел к Кибальчичу, давая дорогу священникам, которые в полном облачении, с крестами в руках, взошли на эшафот. Осужденные почти одновременно подошли к священникам и поцеловали крест, после чего они были отведены палачами, каждый к своей веревке. Священники, осенив осужденных крестным знамением, сошли с эшафота. Когда один из священников дал Желябову поцеловать крест и осенил его крестным знамением, Желябов что-то шепнул священнику, поцеловав горячо крест, тряхнул головою и улыбнулся...

Неизвестно, насколько верно утверждение, что первомартовцы целовали крест. В. Н. Фигнер в личной со мной беседе сказала: она считает это возможным по отношению к Желябову и неправдоподобным в отношении к Перовской. Желябов и Перовская накануне не приняли священников, Кибальчич, после спора с духовником попросил его удалиться; возможно, что они приложились к кресту, уступая религиозным предрассудкам собравшегося народа: пусть не считают их выродками. Надо только представить себе царскую Россию начала 80-х годов!.. А может быть, они почтили крест, как символ страдания и самопожертвования.

Из отчета:

— Бодрость не покидала Желябова, Перовскую и особенно Кибальчича до минуты надевания белого савана с башлыком. До этой процедуры Желябов и Михайлов, приблизившись на шаг к Перовской, поцелуем простились с нею. Рысаков стоял неподвижно и смотрел на Желябова все время, пока палач надевал на его сотоварищей ужасного преступления роковой длинный саван висельников.

Фон Пфейль со своей стороны прибавляет: — Началась ужасная деятельность палача, который в это время снял уже одежду и стоял в красной рубахе. Со своими помощниками он надел на головы осужденных капюшоны, которые были сшиты так, что шея оставалась открытой. Затем он взял грубо каждого за шею, чтобы убедиться, можно ли как следует положить петлю. Когда он подошел к Перовской, она в ужасе отступила от него, как бы защищая свою женскую честь...

В. К., военный находившийся по обязанности службы в 20–30 шагах

от эшафота, вносит в казенный отчет поправку:

— Поцелуем простились не только Желябов и Михайлов с Перовской, но и все осужденные друг с другом, и одна только Перовская отвернулась от Рысакова, когда он потянулся к ней^[115].

Из отчета:

— Палач Фролов, сняв поддевку и оставшись в красной рубашке, "начал" с Кибальчича. Надев на него саван и наложив вокруг шеи петлю, он притянул ее крепко веревкой, завязав конец веревки к правому столбу виселицы. Потом он приступил к Михайлову, Перовской и Желябову.

Желябов и Перовская, стоя в саване, потряхивали неоднократно головами...

Последний по очереди был Рысаков, который, увидав других облаченными вполне в саваны и готовыми к казни, заметно пошатнулся; у него подкосились колени, когда палач быстрым движением накинул на него саван и башлык. Во время этой процедуры барабаны, не переставая, били мелкую, но громкую дробь.

В 9 час. 20 мин., палач Фролов, окончив все приготовления к казни, подошел к Кибальчичу и подпел его на высокую черную скамью, помогая войти на 2 ступеньки. Палач отдернул скамейку и преступник повис в (воздухе. Смерть постигла Кибальчича мгновенно; по крайней мере, его тело, сделав несколько слабых кружков в воздухе, вскоре повисло без всяких движений и конвульсий. Преступники, стоя в один ряд, в белых саванах, производили тяжелое впечатление. Выше всех ростом казался Михайлов.

После казни Кибальчича вторым был казнен Михайлов, за ним следовала Перовская, которая, сильно упав на воздухе со скамьи вскоре повисла без движения, как трупы Михайлова и Кибальчича. Четвертым был казнен Желябов, последним Рысаков, который, будучи сталкиваем палачом со скамьи несколько минут старался ногами прижаться к скамье. Помощники палача, видя отчаянные движения Рыбакова, быстро стали отдергивать из-под его ног скамью, а палач Фролов дал телу преступника сильный толчок вперед. Тело Рысакова, сделав несколько медленных оборотов, повисло также спокойно, рядом с трупом Желябова и другими казненными...

Автор казенного отчета, зорко подмечавший мелочи, — и как развевались волосы Рысакова и как глядела на толпу Перовская, неожиданно теряет память. Военный В. К. дополняет отчет такими существенными подробностями;

— Вторым был повешен Михайлов. Вот тут-то и произошел крайне

тяжелый эпизод, вовсе не упомянутый в отчете: не более, как через 1–2 сек. после вынуждения ступенчатой скамейки из-под ног Михайлова, петля, на которой он висел, разорвалась, и Михайлов грузно упал на эшафотную настилку. Гул, точно прибой морской волны, пронесся по толпе; как мне пришлось слышать потом, многие полагали, что даже по закону факт срыва с виселицы рассматривается как указание свыше, от бога, что приговоренный к смерти подлежит помилованию; этого ожидали почти все.

Несмотря на связанные руки, на саван, стеснявший его движения, и на башлык, мешавший видеть, Михайлов поднялся сам и лишь направляемый, но не поддерживаемый помощниками палача, взошел на ступеньки скамейки, подставленной под петлю палачом Фроловым. Последний быстро сделал новую петлю на укрепленной веревке и через 2–3 мин. Михайлов висел уже вторично. Секунда, две... и Михайлов вновь срывается, падая на помост! Больше прежнего зашумело море людское! Однако палач не растерялся и, повторив уже раз проделанную манипуляцию с веревкой, в третий раз повесил Михайлова. Но заметно было, что нравственные и физические силы последнего истощились: ни встать, ни подняться на ступеньки без помощи сотрудииков Фролова он уже не мог.

Медленно завертелось тело на веревке. И вдруг как раз на кольце под переладиной, через которое была пропущена веревка, она стала перетираться, и два стершиеся конца ее начали быстро-быстро и заметно для глаза раскручиваться. У самого эшафота раздались восклицания: — "Веревка перетирается! Опять сорвется!" Палач взглянул вверх, в одно мгновение подтянул к себе соседнюю петлю (шестая петля предназначалась для Геси Гельфман), влез на скамейку и накинул петлю на висевшего Михайлова. Таким образом, тело казненного поддерживалось 2 веревками, что и показано совершенно ясно на рисунке, сделанном фотографом Несветевичем...

Этот рассказ В. К. вполне и целиком подтверждает Плансон, Андрей Брейтфус, иностранные корреспонденты. Возмущение толпы было неопишваемое. Толпа рвалась к виселицам с криками, с угрозами, с поднятыми кулаками. Если бы не войска, помост был бы разнесен вдребезги.

О повешении Андрея Ивановича Брейтфус пишет:

— За Перовской следовал Желябов, долго бившийся в конвульсиях, описывая вольты в воздухе, и в публике опять слышался ропот: наверное петля попала на подбородок.

Д. Г. Венедиктов тоже отмечает: — Над Андреем Желябовым палач

потешался: сверх обычной петли, затянутой на шее А. Желябова, палач наложил ему еще другую петлю, узлом на подбородке, что сильно удлиняло мучения повешенного. Причем палач настолько возмутил даже доктора, присутствовавшего при казни, что тот обратился с грубой бранью на палача; последний, как сообщают иностранные корреспонденты, дерзко ответил: когда я тебя повешу, то стяну как следует^[116].

Трупы казненных продолжали висеть. Массы народа глядели на виселицы в оцепенений. Стояла напряженная тишина. Несветевич хладнокровно зарисовывал эшафот, колесницу, повешенье, казненных. Из отчета:

— В 9 час. 30 мин. казнь окончилась; Фролов и его помощники сошли с эшафота и стали налево, у лестницы, ведущей к эшафоту. Барабаны перестали бить. Начался шумный говор толпы. К эшафоту подъехали 2 ломовые телеги, покрытые брезентами. Трупы казненных висели не более 20 мин. Затем на эшафот были внесены 5 черных гробов, которые помощники палача подставили под каждый труп. Гробы были в изголовьях наполнены стружками. На эшафот потом вошел военный врач, который, в присутствии 2 членов прокуратуры освидетельствовал снятые и положенные в гробы трупы казненных. Первым был снят с виселицы и положен в гроб Кибальчич, а затем другие казненные. Все трупы были сняты в 9 час. 50 мин. По освидетельствовании трупов, гробы были немедленно накрыты крышками и заколочены. Гробы были помещены на ломовые телеги с ящиками и отвезены под сильным конвоем на станцию железной дороги, для предания там казненных земле на Преображенском кладбище.

Вся процедура окончилась в 9 час. 58 мин. В 10 час. градоначальник дал приказ к разбору эшафота, что и было немедленно исполнено тут же находившимися плотниками, после чего как палач Фролов, или как он себя называет, "заплечных дел мастер", так и его помощники, были отвезены в арестантских "хозяйственных фургонах тюремного ведомства" в Литовский замок.

— В начале 11 час., войска отправились в казармы; толпа начала расходиться. Конные жандармы и казаки, образовав летучую цепь, обвивали местность, где стоял эшафот, не допуская к нему подходить черни и безбилетной публике. Более привилегированные зрители этой казни толпились около эшафота, желая удовлетворить своему суеверию — добыть "кусочек веревки", на которой были повешены преступники...

Давая отчет о казни первомартовцев, корреспондент "Кельнише цейтунг" заявил:

— Я присутствовал на дюжине казней на (Востоке, но никогда не видал подобной живодерни.

Корреспондент "Тайме" в свою очередь утверждал:

— Русский способ повешенья есть просто удушение.

Надо полагать, в религиозной и гуманной Англии "это" делается иначе: недаром там и решение суда о смертной казни через повешение формулируется в высшей степени гуманно:

— Вы будете повешены за шею до тех пор, пока вы не умрете...

П. С. Ивановская, соратница Желябова и Перовской, в памятке о Людмиле Терентьевой, очень любившей Андрея Ивановича и Софью Львовну, вспоминает:

— 3 апреля мы с Лилой тихо шли по Царскосельскому проспекту, встречая грудь грудьюдвигающиеся толпы, войска и народ, покидавшие Семеновский плац, совершив свое кровавое дело. Солдаты возвращались с ухарскими песнями и бравурной музыкой, точно с парада... Стало все ясно... Закрыв лицо руками, Лилочка оказала голосом жгучей скорби:

— Я хотела больше всего умереть вместе с ними, вон там... — указала она движением головы на Семеновский плац.

"Бывают времена постыдного разврата...

Ликут образа лишенные людского,
клеймемные рабы"...

Имя Желябова старались предать забвению. В. Н. Фигнер сообщает: — Мною слышано от покойного московского раввина Мазе: в апреле 1881 г. директор Керченской гимназии, в которой в то время учился Мазе, приказал в необычайный день и час собраться всем ученикам и учительскому персоналу в гимназический зал. Все недоумевали, по какому это случаю, и строили разные предположения. Гимназисты стояли группой у большой доски в глубине зала. Появляется директор и при всеобщем молчании, повышенным тоном произносит речь: — 1 марта в Петербурге злоумышленниками совершено неслыханное злодеяние, жертвой которого пал государь-император Александр II. К позору нашей гимназии, среди виновников оказался один из ее воспитанников — Андрей Желябов. Он получил заслуженную кару и всенародно казнен позорной казнью через повешение. Да будет же имя запятнавшего нашу гимназию навсегда предано забвению... Делает жест; один из учителей стирает фамилию Желябова с золотой доски гимназии. Гимназисты расходятся в молчании;

некоторые взволнованы и не могут скрыть расстроенных лиц... (В. Фигнер. Том V).

Андрей Брейтфус свой рассказ заключает:

— Через несколько лет мне пришлось быть на Преображенском кладбище вместе с товарищами по кружку. Мы задумали разыскать братскую могилу первомайцев. Встретили старика-могильщика, за "на чай" он свел нас в конце кладбища к забору, где была свалка всякого мусора и старых высохших венков с могил и, указывая пальцем, сказал: "вот там мы зарыли их сердечных, я им яму копал".

Никакого бугорка над могилой заметно не было.

На поле мы сплели из полевых цветов большой венок и повесили его над могилой на заборе...

По утверждению И. П. Белоконского у жены Желябова после его казни потребовали, чтобы она изменила свою фамилию. Она стала носить девичью фамилию. Тесть, городской голова Яхненко, еще раньше скончался от удара, узнав, что Андрей Иванович — террорист.

Казнь первомайцев произвела такое отвратительное впечатление, что самодержавие больше уже не решалось казнить публично. Л. Н. Толстой протестовал против смертной казни первомайцев особым письмом к Александру III. Царь на письмо не ответил. Вообще же "общественное мнение" трусливо и подавленно молчало.

Казнь первомайцев показала, что царское правительство решило взять курс "ежовых рукавиц".

Игра в конституцию была оставлена.

Остатки "Народной Воли" беспощадно уничтожались.

...Торжество было временное...

Подобно мифическому герою Желябов посеял зубы дракона...

Из них вырос лес воинов, крепких, закованных в броню, — непобедимых пролетариев.

С вражьей силой, сразившей Желябова, эти воины свели счеты верно и окончательно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

"Народная Воля" была наиболее крупным явлением в революционном народничестве, в революционном движении 70-х и первой половины 80-х годов. "Народная Воля" еще более решительно и последовательно, чем предшествующее народническое движение, поставила на своем знамени борьбу против крепостнического самодержавия, против крупного помещичьего землевладения, за право крестьянина на землю, за победу крестьянской революции в России". (Тезисы Культпропа ЦК ВКП(б) к 50-летию "Народной Воли").

Являясь выразителями крестьянской революции, разночинцы-народники окрасили свои стремления иллюзиями и утопиями. Надеялись путем заговора низвергнуть самодержавие и убить буржуазию "в зародыше". Полагали, что политический переворот совпадет с социальным и приведет к организации вольных федеративных общин и артелей.

Убить капитализм "в зародыше" не удалось. Рубль и свист машины, банки и мироедство коренились в самых недрах современного общества. Успешное шествие Тит Титычей, Самохваловых, Колупаевых и Разуваевых, Рябушинских и Морозовых, власть крепостнических пережитков привели революционное народничество к поражению.

Но тот же капитализм подготовлял себе и гибель. Крепнул новый класс наемных рабочих. Появились новые люди, революционные марксисты, изучили опыт своих славных предшественников, придали революционной борьбе новый, невиданный размах, разрешили мучившие народовольцев дилеммы, найдя высший синтез.

Это случилось не сразу. Прошли годы, прошли немалые сроки со дня казни первомартовцев. Молнии и грому нужно время, свету звезд и деяниям нужно время, — после того, как они уже свершены, — чтобы их увидели и услышали. Люди нового поколения полностью осуществили призыв: — За горло и коленом на грудь! — Они были вооружены более грозным, чем народовольцы, оружием.

Народовольцы поставили на очередь основные вопросы русского революционного движения, но они из целому ряду совокупных обстоятельств не сумели, не могли их разрешить. У них получился ряд метафизических противопоставлений, понятно, они их, чаще всего не создавали.

— Либо европейский путь развития России либо каш отечественный, отличный по сравнению с Западной Европой.

Народовольцы находили, что пути развития России особые. Революционные марксисты в противовес народникам доказали, что Россия не может избежать капитализма, но вместе с тем они учли и своеобразие страны.

Народовольцы полагали:

— Либо нам удастся задушить буржуазию в самом зародыше, либо эта буржуазия совместно с самодержавием задушит социализм и приведет страну к полному физическому, нравственному и умственному вырождению. Надо скорее задушить буржуазию. Теперь, или никогда.

Ученики Маркса и Энгельса показали и доказали: русский капитализм, хотя и носит особо хищнический и отвратительный характер, но в то же время он, как и всякий капитализм, развивает в стране производительные силы, обобществляет разрозненные средства производства, вводит машинные и иные технические усовершенствования, объединяет и обучает рабочих, словом, создает необходимые условия для социализма. Убить буржуазию, "в зародыше" не удалось, но нет также нужды ожидать, пока она изживет себя "до логического конца".

Народовольцы считали:

Либо удастся в России построить особый русский социализм, свободные крестьянские федеративные общины и артели, опираясь на своеобразие нашего исторического развития, на общинный дух, — либо вообще социализм, особенно в его западноевропейской форме, не возможен у нас. Народовольцы находили возможным построить особый, общинный социализм. На это большевики ответили: социализм народников есть крестьянская утопия, обращенная к прошлому, а не к будущему. Будущее принадлежит не общинно-народническому, а научному социализму, который в основу кладет обобществление средств производства крупной индустрии в городе и деревне.

Народовольцы надеялись, что социалистическая революция победит, как революция крестьянская. Пролетариат в России самостоятельного значения не имеет. Фактически они противопоставляли и здесь русскую, крестьянскую революцию революции европейской, пролетарской.

Ученики Маркса на это ответили: в, России революция победит как рабочая революция. Но в отличие от меньшевизма, который искал союза с либеральной буржуазией, большевики, провозглашая в революционной борьбе гегемонию рабочего класса, вместе с тем полностью учли и значение крестьянства. Народники считали крестьянина прирожденным

социалистом. в этом они тоже не выходили из круга метафизических противоположений: либо крестьянин собственник, либо он общинник, социалист. На это Ленин сказал: у крестьянина — "две души": как труженик, как человек, который живет своим трудом, перенося гнет капитализма, крестьянин стоит на стороне рабочего; но он в то же время и собственник, мелкий товарный производитель. Поэтому, угнетаемый помещиком, чиновником, крупным капиталом и крепостническими пережитками, крестьянин как труженик является естественным союзником рабочего.

Отсюда лозунг революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства в период борьбы за буржуазно-демократический переворот с тем, чтобы от революции буржуазно-демократической в меру сил и возможности, немедленно перейти к революции социалистической. При социалистическом же перевороте главная задача сводится к утверждению на переходное время диктатуры пролетариата, который должен присоединить к себе полупролетарские элементы населения, нейтрализовать на первых порах крестьянина, середняка — собственника, парализовать его неустойчивость и вовлечь его дальше в качестве союзника в социалистическое строительство; главным условием такого успешного совлечения является обобществление важнейших и крупнейших средств производства и их дальнейшее укрепление. Практически эта задача под руководством партии большевиков разрешена ныне индустриализацией страны, победой колхозов и совхозов на базе сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса. Народновольты полагали:

— Либо социализм, либо политика; либо экономическая борьба, либо борьба политическая. Мы за политику; социализм пока отодвигается назад, до удачной расправы с царизмом.

Ученики Маркса ответили: нельзя метафизически противопоставлять экономическую борьбу борьбе политической, всякая классовая, экономическая борьба есть в то же время и борьба политическая. Социализм включает в себя политику. Народновольты рассуждали:

— Либо социальный, т. е. социалистический переворот, либо буржуазный. Надо добиваться социалистического переворота против буржуазного: буржуазный переворот только отдаляет социализм. Ученики Маркса разъяснили: буржуазный переворот при всей своей ограниченности не отдалит социалистического переворота, а его приблизит. Октябрьским переворотом большевики показали на деле, как надо переводить от буржуазно-демократической революции к революции социалистической.

Сломав аппарат буржуазно-полицейского государства, они утвердили власть советов, воплотив в жизнь основу основ ленинизма — учс-1 не о диктатуре пролетариата. Так и в теории и на практике были разрешены шатания народников по вопросу о захвате власти между бланкизмом и бакунизмом.

Связывая себя со всем революционным международным социалистическим движением, рассматривая себя одним из передовых отрядов мировой революции, большевики в дальнейшей деятельности исходили из твердой уверенности, что у нас при диктатуре пролетариата есть все необходимое для построения социализма. Это учение о социализме в одной отдельно взятой стране, опираясь на марксизм — ленинизм, развил тов. Сталин.

Народовольцы противопологали:

Либо стихия, либо сознание; либо толпа, либо герои. Они были за сознательное меньшинство, за конспиративную организацию революционеров "вместо массовой борьбы.

На это было отвечено в "Что делать?": "Стихийный элемент представляет собою, в сущности, не что иное, как зачаточную форму сознательности".

Отсюда необходимость соединить стихийную борьбу масс с деятельностью сознательного социалистического меньшинства, "толпу" с "героями". Весь вопрос в том, чтобы связать революционную работу с рабочим движением. Ленин и его последователи выдвинули идею строго централизованной организации профессиональных революционеров; но, выдвинув эту идею, Ленин писал:

"Сосредоточение всех конспиративных функций в руках возможно небольшого числа профессиональных революционеров вовсе не означает, что эти последние будут "думать за всех", что толпа не будет принимать деятельного участия в движении. Напротив, эти профессиональные революционеры будут выдвигаться толпой все в большем числе... Централизация конспиративных функций организации вовсе не означает централизации' всех функций движения... Централизация наиболее конспиративных функций организаций революционеров не обессилит, а обогатит широту и содержательность деятельности целой массы других организацией, рассчитанных на широкую публику и возможно менее конспиративных" ("Что делать").

Так разрешался вопрос о стихии и сознании о "героях" и "толпе" в рабочем движении, в революционной борьбе. И не только в теории, но и на практике Ленин и его последователи сумели создать конспиративную,

централизованную организацию, опирающуюся на рабочие массы, на широкое движение. Ленинизм соединил чистоту движения с массовой борьбой. Благодаря этому и выковалась несокрушимая и победоносная большевистская партия.

Дилеммы, мучившие и бакунистов-бунтарей, и землевольцев, и народовольцев, были разрешены диалектически. Создавая такую организацию большевиков, Ленин в 1902 г. писал:

"По лесам или подмосткам этой общей организационной постройки скоро поднялись и выдвинулись бы из наших революционеров социал-демократические Желябовы, из наших рабочих — русские Бебели, которые встали бы во главе мобилизованной армии и подняли весь народ на расправу с позором и проклятием России".

Народовольчество является превзойденным этапом в русском революционном движении, но вместе с тем никогда не следует забывать, что "от кружка корифеев вроде Алексеева, Мышкина, Халтурина и Желябова, которому доступны политические задачи", был взят Лениным и тип "профессионального революционера".

В создании этого типа Андрею Ивановичу Желябову принадлежит почетное место. И потому его так чтут рабочие. Прекрасно выразился один практик-рабочий:

— Может быть, — сказал он, — вам покажется смешным, что рабочие зачитывали до дыр народовольческую брошюру "Подпольная Россия" и жили вместе с ее героями, забывая всякие опасности и трудности настоящего. Я не сторонник разных заговоров и терроров, но для меня нисколько не смешно видеть человека, переименовавшего "Бову-королевича" — на Желябова и "Спящую красавицу" — на Софью Перовскую...".

Г.В. Плеханов — Еще раз социализм и политическая борьба, т. XII

ПОСОБИЯ И ИСТОЧНИКИ

Андрей Иванович Желябов. (Лев Тихомиров). 1932 г. изд. О-ва политкаторжан.

В. Н. Фигнер, М. Н. Три гони — "Голос минувшего", 1917 г. № 7–8.

Чернышевский — Что делать?

Лев Тихомиров — Воспоминания. изд. Центрархива, 1916 г.

Чудновский. — Из дальних лет. "Былое". 1906 г. № 10.

Семенюта — Из воспоминаний о Желябове. "Былое". 1906 г. № 5.

Прибылева-Корба — "Народная Воля". Воспоминания, 1926 г.

С. А. Мусин-Пушкин — А. И. Желябов. "Голос минувшего", 1915 г. №

12.

Д. Заславский — А. И. Желябов.

А. Шехтер — Из далекого прошлого. "Каторга и ссылка", 1923 г., № 5.

В. И. Ленин — Собрание сочинений, т. XI, часть 2-Крестьянская реформа.

В. Н. Фигнер — Запечатленный труд. Том. I и V.

Дебагорий-Мокриевич — От бунтарства к терроризму. Изд. "Молодая Гвардия".

Мих. Бакунин — Государственность и анархия.

Петр Лавров — Исторические письма.

Г. В. Плеханов — Наши разногласия. Предисловие к русскому изданию книги А. Туна. XXIV том.

Чудновский — Отрывки из воспоминаний. "Наша старина", 1907 г. №

1.

Си не губ — Воспоминания чайковца. "Былое", 1906 г. № 8.

Старик — Движение 70-х годов. "Былое", 1906 г. № 11.

Спандони — Страницы из воспоминаний. "Былое", 1906 г. № 5.

Н. Русанов — Идеиные основы "Народной Воли". "Былое", 1907 г. №

9.

А. А. Квятковский — Автобиографическое заявление. "Красный архив", том 14; 1926 г.

Лукашевич — В народ! "Былое", 1907 г. № 3.

Г. В. Плеханов. Неудачная история партии "Народной Воли". Том. XXIV.

Н. Волков. Народовольческая пропаганда среди московских рабочих.

"Былое". 1906 г. № 2.

Процесс 193-х. Издание Саблина. 1906 г.

М. Попов — К биографии И. Н. Мышкина. "Былое", 1906 г. № 2.

Писная — К биографии Желябова. "Каторга и ссылка", 1924 г. № 11.

Ник. Ашешев. А. И. Желябов. Материалы для биографии и характеристики.

А. И. Иванчин-Писарев — Из воспоминаний о хождении в народ. Изд. ред. журнала "Заветы". 1914 г.

Белоконский — Воспоминания о Желябове. "Былое", 1906 г. № 3.

Процесс 17 народовольцев в 1883 г. "Былое". 1906 г. N 10.

А. Кони. Процесс Веры Засулич. "Звенья". 1933 г. № 2.

П. С. Ивановская — Несколько слов об А. И. Желябове.

Сборник III. Изд. О-ва Политкаторжан. 1931 г.

В. Я. Богучарский — Из истории политической борьбы 70-2 и 80-х годов.

Автобиография Драгоманова. "Былое". 1906 г. № 6.

Н. Морозов — Повести моей жизни. Том IV. События в кружке. "Земля и Воля".

М. Попов — Из моего революционного прошлого. "Былое". 1907 г. № 7.

Фроленко — Записки семидесятника. "Липецкий и Воронежский съезды".

Г. В. Плеханов — О былом и небылицах. Том XXIV.

В. И. Ленин — Что делать? Собрание сочинений, том V.

Литература партии "Народной Воли". Выпуск первый. Под ред. Богучарского.

Ю. Стеклов — Степан Халтурин.

"Народная Воля" в документах и цифрах. 1930. Изд. О-ва "Политкаторжан".

П. Крапоткин — Записки революционера.

Фирсов — Александр II. "Былое". 1922 г. № 20.

Георгий Чулков. Четыре императора.

Доклады Дрентельна Александру II. "Красный архив". 1930 г. № 4.

К. А. Дворжицкий. Первое марта. "Исторический Вестник". 1913 г. № 1.

Окладский — Автобиография. "Суд идет". 1924 г. Д!Б 8—9—10.

Процесс 1 марта, изд. 1906 г.

Р. Кантор — Динамит "Народной Воли". "Каторга и ссылка". 1929 г. № 57—58.

- А. И. Желябов в Александровске. "Красный архив". 1926 г. № 18.
Народоволец А. Д. Михайлов. Изд. Гиза. 1925 г.
О. Любатович — Далекое и недавнее. "Былое", 1906 г. № 6.
Герцен — Былое и думы.
П. С. Ивановская — Первые типографии "Народной Воли". "Каторга и ссылка". 1924 г. № 24.
П. С. Ивановская, Л. Д. Терентьева. "Каторга и ссылка". № 76. 1931 г.
Процесс 20-ти народовольцев. "Былое". 1906 г. № 1.
Отчет о процессе 20 народовольцев в 1882 г "Былое", 1906 г. № 6.
Нечаев в Алексеевской равелине. "Былое". 1906 г. № 7.
П. Е. Щеголев — Алексеевский равелин. Изд. "Круг". 1929 г.
М. Ю. Ашенбреннер — Военная организация "Народной Воли". 1924 г. Изд. О-ва Политкаторжан.
Е. Серебряков — Революционеры во флоте. "Былое", 1907 г. № 4.
Из истории народовольческого движения среди военных. "Былое". 1906 г. № 8. "Былое". 1918 г. № 4–5. 1 марта.
В. Левицкий — "Народная Воля". и рабочий класс.
Лев Дейч — Из отношений Г. В. Плеханова к народовольцам. "Каторга и ссылка". 1923 г. № 7.
Панкратов — Из деятельности среди рабочих в 1880–1884 гг. "Былое". 1906 г. № 3.
В. Я. Богучарский — 1 марта. "Былое". 1906 г. № 3.
Ек. Л. — Конст. Маковский на процессе 1 марта. "Былое". 1924 г. № 25.
Дело 1 марта со статьей и примеч. Дейча.
М. Эльцина-Зак — Из встреч с первомаковцами. "Каторга и ссылка". 1924 г. № 12.
А. Тырков — К событию 1 марта. "Былое". 1906 г. № 5.
Сидоренко — Из воспоминаний о 1 марта. "Каторга и ссылка". 1923 г. № 5.
С. Иванов — Из воспоминаний о 1 марта. "Былое". 1906 г. № 4.
А. Прибылева-Корба — К биографии Желябова. "Народовольцы". Сборник III. 193] г,
В. Игельстрем-Иван Окладский. "Былое". 1925 г. № 3
И. И. Попов — Минувшее и пережитое, изд. "Академия". 1933 г.
П. Е. Щеголев-- О Кибальчиче. "Каторга и ссылка". 1931 г. № 72.
София Иванова — Воспоминания о С. Л. Перовской "Былое". 1906 г. № 3.
К биографии Желябова и Перовской. "Былое". 1906 г. № 8.

- А. Якимова — Из далекого прошлого. "Каторга и ссылка". 1924 г. № 1 (8).
- М. Полонская-Оловенникова — К истории партии Н. В. "Былое". 1907 г. № 6.
- Показания Рысакова. "Красный архив". 1926 г. № 19.
- Тригони — Мой арест. "Былое", 1906 г. № 3.
- Перетц — Дневник. Гиз 1927 г.
- Процесс предателя-провокатора Окладского-Петровского в Верховном суде. 1925 г.
- Берман — К истории 1 марта. "Каторга и ссылка". 1927 № 32.
- К. П. Победоносцев — Письма и записки, том. 1.
- П. Е. Щеголев — Из истории конституционных вех. "Былое", 1906 г. № 12.
- Дневник Бобринского. "Каторга и ссылка", 1931 г. № 3.
- Феокистов — За кулисами политики и литературы. 1929 г.
- Швецов — Первое марта в Сургуте. "Каторга и ссылка" 1931 г. № 3.
- Из записной книжки архивиста. "Красный Архив", 1930 г. № 40.
- Шпицер — Как судили первомайцев. "Суд идет", 1926 г. № 4.
- "Набат", № 3, 1881 г.
- Богданович — Три последних самодержца. 1924 г.
- Вокруг 1 марта. "Красный Архив", 1930 г. № 40.
- В. К. — Несколько слов о казни цареубийц. "Былое", 1920 г. № 15.
- Л. Г. Венедиктов — Палач Фролов и его жертвы. Изд. О-ва Политкаторжан.
- П. С. Ивановская, Л. Д. Терентьева — "Каторга и ссылка". 1931 г. № 76.
- Плансон — Казнь цареубийц. "Исторический Вестник". 1913 г. № 2.
- Тезисы Культпропа ЦК ВКП(б) к 50-летию "Народной Воли".
- Дискуссия о "Народной Воле". Изд. Комкадемии, 1930 г.
- Г. В. Плеханов — Еще раз социализм и политическая борьба, т. XIII.

Примечания

В. Н. Фигнер, Михаил Николаевич Тригони, "Голос минувшего", 1917 г. № 7–8.

Лев Тихомиров — Воспоминания. Центрoархив, 1926 г.

Андрей Иванович Желябов. Изд. Политкаторжан, 1930 г.

Чудновский — Из дальних лет. "Былое" 1907 г. № 1 0.

Семенюта — Из воспоминаний о Желябове. "Былое". 1906 г. № 5

Прибылева-Корба — "Народная Воля". Воспоминания.

С. А. Мусин-Пушкин — А. И. Желябов. "Голос минувшего" 1915 г. № 12.

О. Бен-Ами см. Д. Заславский — А. И. Желябов.

"Каторга и ссылка". 1923 г. А. Шехтер. — Из далекого прошлого № 5.

В. И. Ленин — Собрание сочинений, том. XI, часть 2-я, изд. 1924 г.
"Крестьянская реформа".

В. Н. Фигнер — "Запечатленный труд".

Дебагорий — Мокриевич — "От бунтарства к терроризму"

Мих. Бакунин — "Государственность и анархия".

Цитируется по Плеханову. Собрание сочинений, т. 24. "Предисловие к русскому изд. книги А. Туна".

"Наша старина" № 1, 1907 г, Чудновский — Отрывки из воспоминаний.

Старик — "Движение 70-х годов". "Былое" 1906 г. № 11

Автобиография П. Драгоманова, "Былое", 1906, № 6.

"Красный Архив", том. XIV, 1926 г. Автобиографическое заявление А. А. Квятковского.

Лукашевич — В народ. "Былое". 1907 г., № 3.

Гронвер — Политические письма социалиста. Письмо второе.
"Народная Воля".

См. "Процессы 193-х". Изд. Саблина. 1906 г.

"Каторга и ссылка" 1924 г., № 11 — К биографии Желябова.

Ашешев — А. И. Желябов. Материалы к характеристике.

А. И. Иванчин-Писарев Из воспоминаний о хождении в народ.

"Андрей Иванович Желябов. 1932 г. изд. о-ва политкаторжан. (Лев Тихомиров.)

"Звенья" 1933 г № 2. Кони — Процесс Веры Засулич.

П. С. Ивановская — Несколько слов об А.И. Желябове
"Народовольцы", сборник 3, 1931 г.

В. В. Богучарский — Из истории политической борьбы 70-х годов

См. Богучарский — Из истории политической борьбы.

Впоследствии в период своего меньшевизма Плеханов в отличие от Ленина недооценил роли крестьянства в русской революции я, наоборот переоценил силы либеральной буржуазия.

Морозов — Повести о днях моей жизни, т. IV "События в кружке
"Земля и Воля".

Попов — Из революционного прошлого. "Былое" 1907 г. № 7.

Фроленко — Записки семидесятника Липецкий и Воронежской съезды.

Прибылеева-Корба — "Народная Воля". Воспоминания. 1926 г.

Фроленко — Начало народовольчества. "Каторга и ссылка" 1926 г. № 24.

М. Попов — "Земля и Воля" накануне Воронежского съезда. "Былое"
1906 г. № 8.

См Г. В. Плеханов "Неудачная история "Народной Воли".

См. Литература партии "Народной Воли". Выпуск первый под ред. Богучарского. "Народная Воля" № 1.

"Народная Воля" в документах и воспоминаниях. 1930 г.

В. Н. Фигнер — "Запечатленный труд"

Петр Кропоткин — "Записки революционера".

"Красный Архив" 1930 г. № 4 "Доклад" Дрентельна Александру II".

К. А. Дворжицкий. — Первое марта, "Исторический вестник", 1913 г.
№ 1

Цитируется по книге Богучарского — Из истории политической борьбы.

Это сообщение Складского на пролетарском суде экспертами оспаривалось

См. "Суд идет", 1924 г. № 8—10. Автобиография Ивана Окладского.

Процесс 20-ти народовольцев.

"Процесс 1-го марта", 1906 г.

Р. Кантор-Динамит "Народной Воли". "Каторга и ссылка", 1929 г. № 57–58.

Якімова.

"Красный архив" 1926 г. № 18 "А. И. Желябов в Александровске".

Народоволец А.Д. Михайлов. Изд. Гиза. 1925.

О. Любатович — Далекое и недавнее. "Былое" 1906 г., № 6.

О. С. Любатович — Далекое и недавнее. "Былое" 1906 г. № 6

Герцен — "Былое и думы"

"Каторга и ссылка" 1829 г. № 57–58. Н. Бух-Первая типография, "Н. В.", № 80 за 1931 г. "Первый процесс народовольцев".

Любатович — Далекое и недавнее. "Былое" 1906 г. N 6. 194

П. С. Ивановская — "Каторга и ссылка" № 24. Первые типографии "Народной Воли".

П. С. Ивановская — Л. Д. Терентьева "Каторга и ссылка" 1931 г. № 76.

См. В. Н. Фигнер—.Запечатленный труд, т. I. 198

Процесс 20 народовольцев. "Былое", 1906 г. № 61.

См. "Былое" 1906 г. № 7. Нечаев в Алексеевской равелине.

П. Е. Щеголев — Алексеевский рavelин.

П. Е. Щеголев — "Алексеевский равелин". Всеподданнейший доклад
от 4 декабря 1884 г.

П. Семенюта — Из воспоминаний о Желябове "Былое", 1906 г. № 4.

М. Ю. Ашенбреннер — Военная организация "Народной Воли". 1924
г.

Ю. Серебряков — Революционеры во флоте. "Былое" 1907 г. № 4.

Из истории народофильского движения среди военных, "Былое" 1906 г. № 8.

"Былое" 1918 г. № 4–5. Показания Рысакова.

Процесс 20 народовольцев. "Былое" 1906 г. № 1.

В. Дмитриева — Так было. Изд. "Молодая гвардия".

"Былое" 1924 г. № 25, Е к. Л. "К. Маковский на процессе 1 марта".

Дело 1 марта. Со статьей и примечаниями Дейча.

Цитируется по книге Н. Ашешева — Желябов.

Сергей Иванов — Из воспоминаний о 1 марте. "Былое". 1906 г. № 4.

Дебагорий-Мокриевич — От бунтарства к терроризму.

"Былое", 1925 г. № 3. В. Игельстром — Иван Окладский.

П. Семенюта — Из воспоминаний. "Былое", 1906 г. № 4.

Лев Тихомиров — Воспоминания. Центрoархив.

П. Е. Щеголев — О Кибальчиче "Каторга и ссылка". 1931 г.

П. Ивановская — Первая типография "Народной Воли". "Каторга и ссылка". 1926 г. № 24.

Процесс 1 марта. "Былое". 1906 г.

Процесс 1 марта. 1906 г.

К биографии Желябова и Перовской. "Былое". 1906 г.

Лев Тихомиров. — Воспоминания. Центрархив.

А. Якимова — Из далекого прошлого. "Каторга и ссылки" 1924 г. № 1(8).

А. Тырков — К событию 1 марта. "Былое" 1906, № 5

"Былое" 1907 г. № 6.

"Красный Архив" 1926 г. № 19. — Показания Рысакова.

Тригони — Мой арест. "Былое", 1906 г. № 3.

Перетц — Дневник. Гиз. 1927

Пробел не заполнен.

"Былое" 1918 г. № 4–5. Показания.

Процесс предателя-provokatora Окладского-Петровского в Верховном суде. 1925 г.

Берман — К истории 1 марта. "Каторга и ссылка". 1927 г. № 32.

Цитируется по книге В. Я. Богучарского — Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг,

К. П. Победоносцев — Письма и записки, т. I., 1923 г.

П. Е. Щеголев — Из истории конституционных вех "Былое" 1906 г.
№ 12.

Дневник А. Бобринского — "Каторга и ссылка". 1931 г. № 3.

Феоктистов — За кулисами политики и литературы.

Швецов — 1 марта в Сургуте. "Каторга и-ссылка" 1931 г. № 3.

В. И. Ленин — Сочинения, т. 5.

"Красный Архив", 1930 г., № 40 — Из записной книжки архивиста

"Красный Архив", 1930 г., № 40 — Из записной книжки архивиста

Дневник Е. А. Перетца. Гиз. 1927 г.

"Суд идет" № 4, 1926 г. Шпицер — Как судили первомайцев.

П. Ракитников — Отклики за границей. "1 марта 1881 г.". Изд. о-ва политкаторжан.

"1 марта 1881 года".

"Набат" № 3, 1881 г.

Богданович — Три последних самодержца. 1924 г.

"Красный Архив" 1930 г. № 40 "Вокруг 1 марта"

Плансон — Казнь цареубийц. "Исторический Вестник". 1913 г. № 2.

Андрей Брейтфус — Из воспоминаний о казни 3 апреля 1881 г.
"Былое". 1924 г. № 25

"Исторический Вестник", 1913 г. № 2.

В.К. — Несколько слов о казни цареубийц "Былое" 1920 г. № 15.

Д. Венедиктов — Палач Фролов и его жертвы.